ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

СТ. РАССАДИН
САТИРЫ
СМЕЛЫЙ ВЛАСТЕЛИН

ДЕРЖАВИН
Фаворити императрицы
СУМАРОКОВ
Д. И. ФОНВИЗИН
ДАШКОВА
ВОЛЬТЕР
Торговец мрамором
ПАВЕЛ I И ЕГО ЖЕНЫ
ТЕАТР ДМИТРЕВСКОГО
Трон Екатерины
ЕКАТЕРИНА II

Посвящается
А. Е. Петуховой-Якуниной

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

СТ. РАССАДИН
САТИРЫ СМЕЛЫЙ ВЛАСТЕЛИН

Книга о Д.И. Фонвизине

МОСКВА „КНИГА“ 1985

84 Р7
Р 24

Общественная редколлегия серии:
Гранин Д. А.
Зверев А. М.
Манн Ю. В.
Переслегина Э. В.
Померанцева Г. Е.
Тертерян И. А.
Турков А. М.

Вступительная статья
Юрия Давыдова

Художник
Лидия Шульгина

Р $\frac{4702010200-016}{002(01)-85}$ 71-85

© Издательство «Искусство», 1980 г.
© Вступительная статья, оформление Издательство «Книга», 1985 г.

СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Во времена Лермонтова предисловий не читали. Он сам это отметил, добавив: а жаль. И упрямо пошел наперекор привычкам публики.

Читают ли нынче? Не знаю. Но если нет, самолюбие автора этого предисловия должно было бы страдать. Оно не страдает: любовь побеждает самолюбие. Любовь к книгам Ст. Рассадина.

Могут сказать: позвольте, в таком случае не приходится рассчитывать на беспристрастие. Могут сказать? Прекрасно! Стало быть, *уже* начали читать. Вот только бы не бросили.

Тощее беспристрастие, страдающее малокровием, шествует в академической тоге и на котурнах. Не каждому по плечу первое, а по ноге второе. Да и кто, собственно, и когда предал анафеме пристрастия вполне благопристойные?

Объясняясь в любви к женщине, ты, волнуясь и спеша, можешь быть косноязычен. Объясняясь в любви к литератору, ты, настроясь на серьезный лад, обязан быть внятен. Постараюсь.

После всего сказанного, нет, пожалуй, необходимости выдавать самому себе аттестацию прилежного потребителя рассадинской печатной продукции. Его «Книги про читателя» и «Круга зрения»; его «Драматурга Пушкина» и «Спутников» — недавних пяти эссе о поэтах Дельвиге, Языкове, Денисе Давыдове, Бенедиктове, Вяземском.

Еженедельно я высматриваю на полосах «Книжного обозрения» — нет ли чего новенького у... Тут я назвал бы двух-трех стихотворцев и полдюжины прозаиков, в том числе и Ст. Рассадина. Слышу язвительное: он же, голубчик, из критического цеха. Отвечаю: хотя все критики говорят прозой, не все критики пишут прозу. Рассадин пишет. И вот эта книга — «Сатиры смелый властелин», — выходящая ныне в серии «Писатели о писателях», эта книга... Впрочем, о ней-то и пойдет речь.

Итак, повествуя о сочинителе «Недоросля», Ст. Рассадин утверждает: «Писатель всю свою жизнь пишет автопортрет на фоне эпохи и мироздания, даже если такая задача ему и в голову не приходит».

Наблюдение верное. Но вот вопрос: а что же пишет писатель, пишущий о невымышленном писателе? Неужто тоже автопортрет?

Если да, хватайте его — фальшивомонетчик. Если нет, отмахнитесь от него — копиист. Зачем мне, спрашивается, копия? К тому же, и это вполне вероятно, выполненная неумелой кистью. В оны годы появился, скажем, роман о писателе Н. Н. Или монография. Издайте повторно — и шабаш. Ну хорошо, разные там архивные находки, уточняющие и дополняющие. Внесите в повторное издание — и баста.

Конечно, я сильно упрощаю. Не огрубляю (чем грубее, тем точнее), а именно упрощаю. Но суть такова. И вопрос не снят.

Однажды у Чернышевского спросили, почему он не ходатайствует о

помилованни. Николай Гаврилович ответил: моя голова и голова шефа жандармов устроены по-разному; о чем же ходатайствовать?

Ответ многозначный, приложимый к очень разным обстоятельствам; вполне подходящий даже и к нашему разговору.

«Устроение» головы — вот причина несхожести настоящих книг на схожие сюжеты. «Устроение» придает им необщее выражение. Стало быть, штрихи автопортрета присутствуют. Непременно. Скажу вслед за Рассадиным: даже если сие и не приходит в голову пишущему. Сказав, уберу «если» — попросту не приходит. Вот так.

Тотчас, однако, стучится в дверь другой вопрос. Виноват Рассадин, сам привел за руку, утверждая, что автопортрет писателя возникает на фоне эпохи этого писателя. Как же быть с писателем одной эпохи, пишущим о писателе другой эпохи?

Вопрос этот глядит на меня исподлобья, хмуро глядит и требовательно. Куда деваться? Промолчишь — отпразднуешь труса. Выскажешься — жди выволочки. Есть, понимаете ли, критик, увлекающийся разбором исторической прозы. Произведения, основанные на документах, уничижительно зачисляет в разряд школьных пособий. Произведения не документальные — водворяет в хрустальное капище изящной словесности. Этого-то критика и побаиваюсь. Да уж больно за живое берет. Говорю напрямик: фантазии на исторические сюжеты красивы, как фигурное катание на экране цветного телевизора — тешат мой глаз, но не тревожат мой ум. И потому радуюсь, искренне радуюсь — книгу Ст. Рассадина не возложат на алтарь изящной словесности.

Опять пристрастие? Разумеется. Но уже не к Рассадину, а к жанру. На мой вкус, он предполагает строгость. Не сухая ложка, дерущая рот, нет, отвес, необходимый каменщику. Не отсутствие воображения, а присутствие мысли. Суживаю возможности жанра? Плавание в узкостях, моряки знают, требует не меньшего, а может, и большего искусства, чем плавание в безбрежном океане.

Возвращаюсь... Да я, собственно, и не уходил. Не уходил от вопроса, как быть с автопортретом писателя одной эпохи, пишущего о писателе другой эпохи?

Подлинные художники — создают, все прочие — воссоздают. Снова радуюсь, ибо Ст. Рассадин из этих, из прочих. Но умельцу-реставратору «автопортрет» вроде бы без нужды? Обойдется? Ан нет, не получится. От «устроения» головы освобождает лишь гильотина. И потому воссозданное обретает не только такую-то или такую-то тональность, но и разные весовые категории достоверности. В первую очередь психологической, хотя и материальная тоже не пустяк.

В моем восприятии достоверность не синоним правдоподобия. Правдоподобие — гипсовый слепок. Достоверность — переменчивость взора, складки губ, мановения бровей. Достоверность не терпит фокусов полузнания. Отвергая капризы субъективности, эта суровая дама снисходительна к убеждениям индивидуальности.

Воскресить лик отошедшей эпохи и угасшее бытие реального лица — значит совершить нечто похожее на второе пришествие. В этом, смею полагать, и заключается назначение писателя, работающего в историко-биографическом жанре. Не витающего в нем, а работающего. Так, как, на мой взгляд, работает Ст. Рассадин.

Теперь о том, с чего начал. Ну, не то чтобы возвращаюсь, а продолжаю. Вот только еще пристальнее вглядываюсь в рассадинские тексты.

Мне по сердцу его открытое, доверительное обращение к читателю. Он предполагает в собеседнике склонность к размышлениям. Это не льстит, а мобилизует. Он не приставляет нож к горлу — соглашайся! Он приглашает к согласью, убеждая, доказывая. Если стиль — натура, то мы визави с человеком горячим, открытым, острым. С ним, как говорится, не соскучишься, не потянешься до хруста хрящиков.

Все это не навык, не прием, а *состояние души*. И всего этого с лихвой хватит, дабы явить нам тонкого, даже изощренного литературоведа, владеющего и материалом, и средствами подачи материала. Но прелесть-то рассадинского письма, откуда она? Из сферы его духовного обитания, из стихии художественности. Отсюда выпуклость и зримость; проникновение сквозь документ и — дальше документа. Отсюда уже не только мое, читательское, доверие к достоверности, но и эстетическое чувствование этой достоверности.

Не берусь судить, какая из книг Ст. Рассадина вершинная. Не потому, что страшусь ошибиться, а потому, что не хочу итоговости. В итоге, даже и очень впечатляющем, под сурдинку звучит печаль. Наш автор, слава богу, еще в пути. Может, шишки набьет, может, лаврами увенчается. Поживем — увидим.

Пик или не пик книга о Фонвизине, определять не стану. С меня довольно того, что есть.

Коротенькая ретроспекция. Однажды я обратился к фонду № 517— коллекции фонвизинских документов. Обратился не ради изучения «осьмнадцатого» века: искал заметы следующего, девятнадцатого. Получив этот фонд в Центральном Государственном архиве литературы и искусства, развернул ветхую афишку: «1782—1882. Столетие «Недоросля» комедии Фон-Визина. В Большом театре. В пятницу, 24 сентября. Начало в 71/2 час. вечера».

Занятый своим делом, я тогда мельком подумал, что и комедия и ее сочинитель памятны мне школярски крылатым «не хочу учиться, хочу жениться» да пресловутой дверью, которая то «прилагательна», то «существительна». И вроде бы все. (Сдается, я не одинок.) А между тем Денис Иванович Фонвизин... Нечего лукавить, многозначительное «между тем» я вправе молвить лишь теперь, после чтения книги Ст. Рассадина — основательной, но не тяжеловесной, серьезной, но не постной, смеющейся и печальной. Ее страницы не «даты жизни и деятельности», а судьба и время. Время в судьбе и судьба во времени.

Крупный был шаг у России XVIII столетия, и крупные личности напрягали парус державного корабля. Но какая пестрота и какие контрасты! Итальянские созвучья в великолепной зале, а на дворе, за конюшней глухие удары арапником. Легкодумный вольнодумец, потребитель парижских тиснений — и старательный, мрачный экзекутор, по вершку сдирающий кожу с вождя мужицкого восстания Гонты. Питомцев Воспитательного дома учили, что самоеды или татары такие же люди, как и они. А придворные лизоблюды-пустельги и полководцы семи пядей во лбу получали августейшие подарки — тысячи рабов. Время пахло кровью и розовой водой, соусом из оленьих языков и пороховым дымом, сафьянными переплетами и сыромятным батожьем.

Я об этом к тому, что Ст. Рассадин попал в положение автора, испыты-

вающего затруднения от изобилия. Многое, очень многое так и норовило уцепиться за перо. Искусство предполагает самоограничение. Здесь оно требовалось едва ли не беспощадное. Жесткое. Отказ от чего-либо эффектного, выразительного стоил, вероятно, борьбы, зато прочность постройки счастливо соединилась с ее легкостью и цельностью.

Самое же существенное, на мой взгляд, взаимосвязь персонажей. Все они невымышленные, тут уж сюжета ради не распорядишься по-своему — нет, «круг расчисленных светил», в котором и герой не «беззаконная комета». Движение, не исключающее противостояний, жизнь в историческом контексте выявлены и прослежены рельефно и четко. Примечательно и другое: мое, читательское, восприятие этого круга, этого движения неприметно, неуследимо, как бы легкими пассами пронизывается поэтическим магнетизмом. Тайна и радость! Тайна, ибо автор, как пахарь, обеими ногами на почве. На почве документальности. Соблазняет, дразнит, домысел? Автор своей волей зажигает табло: «Входа нет». Он не домысливает, он осмысливает. Да, тайна. И радость, ибо логика исследования будит эмоции, не прибегая к беллетризации, от которой ноют зубы, как от рахат-лукума, а дарит правду художественную, от которой тепло.

В «кругу светил» — авторы российского театра: Сумароков и Лукин, Княжнин и Елагин, да и сама Екатерина Вторая... Ст. Рассадин нередко пишет о современном театре. Ему ведома театральная жизнь, и потому ощутим в книге дух кулис и подмостков, хотя речь идет о театре только еще возникавшем.

Поставщики «пиес» представлены и другой ипостасью. Та же Екатерина уже не рукодельница легоньких комедий, а самодержица, женщина, могущественный недруг Фонвизина. Или тот же Елагин, но уже не во власти вдохновенья, навеянного Мельпоменой или лукулловым застольем, уже не чудак, отменно чудивший, а вельможный патрон Фонвизина.

Особняком и очень приметно — Никита Панин, выдающийся дипломат, осторожный и многодумный Панин, долголетний начальник Дениса Ивановича. Они на разных ступенях служебной лестницы, но они единомышленники. Полагаю, многие читатели не без удивления обнаружат в авторе «Бригадира» и «Недоросля» политического мыслителя, сторонника представительного правления, захваченного идеей конституционной, идеей реформаторства. Ситуация занимательная. Не потому, что писатель глядит на свое писательство как на дело второй руки. А потому, что я, читатель, гляжу на писателя как на человека государственного масштаба. Не по чину-должности, а по напряжению и размаху мысли. Важные документы достались каминному пламени, но все ж «фонвизинское» отозвалось и в декабристских проектах, сильно отозвалось.

Однако сколь бы ни был озабочен Фонвизин «приматом закона», главное в его жизни была литература, словесность.

«Прилагательное» любого жизнеописания — среда социальная и бытовая. В этой среде растворены соли и щелочи, влияющие на любого героя, избранного биографом. Как в минеральной воде растворены. Секрет в том, чтобы, выявляя соли и щелочи, не выпарить воду. Ст. Рассадин не обезводил биографию Фонвизина.

А «существительное» в судьбе художника — развитие творческого духа. Тут кряжевое. И потому Ст. Рассадин отдал десятки страниц разбору фонвизинских сочинений. Разбору неторопливому и вместе энергичному.

В кряжевом есть стержневое. В данном случае — «Недоросль».

«Фонвизин — это „Недоросль", — говорит Ст. Рассадин. И продолжает: — Он стал собою, Фонвизиным, написав „Недоросля", как Грибоедов стал Грибоедовым, написав „Горе от ума", а не „Студента" или „Молодых супругов". Комедия „Бригадир", повесть „Каллисфен", письма из Франции — все это отменно, но даже они для нас комментарий, окружение, свита: вот что взошло на той же почве, вот что вывела рука, сотворившая „Недоросля"».

И еще: эта книга «о судьбе Фонвизина, о людях, его окружавших, о времени. И о персонажах его, — да, и о них тоже. Митрофан, Стародум, Простакова войдут в мир, в котором обитали сам Денис Иванович и Никита Панин, императрица Екатерина и поэт Державин. Герои «Недоросля» разбредутся по этим страницам... Это не значит, что Стародум завернет покалякать к Панину, а Простакова, как Салтычиха, предстанет пред грозным царским судом, но ежели б такое понадобилось...» Как хорошо, что не понадобилось! Потому и не понадобилось, что есть «неволя» самоограничения и свобода от беллетристического, «фантазийного» соблазна. Но и без этого (нет, благодаря тому!) веришь: Митрофан, Простакова, Стародум не только персонажи, созданные сочинителем, но и неперсонажи, сосуществовавщие с сочинителем. И они узрели самих себя не в кривом зеркале, а в том, на которое «неча пенять». Потому и осерчал на Дениса Ивановича — примером возьмем — профессор красноречия Харитон Чеботарев. По совместительству еще и цензор, он долго и нудно противился постановке «Недоросля». А на Ст. Рассадина он не шутя бы обиделся: автор книги даже не упомянул профессора красноречия. Зачем? Харитоны приходят и уходят. А такие пьесы, как «Недоросль», такие писатели, как Фонвизин, приходят и не уходят — остаются достоянием национальной культуры.

Зачастую от «разборов», от этого «в таком-то образе выведено...» раззеваешься до выворота скул. Скукой — мухи мрут — шибает от иного «анализа». А вот в разбор, в анализ Ст. Рассадина вникать весело. Он предлагает нам самую занимательную из игр: игру ума.

Чтобы рассказать о смелом властелине сатиры, надо было обладать смелостью. Не той ли, что города берет? Нет, читателя. Это не легче, а может, и труднее. Если говорить об авторе предисловия, то дело сделано, в чем и подписуюсь —

Юрий Давыдов

МИТРОФАН ПРОСТАКОВ,
ПЕТР ГРИНЕВ,
ДЕНИС ФОНВИЗИН...

Супруги Троеруковы

ЕГО ДУРАКИ ОЧЕНЬ СМЕШНЫ И ОТВРАТИТЕЛЬНЫ, НО ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НЕ СОЗДАНИЯ ФАНТАЗИИ, А СЛИШКОМ ВЕРНЫЕ СПИСКИ С НАТУРЫ

С. 29

ВСЕ В ЭТОЙ КОМЕДИИ КАЖЕТСЯ ЧУДОВИЩНОЙ КАРИКАТУРОЙ НА ВСЕ РУССКОЕ. А МЕЖДУ ТЕМ НЕТ В НЕЙ НИЧЕГО КАРИКАТУРНОГО: ВСЕ ВЗЯТО ЖИВЬЕМ С ПРИРОДЫ

С. 29

ФРАНЦУЗСКИЙ КАФТАН

Елагин

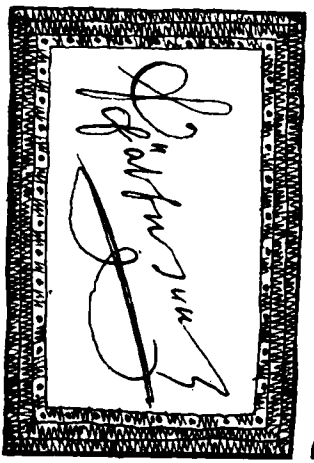
Петр Третий

Е. Воронцова

Да — чудно, видно было это время, но еще чуднее и дивнее было это общество! Какая смесь, пестрота, разнообразие! Сколько элементов разнообразных, но связанных, но одушевленных единым духом!
...Великие умы, великие характеры всех цветов и образов и между ними Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, выходившее с холопями на разбои!..

с. 51—52

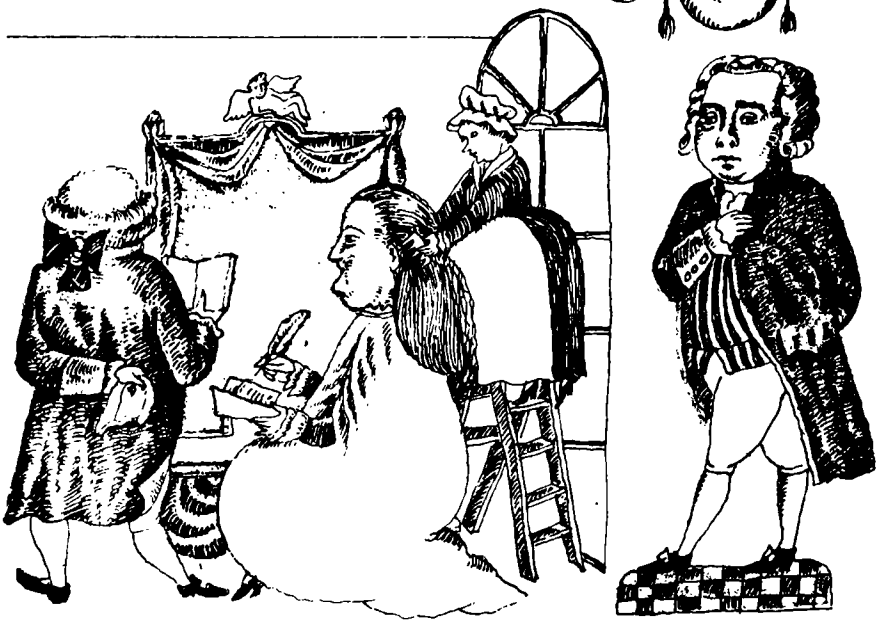
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ФОНВИЗИНА



«Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежит короне французской»

С. 85

ТВОЕ СОЗДАНЬЕ Я, СОЗДАТЕЛЬ (I)



Чрез Китайскую введен был Мамонов в вечеру... Притворили дверь. Мамонов был после обеда и по обыкновению — пудра. Возвратился князь Григорий Александрович...

с. 125

ПОДДАННЫЕ ПОРАБОЩЕНЫ ГОСУДАРЮ, А ГОСУДАРЬ ОБЫКНОВЕННО СВОЕМУ НЕДОСТОЙНОМУ ЛЮБИМЦУ...
В ТАКОМ РАЗВРАЩЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ САМОВЛАСТИЯ ВОСХОДИТ ДО НЕВЕРОЯТНОСТИ, И УЖЕ ПРЕСТАЕТ ВСЯКОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ГОСУДАРЕВЫМ, МЕЖДУ ГОСУДАРЕВЫМ И ЛЮБИМЦЕВЫМ. ОТ ПРОИЗВОЛА СЕГО ПОСЛЕДНЕГО ВСЕ ЗАВИСИТ

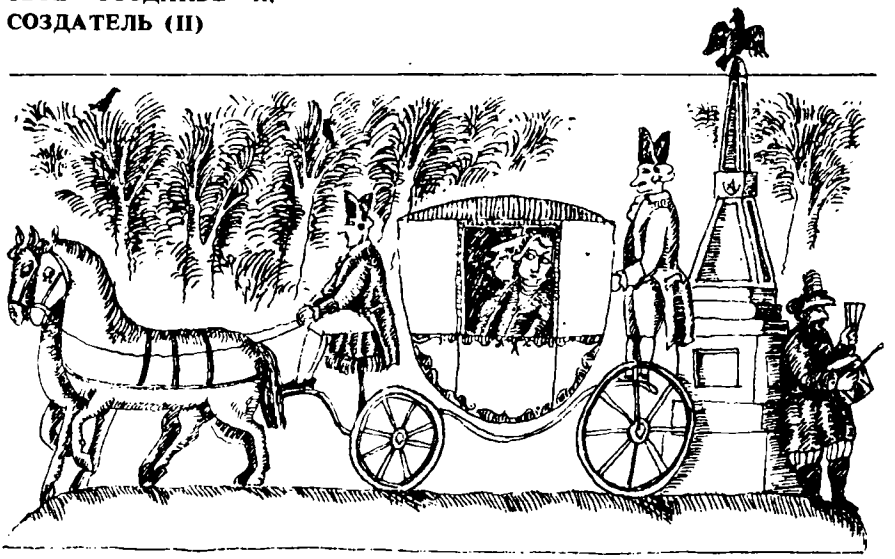
Фавориты Императрицы

...ДУШИ УНЫВАЮТ, СЕРДЦА РАЗВРАЩАЮТСЯ, ОБРАЗ МЫСЛЕЙ СТАНОВИТСЯ НИЗОК...

с. 125

...Как из оного дела явствует: Ея Сиятельство княгиня Е. Р. Дашкова, зашедших на дачу ея, принадлежавших Его Высокопревосходительству А. А. Нарышкину двух свиней, усмотренных яко-б на потраве, приказала людям своим загнав в конюшню убить, которые и убиты были топорами..

с. 128

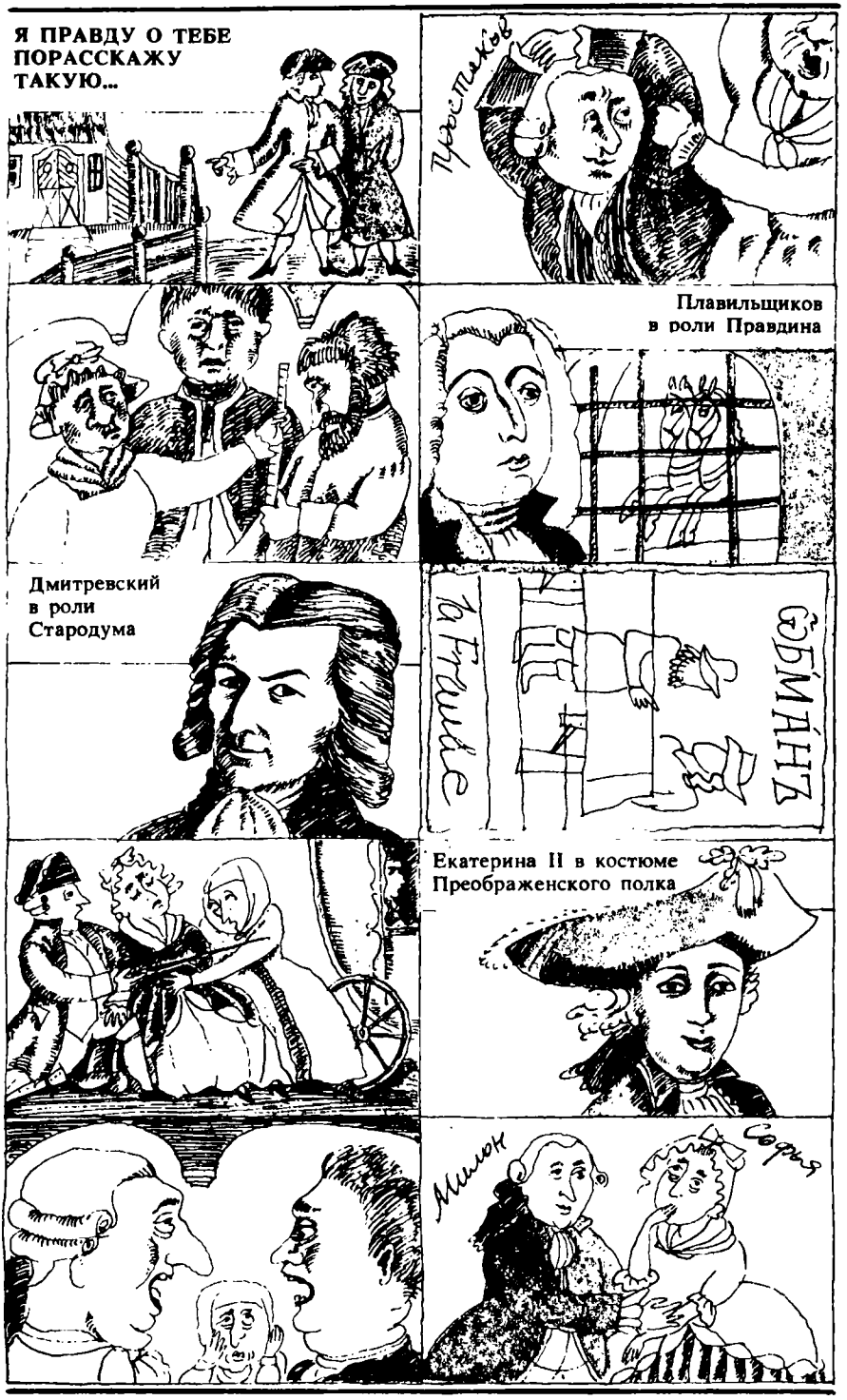


Словом сказать, господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что в ней много доброго; но не знаю, не больше ли худого.

с. 142

СРЕДИ МЕБЕЛИ КРАСНОГО ДЕРЕВА СТОЯЛИ КЛАВИКОРДЫ, НА КОТОРЫХ ИГРАЛА ЖЕНА ПИСАТЕЛЯ. БЫЛИ И СКРИПКА, И ФЛЕЙТА, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ САМОМУ ФОНВИЗИНУ. СТЕНЫ УКРАШЕНЫ БОЛЬШИМИ, СРЕДНИМИ, МАЛЫМИ ЗЕРКАЛАМИ В ЗОЛОЧЕНЫХ РАМАХ И МАЛЕНЬКИМИ ЗЕРКАЛЬЦАМИ, В КОТОРЫХ ОТРАЖАЛСЯ СВЕТ ПРИКРЕПЛЕННЫХ К НИМ СВЕЧЕЙ. И НА СТЕНАХ ЖЕ БЫЛО БЕСЧИСЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО КАРТИН И ГРАВЮР... СО СТЕН СМОТРЕЛИ ТРИДЦАТЬ ПОРТРЕТОВ ЛУЧШИХ ФРАНЦУЗСКИХ АКТЕРОВ...

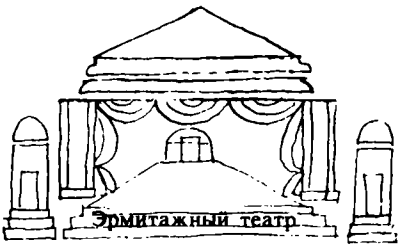
С. 139—140


Я ПРАВДУ О ТЕБЕ ПОРАССКАЖУ ТАКУЮ...
Чистяков
Плавильщиков в роли Правдина
Дмитревский в роли Стародума
ОБМАНЪ
la Fraude
Екатерина II в костюме Преображенского полка
Милон
Софья

Графъ Аксинья
Граф Сегюр
баронъ Сутерланд
Шумский — исполнитель роли Еремеевны
генералъ Кинс
Князь Щербатов
Александръ Суворовъ
Фотъ злонравия достойные плоды

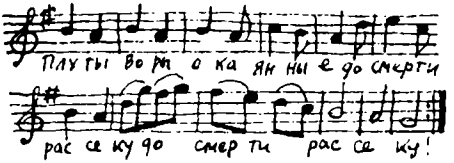
Вопрос: *Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?*

Вопрос: *Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?*



Вопрос: *Отчего у нас спорят сильно в таких истинах, кои нигде уже не встречают ни малейшего сумнения?*

с. 231--232



Ответ: ПРЕДКИ НАШИ НЕ ВСЕ ГРАМОТЕ УМЕЛИ. СЕЙ ВОПРОС РОДИЛСЯ ОТ СВОБОДОЯЗЫЧИЯ, КОТОРОГО ПРЕДКИ НАШИ НЕ ИМЕЛИ...

Ответ: ОТТОГО, ЧТО СИЕ НЕ ЕСТЬ ДЕЛО ВСЯКОГО.

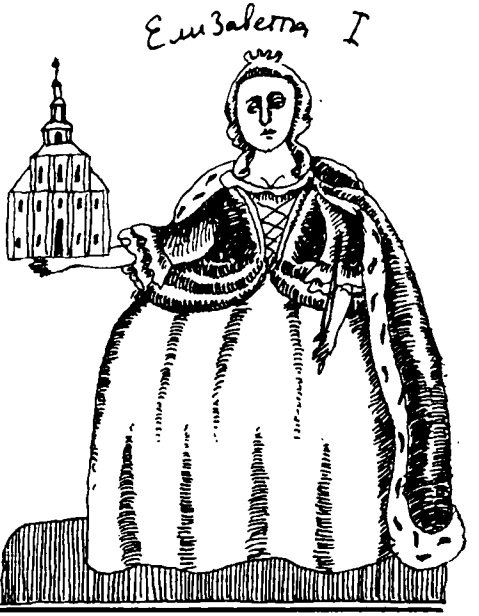
Ответ: У НАС, КАК И ВЕЗДЕ, ВСЯКИЙ СПОРИТ О ТОМ, ЧТО ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ ИЛИ НЕПОНЯТНО

С. 231, 233

МИТРОФАН ПРОСТАКОВ, ПЕТР ГРИНЕВ, ДЕНИС ФОНВИЗИН...

Некто насмеялся чужеземцу, что у них за морем нет хороших язычных учителей. Тот ему доказал: «Потому что у Вас наши перукмахеры, кучеры и цирульники часто бывают почетными учителями».

«Письмовник» Николая Курганова



ЧЕЛОВЕК С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ ПУГОВИЦАМИ

Денис Иванович Фонвизин родился 3 апреля 1745 года...

Это безыскусное начало ничем не хуже других, и я ничего бы не имел против того, чтобы так и открыть книгу. Смущает, однако, несколько обстоятельств.

Во-первых, в этой фразе несомненно лишь то, что — родился. И что звать Денисом Ивановичем, не иначе. Дата рождения в точности неизвестна. С фамилией тоже неясности.

Во-вторых, сами по себе эти неясности не случайны. Дело не в отдельной личности отдельного сочинителя, а в характере века.

В-третьих... хотя и «во-вторых» и «в-третьих», по сути, лишь вариации того, что «во-первых»: неполнота наших сведений о человеке, жившем в отдаленном от нас и не совсем разгаданном столетии, неполнота, дающая о себе знать уже в самой первой строке его жизнеописания, естественно, рождает о Фонвизине легенды.

Впрочем, полуприключенческое слово вовсе не означает, будто о Денисе Ивановиче судачат, спорят, домысливают, — напротив, все порою кажется даже слишком простым. Ясным. Привычным.

Легенда зародилась давно.

Писатель, появившийся на свет всего семнадцатью годами после того, как Фонвизин сошел в могилу, ввел его в ряд своих персонажей:

«— Право, мне нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежит к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако же, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам...» — и так далее.

Портрет, набросанный Гоголем, похож — и не похож.

Человек средних лет... Пожалуй, так. Правда, «Бригадира» Фонвизин написал двадцати пяти лет от роду, «Недоросля» — тридцати семи, а в пору, Гоголем изображенную, великая комедия явно еще не сочинена. Но в те времена были свои представления о возрасте, и человека, которому было далеко до пятидесяти, вполне могли назвать стариком. Даже — старцем.

Полное и бледное лицо... Увы, Денис Иванович смолоду жестоко мучился головными-болями, сильно был близорук, рано облысел, жаловался на несварение желудка, — не говорю уж о роковом параличе, сведшем его в могилу, раннюю даже по тогдашним понятиям.

«Вы удивительно хорошо читаете!» О да, этим он весьма был прославлен, читал свои комедии в лицах не то что как актер — как целая труппа. Правда и то, что «Бригадиром» Екатерина осталась довольна — в отличие от «Недоросля» (хотя и его благожелательная легенда пробовала вовлечь в свои роскошные пределы; Пушкин писал: «Недоросль», которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор...» Но чего не было, того не было).

Скромный кафтан... Перламутровые пуговицы — стало быть, не чета бриллиантовым или золотым, — для сугубой наглядности замечу: царицыну любимцу Ланскому случалось являться в свет, имея пуговиц на несколько сот тысяч рублей... Вот это уже выдумка, и с расчетом. На самом-то деле Денис Иванович отличался, пожалуй, даже кричащим франтовством и, хвастаясь своими нарядами, случалось, оказывался напыщенно-комичен — по крайней мере с нынешней точки зрения:

«Я порядочно ходить люблю... Хочу нарядиться и предстать в Италию щеголем... C'est un sénateur de Russie! Quel grand seigneur[1]. Вот отзыв, коим меня удостоивают; а особливо видя на мне соболий сюртук, на который я положил золотые петли и кисти... Жена и я носим живые цветы на платье... В рассуждении мехов те, кои я привез с собою, здесь наилучшие, и у Перигора нет собольего сюртука. Горностаевая муфта моя прибавила мне много консидерации» — так кичится наш путешественник перед французами, свысока глядя на их одежку, для русского непривычно простоватую. И то сказать: «...тот почитается здесь хорошо одетым, кто одет чисто». Ну, не чудаки ли? А бриллианты, скажите на милость, «только на дамах»!

Вообще, раз уж пришлось к слову, Денис Иванович, что называется, пожить любил. Был и волокитою, и гурманом, и хлебосолом. Притом умеренностью ни в чем и никак не отличался, расплатившись после здоровьем и состоянием. Молва охотно сберегла анекдот, как, обедая у своего друга и покровителя... нет, учитывая характер века, лучше сказать: покровителя и друга — Никиты Ивановича Панина, он взял себе к супу пять больших пирогов (вот они, Митрофановы подовые «не помню, пять, не помню, шесть»).

— Что ты делаешь! — вскричал будто бы Никита Иванович. — Давно ли ты мне жаловался на тяжесть своей головы?

— По этой самой причине, ваше сиятельство, и стараюсь я оттянуть головную боль, сделав перевес в желудке.

Да и сам Фонвизин в заграничных письмах тщательно аттестует рестораций и трактиры, демонстрируя ворчливую привередливость, ругая то поваров, то столовое белье, то порядок прислуживания за обедом (опять французы не угодили: все у них слишком скромно, просто, бедно). Правда, поварня французская, как и нюрнбергское пирожное, отмечена благосклонно...

Может, все это пустяки — и фонвизинская привычка к размаху и гоголевская поправка? Как посмотреть...

Гоголь рисует самое Скромность. Самое Умеренность. Набрасывает, — а точнее, выводит, ибо в едва мелькнувшей фигурке великого предшественника заметны выверенность и обдуманность, — образ нечестолюбивого, сдержанно-достойного сочлена екатерининского окружения, сама отчужденность которого («подалее от других... не принадлежит к числу

[1] Это русский сенатор! Какой знатный вельможа! *(фр.)*.

придворных...») осторожна и соразмерна. Скромный камешек в царском венце, выгодно оттеняющий пышность прочих каменьев и сам от них выгодно отличающийся; перламутр среди алмазов и сапфиров; литератор совершенно в духе девятнадцатого века, учтиво и чуть иронически отстраняющийся от монарших милостей и советов:

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере Лафонтена!

То есть:

— Извольте для сего дела поискать других, ваше императорское величество.

Как это непохоже на человека, бывшего характернейшим типом своего странного века, воплотившего и возвышенность его и то, что мы, нынешние, готовы поспешно признать низостью; являвшего собою скопище неумеренных страстей, личных и политических; льстеца и смельчака; язвительного остроумца с несносным характером и честолюбца, рвавшегося не от двора, а ко двору, в круг тех, кто делал политику и историю... словом, как непохож человек с перламутровыми пуговицами на подлинного Фонвизина.

Как скромный кафтан на соболий сюртук.

Сегодня мы знаем его лучше, чем те, кто был моложе его лет на шестьдесят-сто. Изучены архивы, дотошно собраны свидетельства современников, и совсем иное дело писать после книги Петра Андреевича Вяземского «Фон-Визин», после работы Ключевского о «Недоросле», после академика Тихонравова, после современных исследователей, прежде всего — превосходнейше изучивших дело Г. П. Макогоненко и К. В. Пигарева.

И все-таки много провалов, пробелов, пустот.

Надеясь, что биография Грибоедова будет написана и свидетельства знавших его не уйдут вместе с ними, Пушкин все-таки был грустен и скептичен: «Мы ленивы и нелюбопытны...» Для скепсиса имелись основания — хотя бы судьба Фонвизина; отчаявшись расследовать ее в подробностях, Вяземский записывал в той же печальной интонации, теми же безнадежными словами: «Наша народная память незаботлива и неблагодарна...»

Александр Сергеевич помогал Петру Андреевичу, но добыча была невелика.

«Вчера я видел кн. Юсупова и исполнил твое препоручение: допросил его о Фонвизине, и вот чего добился. Он очень знал Фонвизина, который несколько времени жил с ним в одном доме. C'était un autre Beaumarchais pour la conversation[1]. Он знает пропасть его bon móts, да не припомнит».

Всего три-четыре десятилетия прошли со дня кончины Фонвизина, когда Вяземский взялся писать его биографию, но они оказались решающими. Даже младшие современники умирали.

Впрочем, и сам Вяземский доверил читателю далеко не все из добытого им, посчитав, что не настало время, да и нравы девятнадцатого столетия, сравнительно чопорного, не располагали к тому, чтобы разглядывать нестесняющуюся наготу века восемнадцатого. И вот, если жизнь Пушкина мы можем восстановить почти по дням (не только его, но и меньших братьев, хоть того же Вяземского), то о Денисе Ивановиче сегодняшний автор сообщает с сожалением:

---

[1] В разговоре это был второй Бомарше *(фр.)*.

«Сведения о жизни и занятиях Фонвизина в 1767—1768 годах не сохранились».

Два года вон из исторической памяти. И только ли эти два?

С Грибоедовым-то подобного не случилось. Не то чтобы Пушкин понапрасну сетовал, — конечно, многое протекло сквозь вялые пальцы современников, но многое и зацепилось. Но если кому-нибудь пришло бы в голову издать традиционный сборник «Фонвизин в воспоминаниях современников», получилось бы нечто донельзя худосочное.

Что делать, сказалось различие веков, пушкинского и фонвизинского. Иерархическое восемнадцатое столетие, в котором и иерархия была особой: ценилась не только высота ступени, но характер лестницы, и подъем на Парнас в сравнение не шел с подъемом на Олимп, — оно молчаливо поощряло нелюбопытство и неблагодарность.

Молчаливо в самом прямом смысле — путем умолчания.

Что ж, век ограбил, век пусть и возместит. Пробелы в биографии писателя может заполнить жизнеописание его эпохи и тех ее деятелей, которых она выставляла напоказ; порою нам придется разглядывать Дениса Ивановича косвенно, через невольное посредство тех, в чью тень ему случалось попадать... в тень опять-таки в смысле самом прямом и полном, дурном для нас и подчас хорошем для Фонвизина: она скрыла многие подробности его жизни, зато была и благодатна, ибо защищала от жара неприязненной вышней власти.

Без биографии века тут не обойтись, тем более что Фонвизин — спутник его, у них общие вехи. Открывается Московский университет, и он среди самых первых, рядом с Потемкиным и Новиковым входит в класс его гимназии. Вступив в литературную жизнь как раз тогда, когда писатели тужились родить истинно русский театр, создает,по словам Никиты Панина, «в наших нравах первую комедию». Оказывается в центре борьбы за власть между Екатериной и ее своевольно отстраненным сыном, — даже личная судьба Фонвизина зависит от исхода драки. Реально, хоть и подчиненно, участвует в создании российской внешней политики. Разочаровывается и гибнет вместе с последними надеждами на благую волю императрицы.

Фонвизину было восемнадцать, когда Екатерина взошла на трон; он умер за четыре года до ее смерти, и судьбы их пересекались прямо, притом отнюдь не так идиллически, как это выглядит под веселым пером молодого Гоголя. Высвобождаясь из-под обаяния всепримиряющей легенды, Пушкин скажет сурово и жестко:

«Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».

Что до Княжнина, это, судя по всему, легенда, которой Пушкин поверил или захотел поверить (как легенде о Сальери, убийце Моцарта); впрочем, может быть, оттого и захотел, что легенда правдоподобна.

Хотя о легенде лучше говорить: п р а в д и в а. Даже не будучи правдоподобной, уж правду-то она в себе несет непременно.

Итак, пусть пробелы в жизни Дениса Ивановича восполнит жизнь века.

...Моя книга — попытка написать портрет сочинителя Дениса Фонвизина. Определить характер. Высмотреть в истории живое человеческое лицо, вернее, ряд изменений лица — не волшебных, увы: вот обнадеженный первыми начальственными ласками пухлячок-удачник бодро ступает на торную стезю; вот открываются перед ним пути уже не торные, сулящие

возвышение, от которого голова идет кругом; вот иллюзии меркнут, а голова кружится уж не от успехов, а от пришедших с неудачами болезней; вот... и т. д.

Соответственно в книге будет все, что положено биографическому жанру: хронология от рождения до смерти, детство, отрочество и юность, любовь и женитьба (не вполне совпавшие), путешествия и политика, дела государственные и имущественные, болезни и прочие беды — в той мере, в какой позволит количество сведений, сбереженных историей.

Но портрет писателя — нечто совсем особенное. Писатель всю свою жизнь пишет автопортрет на фоне эпохи и мироздания, даже если такая задача ему и в голову не приходит.

Лев Толстой ворчливо удивлялся самонадеянности биографов, намеревающихся понять его, тогда как он сам себя понять почти не в силах, — а он-то, Толстой, только и делал, что познавал себя и воплощал собственную душу, доверяя ее не только дневникам, но и Пьеру, Андрею Болконскому, Левину: сколько в них самого Толстого! Что же сказать тогда о Фонвизине, создателе монстров? Неужто он, его душа, его судьба хоть как-то воплотились в Скотинине, Простаковой, Митрофане?

Да, воплотились, и толстовский скепсис не должен сдерживать мысль биографа. Фонвизин тоже первоисследователь собственной судьбы. Первосоздатель своего портрета. Он, художник, сообщает нам о себе самые достоверные сведения.

Их надо разглядеть.

Иначе и нельзя, впрочем: во-первых, в силу вышеизложенного (скудость фактов) у нас просто нет иного выхода, как время от времени углубляться непосредственно в сочинения Фонвизина в поисках ответа на тот или иной вопрос. А во-вторых, если такая возможность есть, то грех ею не пользоваться. Потому хотя бы, что из русских литераторов первым предоставил ее своим читателям именно он, Фонвизин. Рядом с Державиным.

В век торжества классицизма, сражавшегося с индивидуализмом, но посягавшего и на индивидуальность, писателя ли, персонажа ли его, Фонвизин все-таки сумел выразить себя ясно и на удивление полно.

«Моя книга в такой же мере создана мною, в какой я сам создан моей книгой», — писал старинный мудрец, которого в России той поры именовали Михайлою Монтанием, и сочинитель «Недоросля» мог бы повторить его слова о себе.

И — о своем «Недоросле». Именно о нем.

«Сочинитель «Недоросля» — вот как еще мог бы я озаглавить эту книгу; может быть, имея в виду отдельную свою задачу, удлинил бы заглавие в духе старинных титулов: «...или Русский человек второй половины восемнадцатого века».

Фонвизин — это «Недоросль». Он стал собою, Фонвизиным, написав «Недоросля», как Грибоедов стал Грибоедовым, написав «Горе от ума», а не «Студента» или «Молодых супругов». Комедия «Бригадир», повесть «Каллисфен», письма из Франции — все это отменно, но даже они для нас комментарий, окружение, свита: вот что взошло на той же почве, вот что вывела рука, сотворившая «Недоросля».

Денис Иванович и сам осознал свою неотдельность и как бы зависимость от детища: уже при нем «Недоросль» успел зажить столь самостоятельно, что не было нужды рекомендовать его как «сочинение г. фон-Визина»; сам

автор рекомендовался публике «сочинителем «Недоросля». Этим полупсевдонимом, звучавшим более веско, чем родовое имя, он и назвался, объявляя об издании журнала «Друг честных людей, или Стародум».

Не комедия состояла при маститом сочинителе, а он при ней. Герои, выведенные в мир родительской рукою, более не нуждались в поддержке, но жили и размножались, плодя подражания: «Митрофанушкины именины», «Сватовство Митрофанушки», «Митрофанушка в отставке». Фонвизин умер, был погребен, а в комедии автора, который самою своей фамилией словно бы решился заявить о намерении копировать покойного комика, — в комедии А. Д. Копиева «Обращенный мизантроп, или Лебедянская ярмарка» все еще разочаровывался в жизни и воскрешался любовью резонер Правдин, и Митрофанова «мама» Еремеевна вспоминала о былом:

— Ищи у покойного дядюшки-та, как я ходила в ключах, да была мамою Митрофана-та Терентьича, так тогда труда-то было и больше.

И рассказывала о настоящем: Митрофан женился-таки, и:

— Барыня у него, дай бог здравствовать! такая дородная, такая плотная, а такая ж, как он, живут себе да денежки копят.

Что-то похожее, кстати, будет и в моей книге. Она — о судьбе Фонвизина, о людях, его окружавших, о времени. И о персонажах его, — да, и о них тоже. Митрофан, Стародум, Простакова войдут в мир, в котором обитали сам Денис Иванович и Никита Панин, императрица Екатерина и поэт Державин. Герои «Недоросля» разбредутся по этим страницам, заглядывая даже в главы, так сказать, чисто биографические, дабы в нужный момент помочь автору книги объяснить то или иное историческое лицо, нечто понять — либо в душе их создателя, либо в характере всех их породившего прелюбопытного столетия.

Это не значит, что Стародум завернет покалякать к Панину, а Простакова, как Салтычиха, предстанет пред грозным царским судом, но ежели б такое понадобилось, и оно стало бы возможно — по причине, о которой сейчас поговорим.

А пока, заканчивая эту главку-предуведомление, начнем помаленьку продвигаться к юному Денису Фонвизину, к первым ступенькам его биографии, — продвигаться через Митрофана и ему подобных; глядишь, и наберемся от них сведений, без которых ни Фонвизина не понять, ни взрастившей его системы тогдашнего российского воспитания.

Не станем торопиться, — чтобы встретиться с интересующим нас отроком Денисом, будучи уже несколько подготовленными к встрече.

ПО-ФРАНЦУЗСКИ И ВСЕМ НАУКАМ...

Сегодня «Недоросль» не совсем то, чем был в пору, когда его разыграли в Деревянном театре на Царицыном лугу, нынешнем Марсовом поле, и публика «аплодировала пиесу метанием кошельков» (был такой обычай). Пожалуй, сегодня он даже совсем не то. Нынче он — тюзовская комедия, ставшая такою прежде, чем возникли тюзы; больше восьмидесяти лет назад Василий Осипович Ключевский сожалел, что «Недоросля» «обыкновенно дают в зимнее каникулярное время и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это — спектакль для гимназистов и гимназисток».

Драматически сожалеть, может, и не стоит: удел пьесы, не назначавшейся детишкам, но ими присвоенной, — наипочетнейший удел сказок Пушкина, «Робинзона» и «Гулливера», романов Вальтера Скотта, Дюма, да и Гюго, а отчасти даже «Дон Кихота»; такая судьба говорит о ясности замысла и о полноте воплощения, о счастливой крупности характеров и о классической незамутненности языка: чего лучше? И все-таки...

«Недоросль», воспринимаемый как учебная пьеса, многое теряет. Иногда — почти все: педагогическая притча, наглядное пособие, дразнилка для второгодников, «не хочу учиться, хочу жениться». Типы подменены масками: по сцене мечется престарелая Простакова, рявкает свиноподобный Скотинин, помесь карикатурного урядника с плакатным кулаком, занудно талдычат Стародум и Правдин, неуклюже переваливается толстенный Митрофанушка.

Вот с него и начнем...

Митрофан «слишком засмеян», — укоризненно писал Ключевский. Да, слишком, и дело, может быть, в том, что послефонвизинская сатира, Гоголь, Сухово-Кобылин, Щедрин, приучила нас к гиперболе и гротеску. Но Фонвизин-то — иной, и не зря сам Гоголь — на этот раз не в «Ночи перед Рождеством», а в «Выбранных местах» — как раз и ухватил решающее различие между сочинителем «Недоросля» и автором «Носа»:

«Всё в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на все русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все в з я т о ж и в ь е м с п р и р о д ы...»[1].

То же самое скажет Пушкин; скажет о другой фонвизинской вещи, но оговорится при этом, что она «достойна кисти, нарисовавшей семью Простаковых»:

«Все это, вероятно, было с п и с а н о с н а т у р ы».

Гоголю и Пушкину вторит Белинский:

«Его дураки очень смешны и отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии, а слишком верные с п и с к и с н а т у р ы...»

Точнее, не совсем вторит. В его голове уже произошла переоценка сатирических ценностей, восторжествовала новейшая манера, именно гоголевская, и вот уж персонажи Фонвизина кажутся с л и ш к о м в е р н ы м и списками. Слишком — ибо куда Митрофану до Хлестакова и до Ноздрева — Скотинину?

Что ж, чем больше запальчивости, тем яснее проступает все та же мысль: Фонвизин, уверяет Белинский, «был в своих комедиях больше даровитым к о п и и с т о м русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем».

Так сказать, предтечею собственного подражателя Копиева...

Уничижение задело бы Фонвизина. Сама мысль — вряд ли. Вот он восхищается парижскою комедией:

«Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною историею, в тот момент происходящею. Я никогда не воображал видеть п о д р а ж а н и е н а т у р е столь совершенным».

У каждого века свои представления о натуральности изображения. Станиславский убирает четвертую стену, чтобы зритель очутился среди

---

[1] Чтоб не испестрять цитаты скобками и оговорками, сразу замечу: разрядка на страницах книги всюду моя, курсив же принадлежит тем, кого цитирую.

героев пьесы, и для него действие той комедии, которой не мог нахвалиться в Париже Денис Иванович, не вершина сценического реализма. Но как забыть, что сам Фонвизин и, главное, первые его зрители видели в «Недоросле» либо в «Бригадире» не дерзкий вымысел, но — «натуру»?

Никита Панин так и сказал ему после чтения «Бригадира»:

«Я вижу, что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу».

О сочинителе «Недоросля» мы, к несчастью, знаем не слишком много. О самом «Недоросле» — наоборот, слишком много. Вернее сказать, знаем его слишком давно.

На многих персонажах от древности кора наросла, они окружены сценическими предрассудками; вот пример простейший.

Сколько лет Простаковой?

Не знаю, что ответит читатель «Недоросля»; зритель почти наверняка скажет: старуха. Сильно, во всяком случае, немолода.

Но почему?

Митрофану шестнадцатый год. В ту эпоху ранних браков мать могла родить его лет семнадцати. Если так, ей чуть более тридцати — только-то. И уж никак не более сорока.

Конечно, тогда, да и позже иначе считали годы и иным было самоощущение; вот Толстой пишет о матери Наташи Ростовой: «Однажды вечером, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей и с одним бедным пучком волос, выступавшим из-под белого коленкорового чепчика...». И еще: «...трясясь всем телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом». А ей всего-то в ту пору лет около пятидесяти, — что́ это по нынешним понятиям?

Правда, графиня Ростова изнурена детьми, их у нее было двенадцать. У Простаковой — один. Вернее, один выжил, а рожала она, может быть, несчетно: мать ее, бывшая из «роду Приплодиных», родила восемнадцать чад, да все почти померли.

В нашем театре укоренилась в свое время привычка, сейчас, впрочем, изживаемая помаленьку. Женские роли классического репертуара игрались с большим возрастным походом — лет на двадцать, тридцать, и вот Глумов ухаживал за шестидесятилетней Мамаевой, а семидесятилетняя Раневская рвалась к любовнику в Париж. В булгаковском «Театральном романе» режиссер Иван Васильевич, прикидывая, как бы распределить среди корифеев своей труппы роли новопринесенной пьесы, предлагал потрясенному автору юную невесту превратить в пожилую мать. Право, он был достаточно деликатен: другие бы просто дали юную роль пожилой актрисе.

Такая несуразица, впрочем, заметна любому зрителю: одни терпят, ссылаясь на условность искусства, другие смеются, но никто не начинает всерьез верить, будто страсть той же Раневской и у Чехова противоестественна, как страсть старухи Екатерины к юным фаворитам. И совсем другое дело, когда речь о ролях, где актрисе не приходится влюбляться.

Простакова. Кабаниха. Васса Железнова... Вот были традиционно старушечьи роли, настолько традиционно, что произошел сдвиг уже и в нашем сознании — нам кажется, что так и должно быть.

Не говоря о простом подсчете, который и тут принуждает нас отобрать у

этих бой-баб приписанные им десятилетия, — как меняются сам характер роли, мотивировки поступков, представление о темпераменте!

Простакова — женщина все еще бушующих страстей, вернее, теперь уже монострасти: к сыну. Может быть, она жертва принятого порядка поместных браков: кто тогда думал о любви? Думали о том, как бы приумножить или объединить земли. Только ей выпало не самой быть забитой, а забить мужа, тряпку и фетюка. Вот и бушует она в своем поместье, тратя неистраченное на бурное обожание сына и на крутую расправу с дворовыми, — между прочим, Дарья Салтыкова, знаменитая Салтычиха, овдовела что-то около двадцати пяти лет от роду, челобитная была подана на нее жертвами ее изуверства в пору, когда ей было тридцать два; пребывая в Ивановском девичьем монастыре, и там заимела ребенка от караульного солдата, — такова была неутолимая звериная страсть...

Разве не иначе станем мы смотреть на такую Простакову? За нею — не просто скверный нрав, проявляющийся то комически, то жутко, а судьба — человеческая, социальная, сословная.

То же и с Митрофаном.

Кто он? Байбак? Неуклюжий увалень? Набитый дурень? Ничего подобного.

«Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только — недобросовестно и потому иногда невпопад» (снова — Ключевский). И в самом деле, даже хрестоматийно-комическая сцена экзамена о том говорит.

«Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан. Дверь, котора дверь?

Правдин. Котора дверь! Вот эта.

Митрофан. Эта? Прилагательна.

Правдин. Почему же?

Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна».

Не всякий, не зная ни аза, проявит такую способность на ходу изворачиваться. Выучить проще, чем оказаться остроумным, как сам Фонвизин.

Невежда? Конечно. Но не дурак, нет: ни в умении подластиться к матери, ни в роковой сцене похищения Софьи, когда Митрофан проявляет и, так сказать, организационные способности.

Вообще, судя по всему, он — ражий парень, взросший на добрых хлебах, в котором кровь «резвоскачет и кипит»: недаром забродила в нем мысль о женитьбе. Он — непоседа, что особо оговорено ремарками: «Митрофан, стоя на месте, перевертывается», чем и заслуживает льстивое, но не лживое одобрение Вральмана:

— Уталец! Не постоит на месте, как тикой конь пез усды. Ступай! Форт!

Передвигается он, переполненный «существительной», не приложенной к месту энергией, чаще всего бегом; вот и после Вральманова «Форт!» следует ремарка «Митрофан убегает». А напуганный перспективой лечения и, стало быть, неподвижности, он поспешно обрывает мать:

— Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-тка теперь на голубятню, так авось либо...

Короче говоря, этот тюзовский лжеувалень вполне мог бы сказать о себе словами другого деятельного бездельника, Петруши Гринева:

«Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась».

Всё, решительно всё совпадает: голубятня, возраст, перемена судьбы и характер перемены. «Пошел-ко служить...» — говорит Митрофану Правдин. «Пора его в службу», — решает старик Гринев.

Знаю, кого-то это сравнение обидно царапнет: что общего между Митрофаном, превратившимся в постыдное нарицание, и Гриневым, который после покажет себя так славно? Но об этом «после» после и поговорим, а п о к а общего много, да и дерзость сопоставления — не моя.

Все тот же Ключевский (которого я часто поминаю особенно потому, что он, если не считать Вяземского и его «Фон-Визина», автор самой блестящей работы о «Недоросле») вообще увидел в них одно-единственное явление, один исторический тип — русского недоросля XVIII века, дворянского сына, еще н е д о р о с ш е г о до вступления в службу (при Петре «недоросль» становился «новиком», то есть начинал служить пятнадцати лет, в 1736 году ему разрешили жить дома до двадцати). И даже спел недорослю едва ли не дифирамб, возвысив его, дворянчика средней руки, над отпрыском богатого или знатного семейства, коему прямая дорога лежала в гвардию:

«Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это — пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историку XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны».

Историк — не пехотный офицер. Он — полководец. Он озирает поле сражения с высоты, а то и на карте; он мыслит не человеческими, а тактическими единицами. Оттого Ключевский размашисто минует вопрос о разности художественных задач Пушкина и Фонвизина; Митрофана и Петрушу сроднил для него их общий исторический прототип. Однако вот что занятно: если даже вглядываться в л и ц а обоих недорослей, — все равно они почти двойники.

Конечно, до времени. До перемены судьбы.

Не удивительно: поместное воспитание неизбежно лепило общие черты. Да и само было всюду примерно одинаковым.

— Сколько дворян отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходит вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин.

Гневливые слова Стародума произнесены в доме Простаковых, но словно бы прямо обращены к другому дворянину-отцу, к Андрею Петровичу

Гриневу. Это ведь он до двенадцати лет держал сына на руках стремянного Савельича, пожалованного в менторы за трезвое поведение.

О нравственном результате говорить не станем, заметим лишь, что не один Савельич, но и сама Арина Родионовна, верная раба и потатчица барским прихотям (на то и баре, чтоб велеть, на то холопья, чтоб подчиняться), не могла влиять на характер своего Сашеньки только благотворно. О результате учебном и говорить незачем, все сказано самим Петрушей: «Под его началом на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля».

Тут уж и господам Гриневым и господам Простаковым хватило разумения, что ни осведомленность в делах псарни, ни уроки «мамы» Еремеевны не помогут недорослю выдержать экзамен в Герольдмейстерской конторе Сената. Спохватившись, тряхнули мошной и наняли «настоящих» учителей:

— По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье его наши бабы моют. Куда надобно — лошадь. За столом — стакан вина. На ночь сальная свеча, и парик направляет наш же Фомка даром. Правду сказать, и мы им довольны... Он робенка не неволит.

«Уж не пародия ли он», этот учитель, на поверку оказывающийся кучером? Куда там!

«Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel[1], не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, то есть (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня коё-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал».

Эти-то — двойники без всяких оговорок. Оба наняты обучать «по-французски и всем наукам»; кстати, не потому ли подчеркнул Пушкин эти слова, что они прямая цитата из «Недоросля»?[2] Оба — болваны. Оба, в общем, «добрые малые», — конечно, потому, что «робенка не неволят», — в результате чего и Митрофан и Петруша пребывают в совершенно одинаковых отношениях с загадочной «еоргафией»: первый не знает значения этого диковинного слова, у второго географическая карта висит «безо всякого употребления», пока ему не приходит в голову, что из нее можно сделать преотличного змея, приладив мочальный хвост к мысу Доброй Надежды.

Вральман, пожалуй, еще и постепеннее будет: не беспутен (правда, и

---

[1] Чтобы стать учителем *(фр.)*.

[2] Подчеркнул же он слова *«и денег, и белья, и дел моих рачитель»*, сказанные Петрушей о Савельиче, но прежде-то примененные Фонвизиным к своему Савельичу, к дядьке Шумилову в знаменитом стихотворном послании.

хозяева щедрее, не обносят за обедом вином), не ветрен: удовлетворяется историями скотницы Хавроньи вместо того, чтоб оную скотницу совращать, как совратил коровницу Акульку Петрушин француз. Сама его уморительная речь («калоушка-то у нефо караздо слапе прюха... сшалься нат сфаей утропой, котора тефять месесоф таскала...») и та вряд ли более ломаная, чем «коё-как» усвоенный русский язык Бопре. Пушкин просто не дал своему французу вымолвить ни словечка.

Нет, фонвизинский Вральман не только не отчаянно смелый шарж, но — особенно в литературе восемнадцатого века — просто общее место. Банальность. В журналах Новикова то и дело мелькнет какой-нибудь шевалье де Мансонж, в соответствии со своим именем («ложь» — по русски) надувающий доверчивых русаков: у себя на родине был мастером «волосоподвивательной науки», а у нас, разумеется, подался в учители. В «Путешествии» Радищева явится земляк и коллега пушкинского Бопре (тоже «в Париже с ребячества учился перукмахерству»), успевший побывать и в «матрозах» (гриневский француз — в солдатах), а после — ну, куда еще податься такому умельцу? — также ставший русским учителем на немалом жалованье: «сто пятьдесят рублей, пуд сахару, пуд кафе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга, карета». Тут уж вспоминается не Акулькин любовник, а добродетельный Вральман; это почти его цена: «По триста рубликов иа год... Куда надобно — лошадь...»

Радищевский иаставник еще и тем подобен фонвизинскому и пушкинскому, что благоразумно предпочел деревню: «Там целый год не знали, что я писать не умею».

Чтó Новиков, Радищев, обличители! Литературная их антагонистка императрица Екатерина — и та смеялась над дрянным воспитанием и безграмотными учителями. В ее комедии «О время!», иаписанной, между прочим, в 1772 году, за девять лет до «Недоросля» (этому стоит отдать должное), шла речь о восемнадцатилетнем недоросле Николашке, который «азбуку уже доучил, да скоро и часослов начнет»; а в другой, того же года комедии «Г-жа Вестникова с семьею», возникал и прямой предшественник Вральмана:

— Ужасть, как мне хочется выгнать эту харю из дому! *(Указывает на учителя.)* Да уж и обещали мне достать какого-то другого учителя, который где-то был прежде скороходом; а этот пусть себе по-прежнему идет в кучера к кому-нибудь.

Адам Адамыч Вральман, между прочим, иа этот совет откликнулся: вернулся на козлы Стародумовой кареты...

Дело не в литературных заимствованиях: никто из литераторов не смеет претендовать на роль сочинителя злой и комической ситуации. Их определила сама действительность.

Член французской дипломатической миссии Мессельер удивлялся наивности россиян и стыдился бессовестности соотечественников:

«Нас осадила тьма французов всевозможных оттенков, которые по большей части, побывши в переделке у парижской полиции, явились заражать собою страны Севера. Мы были удивлены и огорчены, узнав, что у многих знатиых господ живут беглецы, банкроты, развратники и немало женщин такого же рода, которые, по здешнему пристрастию к французам, занимались воспитанием детей значительных лиц; должно быть, что эти отверженцы нашего отечества расселились вплоть до Китая: я находил их везде. Г. посол счел

приличным предложить русскому министерству, чтоб оно приказало сделать исследование об их поведении и разбор им, а самых безнравственных отправить морем по принадлежности. Когда предложение это было принято, то произошла значительная эмиграция, которая, без сомнения, затерялась в пустынях Татарии».

Если бы сбылось ироническое предсказание умного француза; если бы в пустынях! Увы, отличнейшим образом осела в поместьях, — и мало кто был так скоро разоблачен, как радищевский перукмахер или пушкинский Бопре. Трепета перед иноземными проходимцами Простаковым хватило еще надолго.

Мессельер говорит о 1757 годе, о времени доекатерининском, упоминая, что тогдашняя императрица Елизавета весьма «смеялась над теми, которые были обмануты этими негодяями»; вольно ж ей было смеяться вместо того, чтобы призадуматься. Екатерина призадумалась: смех в августейших комедиях звучал без елизаветинской беззаботности, — а все ж и тридцать лет спустя уже иной француз, посол граф Сегюр, снова не сдержит юмористического изумления:

«Любопытно и забавно было видеть — каких странных людей назначали учителями и наставниками детей в иных домах в Петербурге и особенно внутри России».

Любопытно, забавно... Грех было бы корить этим чужака Сегюра, умницу, автора увлекательных мемуаров, но для России-то — что тут было забавного?

Болезнь оказалась слишком запущена, чтобы скоро пройти, и Фонвизин дал ее дотошнейший очерк: вот где «подражание натуре», да еще, как говорят, чересчур верное, себя показало. Рядом с кучером, сменявшим козлы на кафедру, стали — отставной солдат Цыфиркин («малу толику арихметике маракую») и незадачливый семинарист Кутейкин («ходил до риторики, да богу изволившу, назад воротился»). И эта троица, нельзя сказать чтобы очень святая, — служивый, отсевок духовного сословия и аристократ тогдашнего учительского цеха, практичный иноземец, — исчерпывает собою состав домашних учителей русского недоросля. Во всяком случае, «в пустынях Татарии», как сострит Мессельер. «Внутри России», уточнит Сегюр.

Знаменитейший мемуарист восемнадцатого века Андрей Болотов девяти лет был доверен отцом, армейским полковником, унтер-офицеру из немцев, а тот «никаким наукам не умел, кроме одной арифметики, которую знал твердо, да умел также читать и писать очень хорошо по-немецки, почему заключаю, что надобно быть ему какому-нибудь купеческому сыну, и притом весьма небогатому и воспитанному в простой школе, и весьма просто и низко».

«В то время воспитывались мы не по-нонешнему»; литературный персонаж Петр Андреевич Гринев позволяет себе благодушество. «Судя по теперешнему знанию, все мое учение было пребеднейшее», — почти вторит Болотов, но при этом он, человек из плоти и крови, припоминает подробности, рядом с коими Бопре или Вральман высятся вершинами если не учености, то по крайней мере благонравия. А Фонвизин выглядит даже не копиистом жизни, но лучезарным ее украшателем. Ибо германский собрат Цыфиркина «не только меня иссек немилосерднейшим образом хворостинами по всему телу, безо всякого разбора, но грыз почти меня зубами, как лютый зверь...».

Зверь? Маньяк? Вероятно. Но отец-полковник вовсе не спешил вырвать маленького сына из лап негодяя. Напротив, всемерно одобрял его жестокость, в те времена привычную.

Словно подслушал детские воспоминания Болотова его ровесник Державин... да какое подслушал! Сам испытал на собственной шкуре. Он тоже — среди детей л у ч ш и х дворянских семей Оренбурга — был отдан в обучение «сосланному за какую-то вину в каторжную работу некоему Иосифу Розе... Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, сам был невежда, не знал даже грамматических правил...».

Что, однообразны факты, дорогой читатель? Может быть, и скучны в своем однообразии? Что ж, вспомним простоватую бригадиршу Фонвизина с ее рассказом о бесчинстве капитана Гвоздилова, гвоздившего бедную супругу; вспомним и благородную резонерку Софью, этим рассказом недовольную:

— Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество.

— Вот, матушка, — ответствовала ей «дурища», — ты и слушать об этом не хочешь, каково же было терпеть капитанше?

Капитанша терпела, Болотов с Державиным терпели, — ничего, стерпите и вы, читатель, хотя бы рассказ об их терпении. Разнообразию неоткуда взяться.

К Радищеву тоже наняли француза-гувернера, после — как все тот же Бопре — оказавшегося солдатом, к тому ж еще и беглым.

В известном дневнике Семена Порошина рассказано о чухонце, выдавшем себя за француза и попавшем в гувернеры.

Николай Новиков учился у дьячка.

Еще один достославный мемуарист, автор «Записок артиллерии майора М. В. Данилова», — у дворового и у пономаря Филиппа с неуважительной кличкой Брудастый.

Да и того же Державина кроме мучителя-немца наставляли уму кутейники — пономарь, дьячок, а «арихметику» проходил он у одного из цыфиркиных... вся фонвизинская троица перебывала в педагогах у Гаврилы Романовича.

Да, удручающее, унылое, постыдное единообразие, — и оно не могло не быть подытожено в докладной записке, поданной Сенату в 1754 году Иваном Ивановичем Шуваловым: дворяне, «не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали».

Докладная записка касалась неотложной необходимости завести Московский университет...

«Недоросль» был сочинен в 1781 году, в самой середине долгого царствования Екатерины, — стало быть, вральманы и кутейкины помирать не собирались и дело воспитания, несмотря на грандиозные планы и скромные — однако реальные — успехи преобразователя Бецкого, еще оставалось в дурных руках. Что же до детства Державина, Радищева, Болотова (совпавшего с детством Дениса Фонвизина и пришедшегося на сороковые-пятидесятые годы), то его пребеднейшее состояние грозило катастрофой. Не нравственной — когда такие соображения ускоряли ход событий? — но

государственной. Россия оставалась без образованных людей: петровские выученики старели и сходили в могилу, а образовавшееся после Петра бабье царство отнюдь не заботилось о воспроизводстве ни учителей, ни лекарей, ни «розмыслов».

Нельзя сказать, чтобы все это всерьез занимало Елизавету: ей хватало забот стареющей красавицы, торжественности молебнов и веселья маскарадов, но, слава богу, еще действовали и еще влияли умы, и первый среди них — Ломоносов. Правда, и ему недостало бы влияния, если бы не поддержка молоденького и честолюбивого Шувалова, в котором Елизавета не чаяла души. Как бы то ни было, но упорный гений Ломоносова, шуваловское меценатство, соединенное, впрочем, и с почтением к просвещению, поздняя страсть императрицы — все это соединилось в родовспомогательное средство для того, чтобы явился плод, который Россия выносила: университет в Москве, долженствовавший совершить то, с чем не могли справиться ни два военных шляхетных корпуса — Морской и Сухопутный, ни хиреющая Славяно-греко-латинская академия, ни Петербургский университет, рабски подчиненный консервативнейшей Академии наук.

«Громада двинулась». 19 июля 1754 года Сенат принял шуваловский проект создания университета с двумя гимназиями: дворянской и разночинной (шуваловский не только потому, что под ним стояла подпись великолепного фаворита; проект Ломоносова имел в виду и гимназию для крестьян).

12 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ.

26 февраля вспыхнула иллюминация на здании бывшей аптеки у Воскресенских ворот, отныне принадлежащей университету.

«Иллюминация, — записывает историк университета, — привлекла особенно народное любопытство. Она изображала Парнас. Минерва ставит на нем обелиск во славу Императрицы. У подошвы обелиска многие младенцы упражняются в науках. Один из них пишет незабвенное имя Шувалова. Рог изобилия и источник вод тут же, как символы будущих плодов учения. Ученик с книгою всходит по ступеням к Минерве, которая принимает его с любовию. С пальмового дерева младенец ломает ветви и держит в руке венцы и медали: награды, всегда готовые для успевающих...

Внутри покоев, — продолжает живописать историк, — галлерея с портиками была убрана грудами конфет. Между столбов стояли фигуры младенцев с разными математическими инструментами, с книгами, географическими картами и глобусами в руках; на фронтонах ее сияли имя и герб Куратора и основателя Университета».

Куратор Шувалов превознесен по заслугам; Ломоносова на празднество не пригласили.

Впрочем, об этом сейчас мало кто думает. Толпы любителей просвещения, привлеченные невиданной иллюминацией, музыкой и бесплатным угощением, шумят до четырех утра, и зачарованно глазеет на обелиски и на младенцев ученик дворянской университетской гимназии, десятилетний Денис Фонвизин.

СПАСЕННЫЙ МИТРОФАН

Десятилетний? Точно ли?

Даже в этом нельзя быть уверенным.

Заполним, наконец, самую первую строку жизнеописания: «Денис Иванович Фонвизин родился 3 апреля 1745 года».

В этой фразе, как уже было сказано, несомненно только то, что родился. И что Денис Иванович. Дата в точности неизвестна. Надпись на надгробии лишь вносит путаницу: «...родился 3 апреля 1745 года, умер 1 декабря 1792 года, жил 48 лет, 7 месяцев».

Посчитаем: ежели в 1745-м — то не 48, а 47!

Обо многих людях восемнадцатого столетия сведения так же неполны: точна дата смерти, дата рождения неясна. И, если угодно, есть в этом некая символика — приходили из небытия, из тьмы, из ничтожества, чтобы оставить о себе память, злую или добрую.

Фамилия. Как только не писали ее предки Фонвизина, его современники и даже потомки: Фон-Визин, Фон-Висин, Фон-Визен, Фан-Визин, встречаем даже:«господин Визин», «monsieur Visen».

«Не забудь *Фон-Визина* писать *Фонвизин*, — внушал Пушкин брату Льву. — Что он за нехрист? Он русский, из перерусских русский». Но сам своему совету не последовал и, может быть, убежденный Вяземским, продолжал сохранять «немецкий» дефис.

Только к концу девятнадцатого века фамилию договорились писать так, как мы ее пишем сегодня.

Появилась эта фамилия на Руси так. При Грозном на Ливонской войне пленен был рыцарь-меченосец Фон-Визин «Петр барон сын Володимиров» с сыном Денисом — вот откуда имя сочинителя «Недоросля». Сей Денис оказался храбрым воякой — уже за русскую землю; первым из Романовых, Михаилом, была дарована ему грамота в том, что он, Денис, «помня Бога и Пречистую Богородицу, и православную Христианскую веру и наше крестное целование, с нами, Великим Государем, в осаде сидел... на Москве против Королевича Владислава и Польских и Литовских, и Немецких людей и Черкас стоял крепко и мужественно, и на боях и на приступах бился, не щадя головы своей, и ни на какие Королевичевы прелести не прельстился, и многую свою службу и правду к нам и ко всему Московскому Государству показал и, будучи в осаде, во всем оскудение и нужду терпел».

Тезке и потомку воинственного Дениса позже достанется невеселое право повторить о себе последние слова царской грамоты: будет и осада, и оскудение, и нужда.

Минуем прочие колена фонвизинского рода — кроме отца нашего героя, Ивана Андреевича.

То был человек, подобных которому в любой век именуют людьми старого закала, ибо простота и прямота, доходящая до прямолинейности, каждому новому поколению кажутся преимущественным достоянием прежнего. Иван Андреевич, не будучи хорошо образован, отличался примерной честностью и, состоя на службе, презирал взятки, взяточников и взяткодателей.

— Государь мой! — говаривал он, когда его подвергали искушению. — Сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника:

извольте ее отнести назад, а принесите законное доказательство вашего права!

Так, во всяком случае, рассказывает о нем сын.

Если к этому образу прибавить еще и вспыльчивость, властность, строгие правила, то выйдет почти копия Андрея Петровича Гринева — с тою только разницей, что Иван Андреевич Фонвизин жил не в деревне (хотя и имел пятьсот душ), а в старой столице да читал не один «Придворный календарь», а, как сообщает сын, «все русские книги, из коих любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг».

С одной из этих самых нравоучительных историй связано первое оставшееся на памяти Дениса Ивановича потрясение от встречи с искусством. Отец рассказывал детям библейскую историю Иосифа Прекрасного, и Денис, слушая про то, как Иосиф продан был братьями в рабство, неудержимо разрыдался, однако, стыдясь открыть причину, солгал, что у него разболелся зуб. «...Отвели меня в мою комнату и начали лечить здоровый мой зуб. «Батюшка, — говорил я, — я всклепал на себя зубную болезнь; а плакал я оттого, что мне жаль стало бедного Иосифа». Отец мой похвалил мою чувствительность и хотел знать, для чего я тотчас не сказал ему правду. «Я постыдился, — отвечал я, — да и побоялся, чтобы вы не перестали рассказывать истории». «Я ее, конечно, доскажу тебе», — говорил отец мой. И действительно, через несколько дней он сдержал свое слово и видел новый опыт моей чувствительности».

Когда, годы спустя, Фонвизин переведет прозаическую поэму Поля-Жереми Битобе «Иосиф», может быть, этим он заплатит долг за разбуженную свою чувствительность...

Служебный путь Ивана Андреевича также был довольно обычен. Отслужа в московском драгунском «шквадроне» и получив чин майора (старик Гринев кончил службу премьер-майором), он пятнадцать лет пробыл в Ревизион-коллегии и вышел в отставку статским советником, после чего жил в Москве, в собственном доме возле Сретенских ворот.

В прямой его жизни был только один весьма странный поступок, впрочем, объясненный сыном в самом выгодном свете:

«Ничто не доказывает так великодушного чувствования отца моего, как поступок его с родным братом его. Сей последний вошел в долги, по состоянию своему неоплатные. Не было уже никакой надежды к извлечению его из погибели. Отец мой был тогда в цветущей своей юности. Одна вдова, старуха близ семидесяти лет, влюбилася в него и обещала, ежели на ней женится, искупить имением своим брата его. Отец мой, по единому подвигу братской любви, не поколебался жертвовать ему собою: женился на той старухе, будучи сам осьмнадцати лет».

История, на современный взгляд, чудовищная, однако сама безмятежная гордость, с какой Фонвизин сообщает, что отец его прожил с покупщицей его юности двенадцать лет, не зная в эти годы никакой другой женщины, немало говорит о веке, в котором слабость престарелой Екатерины к юным любовникам отнюдь не выглядела нонсенсом, и если тот же Фонвизин по этому поводу негодовал, то разве из-за своекорыстия фаворитов и, главное, из-за того, что это отражалось на делах государственных.

Так или иначе, пусть удивительная женитьба Ивана Андреевича послужит для нас сигналом: на многое в нравах века и даже в поступках

самого Фонвизина нужно смотреть, так сказать, с поправкой на время.

Во втором браке Иван Андреевич был женат на Екатерине Васильевне Дмитриевой-Мамоновой (о ней сын вспоминает и вовсе с несдержанной торжественностью акафиста: «...жена добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная»), от которой имел восемь детей, — если все еще тянуть нашу аналогию, призванную отчасти прояснить неконкретность сыновней характеристики, то можно вспомнить: мать Петра Гринева рожала девять раз.

Существовал естественно создаваемый веком стереотип — добродетелей, срока службы, высоты выслуги, достатка, представления о семье, даже о количестве ее членов.

Маленький Денис... но не поворачивается язык и далее вести столь фамильярную беседу. Саша Пушкин, Гаврюша Державин или Фигхен, как называл один полулегкомысленный историк маленькую Софью-Августу, будущую Екатерину Вторую, — это режет слух, разумеется, в книгах небеллетристических. Перед нами, потомками, и перспектива и ретроспектива, все, что угодно, и как забыть, кем стали в конце концов Саша и Денис — Пушкин или Фонвизин?

Словом, маленький Денис Иванович или, что лучше, маленький Фонвизин очень скупо представлен в автобиографии, писавшейся на краю могилы, неоконченной, выдержанной в покаянном духе и озаглавленной: «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Что мы узнаём? Что на третьем году жизни, быв спрошен отцом, грустно ли ему, «а так-то грустно, батюшка, — отвечал я... затрепетав от злобы, — что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю». Что тетка его имела обыкновение дарить племянникам побывавшие в игре карты и крохотный Фонвизин проявлял лукавство и коварство, дабы завладеть теми, у которых «красный задок», — почему-то они его обворожали: «И в самом Риме едва ли делали мне такое удовольствие арабески Рафаэлевы, как тогда карты с красными задками». Наконец, что с младенчества застращали его в сказках мертвецами и темнотою, так что потом всю жизнь боялся он потемок. «А к мертвецам, — грустно прибавлял немолодой писатель, — привык я уже в течение жизни моей, теряя людей, сердцу любезных».

Немного. Но довольно, чтобы разглядеть зачатки темперамента и характера: темперамента страстного и холерического («я чувствовал сильнее обыкновенного младенца»), характера упрямого и нелегкого.

Грамоте начали его учить четырех лет, учили по тому времени обыкновенно. По обычаю записали солдатом в Семеновский полк (туда, куда и младшего Гринева, — никак не отвязаться от сравнения). Правда, не избежав Савельича, принявшего на сей раз облик дядьки Шумилова, которого, как уже говорилось, потом молодой барин прославит стихотворным посланием, Фонвизин избежал Бопре и Кутейкина: у отца достало разума не нанимать к сыну прохвостов и невежд. К сожалению, недостало денег, чтобы нанять хорошего гувернера.

Но тут-то и открылся Московский университет. Событие в жизни России не обошло стороной и маленького Фонвизина...

Устройство тогдашнего университета и гимназий для нас достаточно непривычно и сложно, и вряд ли стоит подробно его излагать: про то написаны специальные книги, да и к делу это сейчас не слишком идет. Довольно,

думаю, будет сказать, что по «Проекту положения о создании Московского университета» в гимназии учреждалось четыре школы: российская, латинская, «первых оснований наук» и «знатнейших европейских языков». В каждой школе было по четыре класса: два нижних и два верхних. Конечно, ничего похожего на нынешнюю строгую регламентацию не было: учащиеся дворянского отделения имели право выбирать предметы — по любви и по расчету, дозволялось учиться одновременно в двух школах и в разных классах; одним словом, усмотреть за каждым учеником было трудно, и, ясное дело, не все из вчерашних недорослей удержались от соблазна использовать безнадзорность. Начались отчисления за «леность и нехождение в классы», чего среди Митрофанов не избегли и два способнейших гимназиста, которым впоследствии предстояло громко прославиться, хотя и на разных поприщах: Григорий Потемкин и Николай Новиков.

Денис и Павел Фонвизины[1] (братья стали однокашниками) учились, напротив, примерно. Гимназическая хроника, аккуратно публиковавшаяся университетской газетой «Московские ведомости», сохранила следы их восшествия на Парнас, подобно восшествию иллюминованного младенца. Вот сведения по крайней мере о Денисе. Конечно, отдельные.

26 апреля 1756 года. В публичном собрании университета Денису Фонвизину вручена медаль за прилежание.

Вскоре — выступление в диспуте с прославлением Елизаветы: «Денис Фон-Визии стараться будет показать щедрость и прозорливость Ея Императорского Величества, всещедрой муз Основательницы и Покровительницы».

12 июня 1757 года. «В заключение учений перед летнею вакациею, в публичном собрании Университета» имел речь на немецком языке: «О наилучшем способе к изучению языков».

27 апреля 1758 года. Объявлен достойным награждения в классе историческом и географическом и «ближайшим к награждению» в классе военной архитектуры и фортификации.

Апрель 1760 года. Оба брата награждены золотыми медалями... вернее, должны были их получить, однако «получили другое лучшее вознаграждение, а именно произвождение в воинских чинах». Стали семеновскими сержантами.

1761 год. Снова золотая медаль.

И так далее.

Было, однако, в этом скучновато-добродетельном перечне и вознаграждение, не только потешившее тщеславие юного Фонвизина.

1758 год. В Петербург на предмет представления куратору Шувалову везут нескольких лучших учеников (среди которых — братья), дабы «сей добродетельный муж, которого заслуг Россия позабыть не должна», увидел первые плоды просвещения. И юный полупровинциал испытывает несколь-

---

[1] Жаль, если в книге не найдется повода рассказать о Павле; сделаем это хоть в сноске. Родившийся годом раньше знаменитого брата и переживший его на десять лет, Павел Иванович был личностью незаурядной. Служебная карьера его оказалась значительной (по военной части дошел до чина, осмеянного младшим братом, — бригадира; по статской — до действительного тайного советника), но, разумеется, не в этом дело. Доброй памяти Павел Фонвизин достоин прежде всего за директорство в том университете, который он и сам закончил (1784—1786). При нем было построено новое здание университета, опекал он университетский театр и т. п. Кроме того, был очень заметным в свое время стихотворцем, — словом, во всех отношениях достойный брат брата великого.

ко потрясений — надо сказать, весьма разнородных. С вопросом к нему, к Денису, обращается обожаемый Ломоносов. Поражает великолепие двора — настолько, что в предсмертном «Рассуждении» человека, познавшего двор до оскомины на языке и до ряби в глазах, сохранена первозданность полудетского и, главное, п е р в о г о взгляда. Все крупно, броско, отчетливо. Ни полутонов, ни оттенков:

«Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, огромная музыка — все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного».

Очарованность продлится, потом, спустя годы, пройдет, в отличие от другого впечатления, пожизненного:

«Но ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отроду».

На четырнадцатом году — впервые? Не поздно ли? Ничуть, скорее уж напротив: ибо точно так же, как и с учреждением университета, детство Фонвизина счастливо совпало с открытием русского профессионального театра.

Были, правда, и прежде труппы французская и немецкая, была итальянская опера. Ставились «школьные» спектакли в Славяно-греко-латинской академии, скучнейшие и дидактичнейшие, и, пожалуй, первым серьезным опытом театра с в е т с к о г о была труппа любителей — по тогдашнему «охочих комедиантов», возникшая в Шляхетном сухопутном корпусе в 1749 году.

Добро порождается добром, и можно ли счесть простой случайностью, что на представлении трагедии Сумарокова «Синав и Трувор», разыгранной сухопутными кадетами, побывал ярославский купеческий сын Федор Волков и тем решил свою судьбу?

Вскоре возникает его охочий театр в Ярославле, затем — в 1752 году — прослышавшая о провинциальных лицедеях Елизавета велит им ехать в Петербург, всемилостивейше ободряет и одобряет, справедливо найдя, впрочем, что ярославцам надлежит совершенствоваться и в науках и в театральном деле (в результате чего сам Федор, брат его Григорий и Иван Нарыков, который после примет театральную фамилию Дмитревского и под нею прославится, приняты все в тот же Шляхетный корпус). И вот, за два года до того как малолетний московский гимназист впервые попадет на настоящее представление, учреждается «Русский публичный театр для представления трагедий и комедий под смотрением бригадира Сумарокова».

Однако дослушаем Фонвизина:

«Играли русскую комедию (то есть переведенную на русский. — *Ст. Р.*), как теперь помню, «Генрих и Пернилла». Тут видел я Шумского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал из всей силы. Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно: комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие».

Так и вышло. Петербург щедро осыпал мальчика-москвича сбывающимися желаниями; в дом дядюшки, у которого Фонвизины жили, явились вхожие туда Федор Волков и Иван Нарыков-Дмитревский, и знакомство в самом деле составило благополучие жизни (то есть в тогдашнем значении — счастие): Волков, скоро умерший, сохранился в душе мощным

впечатлением, а Дмитревский впоследствии стал сердечным другом и остался им до смерти Фонвизина. Между прочим, он способствовал постановке «Недоросля», сам играл Стародума, а столь насмешивший юного Дениса Ивановича Шумский веселил публику в роли Еремеевны...

Итак, награды обильны, плоды — весомы, вплоть до того, что к концу обучения Фонвизин становится завзятым переводчиком, наводнив трудами журнал, издаваемый университетским библиотекарем Рейхелем под бесконечным названием: «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия, или Смешанная библиотека разных физических, экономических, також до манифактур и до коммерции принадлежащих вещах».

Столь же универсален, как этот утомительный титул, и выбор сочинений для перевода; да выбора и нет, есть исполнение заказов без (или почти без) вмешательства личного вкуса: научно-исторический очерк о зеркалах в древнем мире — и нравоучительные рассказы; сугубо специальные «Рассуждения господина Рейтштейна о приращениях рисовального художества, с наставлением в начальных основаниях оного» — и «Метаморфозы» Овидия; «Господина Ярта рассуждение о действии и существе стихотворства» — и роман французского аббата Террасона (переводимый, однако, с немецкого) о жизни египетского царя Сифа, роман достаточно объемистый и многотомный, чтобы подкармливать Фонвизина еще несколько лет.

Словом, перед нами педагогическая идиллия, скопированная с праздничной иллюминации достопамятного дня... и вдруг благодарный (нет, выясняется, что — неблагодарный) бывший младенец, триумфально одолевший восхождение к Минерве, эту идиллию безжалостно рушит:

«Учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую...»

Вот что выбирает его насмешливая память из всех впечатлений ученья; вот как дешево ценит он достоинство собственных медалей.

На экзамен в нижнем латинском классе учитель пришел, имея на кафтане всего пять пуговиц, а на камзоле — и того менее, четыре. «Удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине», на каковой вопрос смышленый латинист ответил бодро:

— Пуговицы мои вам кажутся смешны... но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значит пять склонений, а на камзоле четыре спряжения. Итак, — учитель ударил по столу рукою, — извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете.

Того ли латиниста Фонвизин порицал за пьянство и одобрял за преострый ум, неизвестно; во всяком случае, немцу-географу этой остроты недостало, «и мы, следственно, экзаменованы были без всякого приготовления».

— Куда течет Волга? — задан был вопрос, и один из гимназистов, по несчастью, еще не подозревающий о том, что присловье насчет Каспийского моря и овса станет символом банальности, отвечал:

— В Черное море.

Спросили другого.

— В Белое, — ответил тот, решив, по-видимому, угадывать по контрасту цвéта.

Когда же дошла очередь до Дениса Фонвизина, «...не знаю, — сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили».

Что это — профессиональный скептицизм, ехидно подтачивающий наивность и доверчивость («О вы, родители, восхищающиеся часто чтением газет, видя в них имена детей ваших, получивших за прилежность свою прейсы, послушайте, за что я медаль получил»)? Или хотя бы невозможность удержаться от красного словца, не щадящего альма матер? Тем более что тут же, словно бы спохватившись, насмешник спешит прибавить: «Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет. Ибо в нем, обучаясь по-латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам».

Исследователи, кажется, почти единодушно порешили, что так оно и есть:

«Едва ли стоит говорить о том, что весь этот рассказ нельзя принимать за чистую монету. Трудно поверить тому, чтобы самые посредственные экзаменаторы награждали ученика за признание в своем невежестве... Подробность об «единогласном» присуждении ему медали в рассказе Фонвизина введена едва ли не для красного словца» (К. В. Пигарев).

Конечно, ежели уличать Фонвизина в частностях и эпизодах, говорить особо не о чем. И память может подвести через тридцать лет с лишком, и красное словцо не исключено (Фонвизин все-таки, а не Карамзин).

Однако если можно позабыть, единогласно дали тебе медаль или нет, и медаль, либо какую-нибудь иную награду, то общее-то положение не могло вовсе изгладиться из памяти. И возводить напраслину на университет Фонвизину тоже не было нужды — недаром же, язвительно начав, кончил он благодарственно.

И то было и это; и упокой и здравис; и хулы достойное и хвалы, — как могло быть иначе в молодом деле? А противоречие или, если угодно, парадокс не стоит отрицать; лучше попробовать понять его.

Слова Фонвизина о беспорядочности ученья, о нерадивости и злонравии учителей, о лености учеников уверенно использовал как добросовестные свидетельские показания С. М. Соловьев, историческим легковерием не отличавшийся. Он даже прибавил, что Денис Иванович, обучившийся латыни и немецкому, был среди счастливых исключений: «...другие воспитанники университета не могли похвалиться последним». А историк университета, известный С. П. Шевырев, дорисовал картину. Да, профессоры подчас бывали нерадивы и не могли быть иными: малое жалованье понуждало прирабатывать приватными уроками и не ходить на казенные лекции; однажды дело дошло до тяжбы университета с учителем. Да, были люди случайные: разорившийся бархатный фабрикант, швейцарец, хоть и не надолго, но попал — все по той же моде на вральманов — в профессоры. Да и семьи по-простаковски поощряли леность:

«Учение, как было видно, не вошло еще в потребность семейной и общественной жизни. Родители сами ему противились и отвлекали детей своих от

науки. Директор умолял Куратора не давать отпусков иначе, как только на время вакаций».

И из такого университета все-таки выходит не кто иной, как Денис Фонвизин.

Противоречие? Конечно. И больше того — противоречие общее, открыто орущее о себе из всех столичных и медвежьих углов: смешны и отвратительны вральманы и кутейкины (смешны — в комедии, отвратительны — в жизни), но из их недобросовестно-неуклюжих рук выходят Державин, Радищев, Новиков, Болотов. Будь иначе, разве дошли бы до нас имена сельских пономарей и немецких унтеров?

В чем разгадка?

В Простаковых. Именно в них.

Мать Митрофана и дядя его, Скотинин, сами еще кичатся безграмотностью, и это не бессмысленная дикость. Это, быть может, и не совсем осознанное, но явное выражение приверженности к прежним временам, к их идеологии и укладу. Точнее, к тому старому в нынешней жизни, что оберегает их от необходимости двигаться вперед. По-своему они тоже стародумы, только Софьин дядюшка видит в прошлом Петра, наводившего в России строевой порядок, а они, не проникая во времена столь дальние, — свое освобождение от Петровой палки, пришедшее с его смертью.

Их непросвещенность — их знамя. Выражение их «старорежимности».

Однажды было тонко замечено, что точно так же, как Простаковы хвастаются непросвещенностью, вскоре начнет хвалиться полу просвещенностью Фамусов. Да, времена переменились, но хоть этим самым «полу», пограничной половинкою цепляется он за прежнее время, демонстрируя свой благонадежнейший консерватизм, для которого невежество есть пароль непричастности к всегда подозрительному новому.

Простакова истова в ненависти к грамоте:

— К деушкам письма пишут! Деушки грамоте умеют!

Душа ее на стороне тьмы, и даже материнское желание понежить Митрофанушку, не утомлять его наукою, так сказать, вполне «идеологично»; однако разумный глаз ее уже принужден считаться со светом, директивно излучаемым сверху. Митрофана учат — то есть нехотя уступают кровиночку ненавистному новому времени.

— Нас ничему не учили, — гордится Простакова. — Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу. Кстати ли? Покойник-свет и руками и ногами, царство ему небесное! Бывало, изволит закричать: прокляну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет.

Правдин ловит ее на слове:

— Вы, однако ж, своего сынка кое-чему обучаете.

— Да ныне век другой, батюшка!

В некотором смысле Простаковы отражают веяния века нагляднее, чем Стародумы. Те на Руси были всегда, разве что носили не камзол и парик, а ферязь да горлатную шапку и читали не Фенелона, а «Диалектику» Иоанна Дамаскина либо «Шестослов» Василия Великого. Но чтобы Простаковы решились признать печальную необходимость ученья, для этого Петру

действительно надобно было сдвинуть Россию с насиженного места, Елизавете — учредить университет, Екатерине — написать «Наказ».

Сейчас речь о времени доекатерининском; она вступит на трон в год, когда Денис Фонвизин оставит университет, но процесс, еще далеко не закончившийся и во времена «Недоросля», уже начался. Вынута пробка, и стесненные силы вырываются наружу.

Времена откупоривания пробок, времена н а ч а л всегда отличаются стремительной, пружинящей скоростью развития. Для нас, сегодняшних, удивительна и недоступна ранняя духовная взрослость пушкинского поколения, а современник и друг Пушкина Вяземский, наблюдая, как Фонвизин почти ребенком был замечен, обласкан, подхвачен книгопродавцами, ждущими от него переводов, замечает:

«В младенчестве общежития нашего и люди начинали жить ранее».

Даже ему это странно.

Университет был и хорошим и дурным вместе, профессоры были и превосходными и скверными, — главным был, однако, д у х в р е м е н и, имеющий обыкновение при всей своей видимой неосязаемости давать результаты вполне материальные.

Еще не пришло время потока, пока что к морю пробиваются ручейки, и состояние дел в университете есть в равной мере и порождение общего состояния воспитательных дел и причина того, что поток задерживается. Он, университет, пока не умеет поставить под ружье необходимую России армию образованных людей, но он уже дает возможность упорному одиночке выучиться и воплотиться. Многое зависит от тебя самого, — увы, даже слишком многое, если вспомнить, что прекрасно начавший ученье Новиков затем выключается из списка гимназистов и долгие годы спустя кается в письме Карамзину:

«Не забывайте, что с вами говорит идиот, не знающий никаких языков, не читавший никаких школьных философов и они никогда не лезли в мою голову; это странность, однако истинно было так».

Фонвизину хватило и любознательности и характера. Смешные истории о пуговицах латиниста и о Волге, которой так и не удалось влиться в Каспийское море, отразили университетский быт и, конечно, сказались на общем образовании Дениса Ивановича. И все-таки университет он покинул, изучив не только латинский и немецкий языки, но и — сверх программы — французский, чему немало помогло его честолюбие.

Во время памятной поездки в Петербург свел он знакомство со своим сверстником, отпрыском знатной семьи, «которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг ко мне переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять; а я, приметя из оборота речей его, что он, кроме французского, коим говорил также плохо, не смыслит более ничего, стал отъедаться и моими эпиграммами загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать меня в гости; я отвечал учтиво, и мы разошлись приятельски. Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному... Через два года я мог разуметь Волтера и начал переводить стихами его «Альзиру».

Три языка и решили его судьбу.

Сержант лейб-гвардии Семеновского полка (в переводе на мерки

армейские чин отнюдь не унтер-, а обер-офицерский: поручичий) своим званием дорожил не слишком: «...как желание мое было гораздо более учиться, нежели ходить в караулы на съезжую, то уклонялся я сколько мог от действительной службы». И весной 1762 года, вместо того чтобы явиться в полк, произведен был из гимназистов в студенты.

Впрочем, и учиться дальше не тянуло. «По счастию моему, двор прибыл в Москву, и тогдашний вице-канцлер взял меня в иностранную коллегию переводчиком капитан-поручичья чина, чем я был доволен».

Расшифруем эту короткую фразу. Двор прибыл в Москву по случаю коронации императрицы Екатерины, ибо, пока Денис Иванович сдавал экзамены и носил переводы в Рейхелев журнал, в России кое-что произошло. Скончалась Елизавета, на трон вскочил венценосный Митрофанушка Петр Третий, чье шестимесячное царствование кончилось его свержением и расчетливо-пьяным убийством.

Вице-канцлер — это князь Александр Михайлович Голицын, которому некто указал на способного юношу. Вступив в подначальную ему коллегию на жалованье 800 рублей в год, Фонвизин должен был заниматься переводами с трех известных ему языков.

Так заканчивается первая глава его жизни, и нам, на переходе ко второй, пора завершить разговор о дворянском недоросле, о Митрофане-Петруше. Нет, Митрофане-Петруше-Денисе.

Они — до определенного и решающего поворота — идут на удивление одной дорогой.

Все трое доверены в младенчестве «рабу крепостному», и хотя многое зависит от душевных качеств «мамы» или дядьки, Еремеевны, Савельича или Шумилова, это не снимает опасности общей, той, что сурово предсказывал Стародум:

— Лет через пятнадцать и выходит вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин.

С рук на руки принимают их учители, Вральманы или Бопре, и если Фонвизину повезло и тут, то потому, что отец его был поразумнее не только Простаковых, но и старика Гринева. Да и что было бы, не откройся Московский университет?

Снова, стало быть, могло случиться и так и сяк, снова решают дело благоприятные или неблагоприятные стечения обстоятельств, но, говоря современным языком, м о д е л ь одна. И если пути трех недорослей резко расходятся, если один из них становится обаятельнейшим персонажем русской литературы, а другой — и вовсе ее великим творцом, то все равно предостерегающе и даже отчасти фатально реет над ними тень Митрофана Простакова или, чтобы приблизить его по времени к Петру Гриневу и Денису Фонвизину, почти ровесникам, скажем: его двойника, родившегося пораньше, когда, кстати, Митрофанова порода была и погуще и посильнее.

Митрофан — опасность, реализовавшаяся полностью. Исступленная холопка Еремеевна, фурия-мать, ничтожество-отец — какое стечение неблагоприятных обстоятельств! И ни одного — в соответствии с замыслом сатирика — благоприятного. Оттого Митрофан наиболее логичное воплощение закономерности, ибо общие законы должны учитывать случайность, но не могут на нее рассчитывать. Пусть даже Наполеонов насморк помог Веллингтону разбить его, допустим; но значит ли это, что английский воена-

чальник должен был строить план сражения с учетом состояния слизистой оболочки неприятеля?

Гринев... однако с ним случай совсем особый. Пушкин позволил себе прекрасную нелогичность, проницательно замеченную Мариной Цветаевой.

За несколько месяцев Петруша, собрат Митрофанушки, проходит путь, который и за долгие годы пройти трудно. Даже невозможно — потому что слишком много своего, личного дарит герою его гениальный творец:

«Да и пиитом-то Пушкин Гринева, вопреки всякой вероятности, сделал, чтобы теснее отождествить себя с ним. Не забудем: Гринев-то в Оренбург попал за то и потому, что до семнадцатого годочку только и делал, что голубей гонял. Не забудем еще, что в доме его отца, кроме «Придворного календаря», никаких книг не было. Пушкин, правда, упоминает, что Гринев стал брать у Швабрина французские книги, но от чтения французских книг до писания собственных русских стихов — далеко».

Добавим, что непонятно и то, каким образом Гринев эти книги читал: сам ведь сообщил, что не он учился у Бопре французскому, а тот у него — российскому.

Не станем копаться в причинах этого феномена, отметим лишь одну, кажется, несомненную: свободу пушкинского художественного мышления, позволившую ему на заре (и сразу — на вершине) реализма оказаться независимым от слишком строгого следования его законам.

Так с Петрушей; Митрофану и счастливый произвол автора не поможет. Герой комедии, он достойный и неизбежный плод злонравия, законченный в противоестественном своем развитии, и даже служба, на которую его, как и Гринева, посылают, н р а в с т в е н н о его, такого, не выправит. Разве что насильно принудит приносить обществу хоть какую-то пользу.

(Правда, соблазнительно вспомнить судьбу недоросля, которого прочили Митрофану в прототипы: тот, говорят, увидав на сцене свои пороки, так устыдился, что принялся за ученье. Учился в Страсбурге и Дрездене, изучил несколько языков, узнал историю, философию, литературу, музыку, скульптуру, живопись, сам был превосходным художником, дружил с Крыловым, Гнедичем, Пушкиным, Брюлловым, стал директором Публичной библиотеки и президентом Академии художеств, — стал Алексеем Николаевичем Олениным.

Наверное, связь его с Митрофаном — выдумка, а хочется верить; хочется, чтоб действие словесности и в самом деле могло быть столь могучим и непосредственным...)

Путь третьего недоросля, Дениса Фонвизина, как было говорено, оказался огражден от опасностей счастливыми случайностями. И наисчастливейшая — сам Фонвизин, его душа, его воля, его талант, то, что могло решить судьбу в странную ту эпоху.

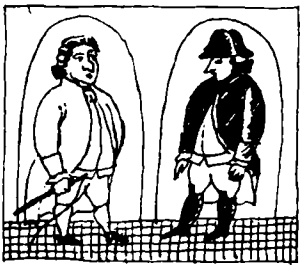
У ж е могло решить: при какой-нибудь Анне Иоанновне талант, да еще такого рода, заглох бы, едва показав ростки.

Или даже не догадался бы о собственном предназначении.

Фонвизин осознал и отыскал себя, пророс сквозь пласты косности и невежества, еще царящих; он шел как бы наперекор эпохе. Но и благодаря ей, с нею — тоже, ибо то было время начал и обещаний, надежд внизу и уступок сверху, время, когда завидно много зависит от собственных твоих сил... или хоть кажется, что зависит: иллюзия свободы тоже питательна, она одна может ободрить талант и дать ему раскрыться. Другое дело, что потом

призрачность ее обернется ударом раннего мороза и гибелью в расцвете. Но и на том спасибо, что дали расцвести.

С университета, разумно-нелепого детища нелепо-разумной эпохи, и начались отношения Дениса Ивановича с нею. Вечное: наперекор — и благодаря.



ФРАНЦУЗСКИЙ КАФТАН

Как странна наша участь. Русский силился сделать из нас немцев; немка хотела переделать нас в русских.

П. А. Вяземский

ЧУДАКИ

Еще не один раз придется нам повторить слово «странный», говоря о восемнадцатом веке. С одной из олицетворенных странностей начнем и эту главу.

Юный Денис Иванович, едва ступив за порог университета, повстречался с человеком, влиятельность, склонность и самый нрав которого на несколько ближайших лет прочно определят жизнь Фонвизина, да и заложат, пожалуй, некоторые основы его характера. Во всяком случае, литературного.

Человек этот — Иван Перфильевич Елагин, относившийся к кругу знатнейших екатерининских вельмож, чье имя сегодня находится на общем слуху более из-за петербургского острова, одно время ему принадлежавшего и посейчас сохранившего в своем названии память о бывшем владельце.

В пору, когда с ним сблизился молодой Фонвизин, Иван Перфильевич — вице-президент Главной дворцовой канцелярии. В скором времени — статс-секретарь и директор театров. Ко всему — писатель. И вдобавок один из знаменитых санкт-петербургских чудаков.

Личность прелюбопытная. И — по-своему обыкновенная: наш восемнадцатый век вообще век чудаков и чудачеств.

Отчего так? Что же, чудаки взяли вдруг да и полезли, как грибы после теплого ливня?

Если да, то уж, скорее, после ледяного.

Читая сборники исторических анекдотов, как раз и высматривающих курьезы и раритеты, замечаешь: в первом тридцатилетии века в них один главный персонаж, одно средоточие странностей. Разумеется, царь Петр.

Он — монополист знаменитого российского размаха, обрядившегося в узкий голландский камзол и уже тем самым выглядящего диковинно. Он — законодатель забав и причуд, церемониймейстер своих бесцеремонных веселий. Он — первый и, кажется, единственный чудак России.

Неужто в ту пору больше ни у кого не было охоты чудачить? Была, и чудачили, но вслед за императором, не по-своему, а по-чужому, подражая и подсвистывая. Быть чудаком на свой манер — нет, тут неволя была пуще охоты, а единственным свободным человеком чувствовал себя царь. Да и он не вполне: свободы от забот о государстве у него не было.

Петровское время — шеренга с правофланговым; даже в «миновете», даже в разгуле. Елизаветинское и екатерининское — маскарад. Одна личина ярче и причудливее другой — Разумовские, Потемкины, Нарышкины, Безбородки, Суворовы...

Что это? Вышла на простор русская душа, освободившись от страха перед дубинкою царя-плотника и вдохнув воздуха после бироновской петли? Конечно, и это тоже:

«Да — чудно, дивно было это время, но еще чуднее и дивнее было это общество! Какая смесь, пестрота, разнообразие! Сколько элементов

разнородных, но связанных, но одушевленных единым духом! Безбожие и изуверство, грубость и утонченность, материализм и набожность, страсть к новизне и упорный фанатизм к старине, пиры и победы, роскошь и довольство, забавы и геркулесовские подвиги, великие умы, великие характеры всех цветов и образов и между ними Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французский двор своею светскою образованностию, и дворянство, выходившее с холопями на разбои!..»

Это монолог зависти; тоски и горячности в нем больше, чем строгой верности фактам, а недовольство настоящим, как оно обычно и бывает, заставило приукрасить прошедшее, — что ж, тем выразительнее голос молодого Белинского, поданный из холодной и служилой России Николая, сказал о том, что именно отличало «эпоху чудаков».

Итак, «распахнись, душа»? Пожалуй, но что-то среди мелкого люда перепроизводства широких натур не наблюдалось и в те времена. И, надо полагать, дело не только в том, что малые людишки не попадали в поле зрения мемуаристов и историков.

Вероятно, все-таки люди с наклонностью к причудам рождаются столь же непроизвольно, как и люди гениальные, и от эпохи зависит, захочет ли она их заметить и принять. Возможно, я тут допускаю вольность с точки зрения... ну, допустим, генетики, но, во всяком случае, непроявившийся Моцарт или неразмахнувшийся Потемкин никакой статистикой учтен быть не может.

Русский исторический чудак, если не гордость, то хотя бы краса восемнадцатого столетия, — явление социальное. Даже экономическое.

Указ о вольности дворянства, который Петр Третий успел подписать 18 февраля 1762 года, за краткий миг своего удивительного царствования, и который освобождал дворян от обязательной службы отечеству, был всего только документальным подтверждением факта свершившегося или по крайней мере свершающегося. Впервые (и на исторически долгий срок) в России возникло и было юридически признано сословие, и м е ю щ е е п р а в а и н е и м е ю щ е е о б я з а н н о с т е й — ни перед властью, ни перед крестьянами — и пользующееся той противоестественной независимостью, какой и сам Петр Великий не имел, ибо отвечал, хотя не по принуждению, а по воле, за свое государство.

В истории Указ сыграл роль неоднозначную.

Неслужилые дворяне девятнадцатого века, избравшие отставку от государственной службы формой нравственного самоопределения, формой протеста, — они дети тех, кто был радостно огорошен манифестом Петра Третьего; даже рыцарская этика декабризма («Честь дороже присяги» — вот что придется услышать царю Николаю на одном из допросов) и та тянет корешок, пусть слабый, к знаменитому Указу. Да и в годы его принятия были достойные люди, предтечи, ласточки, еще не делающие весны, находившие серьезный смысл в удалении от государственных дел, — но не они решали дело. И не они рвали у власти Указ.

То, что стало бы безусловным благом в иных условиях, не было им в обществе, как бы лишенном равновесия. Указ оказался не то что преждевременным (всякая свобода только запаздывает, а не опережает время), но, как все, вызванное заботой не об общих интересах, а о привилегии для части общества, был трагикомически непоследователен.

Впрочем, для многих и просто трагически — без комизма.

Дворяне обретали долгожданную вольность, но она же немедля оборачивалась новыми тяготами для крестьян, новой бедой для всего государства.

Ключевский заметил, что по требованию исторической логики на другой же день после принятия манифеста, 19 февраля 1762 года, следовало отменить крепостное право, дав и крестьянам вольность. Да так оно и вышло, добавлял он с невеселым сарказмом, свобода и пришла 19 февраля, только спустя девяносто девять лет.

Это из области гримас истории, то есть отчасти из области комизма.

Что ж до самого февральского Указа, то возникновение его связано уже с комизмом чистым.

Князь Михаил Михайлович Щербатов, современник Фонвизина и дед Чаадаева, в язвительнейшем сочинении «О повреждении нравов в России» поведал со слов секретаря Петра Третьего Дмитрия Волкова (источник, стало быть, надежный), будто бы царь увлекся некоей К. К. и, дабы скрыть от своей первой и главной любовницы Елизаветы Воронцовой, «что он всю ночь будет веселиться с новопривозною, сказал при ней Волкову, что он имеет с ним сию ночь препроводить в исполнении известного им важного дела в рассуждении благоустройства государства. Ночь пришла; Государь пошел веселиться с К. К., сказав Волкову, чтобы к завтрему какое знатное узаконение написал, и был заперт в пустую комнату с дацкою собакою».

Гадал, гадал Волков, чего было бы желательно государю или хоть не рассердило бы его, пока не вспомнил, что граф Роман Воронцов, сенатор и отец фаворитки (между прочим, отец также и знаменитой княгини Екатерины Романовны Дашковой), не раз «вытверживал» Петру о вольности дворянства: «Седши, написал манифест о том. По утру его из заключения выпустили, и манифест был Государем опробован и обнародован».

Вот как все вышло просто и славно, — и Воронцова ни о чем не догадалась, и дворяне добились давно желанного, даром что над историей России было учинено чудачество.

Дарованная вольность не вовсе убила в дворянстве идею государственности. Отчасти даже напротив: с тем бо́льшим, с полемическим упорством сословное с о з н а н и е, представляемое лучшими умами и душами, проповедовало служение отечеству, — а все ж и достойных развращало, не могло не развращать сословное б ы т и е.

Между прочим, апелляция к сознанию была и в поименованном манифесте: объявлялось, что неуклонение от службы и обучение детей весьма желательно и достохвально, а тех, кто станет уклоняться, должно «презирать и уничтожать» — в моральном, конечно, смысле. Но это было беспомощно и жалко, как всякая попытка закона спасти свое несовершенство, взывая к сознательности. Происходило общесословное отпадение от долга, который всегда есть зависимость.

Развращение сословия и политическое расстройство государства — вот, увы, одна из причин столь заманчивого явления, как пришествие на Русь чудаков; причина уродливая, что нравственно тяжело, но исторически обыкновенно (вряд ли эллинские «звучащие орудия», рабы, сильно утешались тем, что на их костях взрастали Праксители и Софоклы). Возникла своего рода а р и с т о к р а т и ч е с к а я д е м о к р а т и я, полуцивилизованная вольница... «полу» хотя бы потому, что редко бывало, чтоб эта цивилизованность, сколь ни была бы она высока, не совмещалась с

остатками азиатчины — даже в одном и том же человеке, даже в человеке замечательном. Монолог Белинского об умственной и нравственной пестроте общества вполне можно обратить внутрь отдельной души, — да и когда характер общества не отражался в душах членов его, даже пасынков, выродков, белых ворон?

Словом, эта-то внутренняя пестрота личностей, их неотлаженность и неуложенность, с одной стороны, и, с другой, возможность все это не сдерживать, не загонять внутрь, не стыдиться обнародовать свои странности, то есть род внутренней свободы, и образовали явление, именуемое «русский чудак второй половины восемнадцатого века», а уж как это чудачество самовыражалось — в петушином ли суворовском крике или в тиранстве уездного самодура троекуровского типа, — это зависело от того, что перевешивало в душе, добро или зло.

На «модель» это не влияло.

Случалось, чудачеством казалось и нечудачество:

«Надменный в сношениях своих с вельможами, Потемкин был снисходителен к низшим. Однажды ночью он проснулся и начал звонить. Никто не шел. Потемкин соскочил с постели, отворил дверь и увидел ординарца своего, спящего в креслах. Потемкин сбросил с себя туфли и босой прошел в переднюю тихонько, чтоб не разбудить молодого офицера».

Человеческая снисходительность Потемкина кажется еще несколько курьезной (кому?) Пушкину и (когда?) в тридцатые годы следующего столетия. Разумеется, таковой же поступок какого-нибудь штаб-офицера никого бы не умилил, — и как знать, может, даже рассердил бы как опасное нарушение иерархии?

Во всяком случае, Денис Иванович Фонвизин, путешествуя по Франции, подобным случаем был весьма раздосадован. Живя в Монпелье, посетил он театр и сидел в губернаторской ложе, возле которой полагалось стоять часовому с ружьем — из уважения к особе губернатора Перигора (того самого, коего Фонвизин обскакал в отношении собольего сюртука).

«В один раз, когда ложа наполнена была лучшими людьми города, часовой, соскучив стоять на своем месте, отошел от дверей, взял стул и, поставя его рядом со всеми сидящими знатными особами, сел тут же смотреть комедию, держа в руках свое ружье. Подле него сидел майор его полка и кавалер св. Людовика. Удивила меня дерзость солдата и молчание его командира, которого взял я вольность спросить: для чего часовой так к нему присоседился? «C'est qu'il est curieux de voir la comédie»[1], — отвечал он с таким видом, что ничего странного тут и не примечает».

Если Фонвизину неуютно в одной ложе с солдатом (интересно, не то ли испытал бы в театре и Пушкин?), как же не считать причудою снисходительность самого Потемкина? Величие души весьма часто соизмеряется с величиною чина (не совсем несправедливо: по крайней мере это нагляднейшее из мерил и серьезнейшее из испытаний), и дабы оказаться в признанных чудаках, надо было иметь высокий ценз — силы, власти, влияния и обретаемой с ними независимости.

Да и ценз имущественный, наконец: вряд ли иначе славился бы окрест своей причудливой диковинностью выезд вот такого помещика — выезд не экстраординарный, не переезд какой-нибудь, а самый рядовой, обыкно-

---

[1] Потому, что ему любопытно смотреть комедию *(фр.)*.

венный: «Собираясь куда-нибудь в дорогу, подымался он всем домом». Впереди процессии ехал непременно услужающий поляк, играя на валторне, за ним следовал сам барин с неотлучным шутом. «За ними тянулись кареты, наполненные нами, нашими мадамами, учителями, няньками, и проч. За нами ехала длинная решетчатая фура с дураками, арапами, карлами, всего 13 человек. Вслед за нею точно такая же фура с больными борзыми собаками. Потом следовал огромный ящик с роговою музыкою, буфет на 16-ти лошадях, наконец, повозки с калмыцкими кибитками и разной мебелью (ибо отец мой останавливался всегда в поле). Посудите же, сколько при всем этом находилось народу, музыкантов, поваров, псарей и разной челяди».

Отец — это Воин Васильевич Нащокин, описанный Пушкиным со слов его сына и принадлежавший, по мнению обоих, «к замечательнейшим лицам Екатерининского века». Этот чудак мог дать пощечину Суворову за острое словцо, мог сказать государю Павлу: «Вы горячи, и я горяч: нам вместе не ужиться», а любимую жену мог воспитывать таким образом.

То была «женщина необыкновенного ума и способностей. Она знала многие языки, между прочим греческий. Английскому выучилась она 60 лет. Отец мой ее любил, но содержал в строгости. Много вытерпела она от его причуд... Иногда чтоб приучить ее к военной жизни, сажал ее на пушку и палил из-под нее».

Вот оно, соединение варварства с образованностью... Правда, на сей раз варварство велит стрелять из-под образованности.

Сама гордыня неограниченная, жестоко сказывавшаяся на окружающих и, тем более, на нижестоящих, и она выглядела — чудачеством. Над каким-нибудь Сумароковым зло смеялись, видя в его попытках отстоять достоинство литератора только самохвальство (в одну комедию он и вошел Самохваловым); над Воином Васильевичем, который «никого не почитал не только высшим, но и равным себе», смеяться опасались. Сам Потемкин позволил себе на его счет лишь весьма невинную шутку. Нащокин, говаривал он, даже о господе боге отзывается хоть и с уважением, но все-таки как о низшем по чину. Так что когда того пожаловали в генерал-поручики (чин 3-го класса), светлейший заметил:

— Ну, теперь и бог попал у Нащокина в 4-й класс, в порядочные люди!

А еще один из прославленных екатерининских чудаков сказал:

— Не знаю, чему дивятся в Вольтере. Я не простил бы себе, если б усомнился сравниться с ним в чем бы то ни было.

В пору обожествления Вольтера слова эти были нешуточны; сказаны же они тем самым Иваном Перфильевичем Елагиным, чей облик имеет для нас значение особое: в его орбиту на несколько лет попал Фонвизин, а во времена личного патронажа, впрочем, долго продолжавшиеся (через сколько еще лет Чацкий скажет, что рад служить, да тошно прислуживаться, — скажет потому, что одно от другого по-прежнему неотделимо), словом, в те времена образ жизни и круг интересов спутника весьма зависимы от характера планеты.

Тем более что у причуд елагинских все та же, общая, основа, и в своенравных странностях проглядывает тот же, общий, господствующий тип.

«Известный Иван Перфильевич Елагин, — сообщает мемуарист, — весьма умный, образованный и притом отлично добрый человек, имел, кроме слабости к женскому полу, еще другую довольно забавную слабость: он не любил, чтобы другие, знакомые и приятели его, ели в то время, когда у

него самого аппетита не было, ходили гулять, когда у него болела нога, и вообще делали то, что иногда он сам делать был не в состоянии».

Будучи хлебосолом и гастрономом, Елагин всегда сердился на того, кто, по его понятию, мало ел и неохотно пил, но если сам сидел на диете, то громко возмущался обжорами, способными поглощать всякую дрянь, причем поименно перечислял все яства своего роскошного стола. Будучи театралом (а потом и начальствуя над театром), всячески восхвалял любимых им актеров и особенно актрис, — но если бывал болен и оставался дома, то удивлялся бездельникам, находящим время для посещения спектаклей:

— Право, не понимаю этой страсти к театру: что за невидаль такая? Добро бы что-нибудь новое, а то все одно и то же; что вчера, то и нынче; те же пьесы, те же актеры и те же кулисы.

Невинно, забавно, обаятельно — в самом деле всего только слабости «отлично доброго» человека; но и тут своеволие, барственный эгоцентризм, сознание власти, слава богу, остановившиеся в развитии своем пока что подалеку от самодурства.

А власть у Елагина была. Смолоду он оказался близок к Екатерине Алексеевне, тогда еще великой княгине, притом почти опальной, да и сам подвергся опале: был сослан по подозрению будто бы в заговоре против императрицы Елизаветы, — но с самого дня восшествия на престол новой царицы и еще долгое время был подле нее и пользовался ее благосклонностью.

Правда, ведя речь о Екатерине, ловишь себя на том, что самые бесхитростные словечки звучат двусмысленно: «близок», «подле», «благосклонность». Так вот, э т о г о, судя по всему, и в помине не было; было доверие к преданному сановнику и личная приязнь, разумеется, выражавшаяся вполне осязаемо. Елагин вскоре после переворота, учиненного Екатериною, назначен был состоять «при собственных Ея Величества делах, у принятия челобитен», где и состоял до 1768 года. В 1766-м стал к тому же во главе российского театра, хотя фактически руководил им и прежде, с отставки Сумарокова. Императрица была с ним коротка: называла по-простецки «Перфильич», доверяла — вкупе со своим статс-секретарем Храповицким — помогать ей в сочинении комедий. Щедро одаривала: «Можешь еще писать, чтобы тебе на Москве дом сыскали купить, а я заплачу». Обещала: «Будь уверен, покамест жива, не оставлю».

Но — оставила. Потом пришло охлаждение, возможно, связанное больше всего с участием Елагина в делах масонских.

Чудно: он не только не был склонен к мистицизму, как положено всякому добропорядочному масону, но вообще не отличался глубокой религиозностью, даже относился к вере со скептической усмешкою, а ложу посещал из того, что сегодня окрестили бы снобизмом, — и тем не менее оказался во главе российского масонства, был его Великим Провинциальным Мастером. Вероятно, сыграло роль его сановное влияние; светская иерархия проникала и в сокрытую тайну лож «вольных каменщиков», и, может быть, по той же самой причине вторым лицом, Наместным Великим Мастером, был другой влиятельнейший вельможа и будущий покровитель Фонвизина — Никита Панин, также далекий от искреннего увлечения религиозными исканиями.

Во всяком случае, именно как масон, «мартышка», как по-кухарочьи передразнивала Екатерина мартинистов (так, по имени одного из направлений, в русском быту именовали всех вообще масонов — ошибочно, но общепринято), Елагин был зло высмеян покровительницей в комедии

«Обманщик». В ней ему была, правда, отведена не роль самого обманщика (им был шарлатан Калифалкжерстон, то есть Калиостро, в ту пору пребывавший в России и обитавший в елагинском доме), а простофили-хозяина Самблина, и все же то не была безобидная шутка: с масонами у царицы были свои счеты, о чем — позже.

Но это —когда еще будет? Пока же Елагин для императрицы ие Самблин, а Перфильич, пока он чудит на приволье, начальствует «у принятия челобитен» и покровительствует начинающему чиновнику Денису Фонвизину.

ЕЗДА В ЕЛАГИН ОСТРОВ

И — начинающему литератору.

Ему даже в большей степени, потому что как чиновник Фонвизин себя особо проявить не успел. Съездил, правда, с дипломатическим поручением в Шверин, но поручение было пустяковым: вручить ленту ордена святой Екатерины герцогине Мекленбург-Шверинской. И тут же, 7 октября 1763 года, указом императрицы было ему предписано, «числясь при Иностранной Коллегии, быть для некоторых дел при нашем статском советнике Елагине, получая жалованье по-прежнему из оной Коллегии».

Попался же он Елагину на глаза за свой перевод Вольтеровой «Альзиры».

Не только попался, но, возможно, и старался попасть: во всяком случае, Фонвизин рассчитывал не на одни служебные свои старания, но и на способности литератора, и ту же «Альзиру» почтительнейше преподнес Григорию Орлову и брату его Федору. Но могущественный фаворит ограничился тем, что одобрил перевод, а Перфильич взял переводчика под начало, о чем Фонвизин и много позже вспоминал как о немалой удаче:

«Я ему представился и был принят от него тем милостивее, что сам он, прославясь своим витийством на русском языке, покровительствовал молодых писателей».

Вот в чем был корень удачи: Елагин сам «витийствовал», сам стихотворствовал, писал комедии, переводил, был вдобавок заметным историком. И все сочинения Фонвизина этой поры, включая даже «Бригадира» (но и кончая «Бригадиром»), так или иначе запечатлели следы или прямого влияния патрона-литератора, или просто вольной атмосферы елагинского окружения и всей петербургской жизни, радостно-непривычной для москвича.

Скоро, однако, привык.

«Не показывай мои письма родителям» — этот наказ, посланный в Москву сестре Федосье и, наверное, не зря сделанный по-французски в русском письме, рожден трезвой осмотрительностью. Ивану Андреевичу точно не пришлось бы по душе сыновнее времяпровождение:

«Во вторник был я у И. П. на час, а дело дано мне было на дом. Обедал у меня князь Ф. А., а после обеда приехал князь Вяземский, Dmitrewski avec sa femme et une autre actrice[1] и, посидев, поехали все во французскую комедию.

[1] Дмитревский со своей женой и еще с одной актрисой *(фр.)*.

В понедельник обедал дома, а ввечеру до 4 heure j'étais au bal masqué chez Locat...[1]

Вчера был я поутру у И. П., обедал дома, а после обеда был у князя А. С. Козловского. От него на куртаг, а с куртага приехал домой смущен».

Как видим, добрый И. П. не слишком утруждает занятиями своего подчиненного, и у того достает времени вести жизнь, с точки зрения строгого родителя, бездельную, о чем сынок помнит, — ох, недаром непонятный Ивану Андреевичу язык снова на всякий случай маскирует самые опасные сообщения вроде ночного посещения маскарада или дружества с Дмитревским, который, по мнению отца, не компания молодому Фонвизину как простолюдин и комедиант. «...Ты рассказала всем, что был у меня Дмитревский с женой, — сетует Денис Иванович не выполнившей наказ сестре, — а батюшка изволит писать, что это предосудительно, хотя, напротив того, нет ничего невиннее...».

Что до простолюдина, то с ним батюшка, может, и примирился бы, его увидя: слишком уж притягателен был человек, коего во Франции, куда откомандировал его для знакомства с европейскими театрами тот же Елагин, тамошние коллеги признали великим актером, а в Англии отметил дружбою сам Гаррик; слишком превосходно владел он манерами (в роли Стародума, как говорят, выглядел маркизом двора Людовика Четырнадцатого) и блестяще — речью (правда, только на сцене, а в жизни он не выговаривал звука «ш» — вероятно, так: «конефно», «лифний», «футка»?). Во всяком случае, титулованные друзья сына ничуть не меньше соблазняли его веселой столичной жизнью:

«Вчера обедал у меня князь Ф. А. Козловский, и после обеда поехали мы в аукцион... После того ужинали у меня Козловский, Глебов и Аргамаков. Итак, вечер проводил весело.

Сегодня поеду к Козловским. Оттуда в спектакль».

Беспокойная жизнь, — впрочем, куда как естественная для девятнадцатилетнего юноши. И уже со следующей почтою сестра получает все то же:

«В пятницу был у И. П., а после обеда chez Dmitrewski[2]. Вчера обедал у князя Ф. А. Козловского. Его рожденье было. А в 4-м часу на пробе италианской оперы».

Следом за этим письмом:

«Вчера была французская комедия «Le Turcaret» и малая «L'esprit de contradiction»[3]. Скоро будет кавалерская; не знаю, достану ли билет себе».

Понапрасну беспокоился — достал. И снова, снова, снова:

«...веселья сегодня балом кончатся. Боже мой! Я в первую неделю еще от них не отдохну. Три дня маскарады и три спектакля...»

Правда, года через два батюшка, кажется, мог бы и поуспокоиться:

«Я не знаю сам, отчего прежний мой веселый нрав переменяется на несносный. То самое, что прежде сего меня смешило, нынче бесит меня...»

«В пятницу, отобедав у П. М. Хераскова, был я в маскараде. Народу было преужасное множество; но клянусь тебе, что я со всем тем был в пустыне».

Наконец:

---

[1] До 4-х часов я был на маскараде у Локат[еллн] *(фр.)*.

[2] У Дмитревского *(фр.)*.

[3] «Тюркаре» и «Дух противоречия» *(фр.)*.

«Мне очень здесь скучно, хотя вы и думать прежде изволили, будто я провожаю здесь жизнь мою в веселье».

Что за перемена? Юноша посерьезнел, как и хотелось Ивану Андреевичу? Перебесился?

Исследователи так и полагают:

«Придворная жизнь тяготила Фонвизина» (Г. П. Макогоненко).

«Тяготясь придворной жизнью...» (К. В. Пигарев).

Заметим, однако, что последняя жалоба на скуку обращена к родителям — и как раз в ответ на упрек, что сын провожает жизнь в сплошном веселье. Тут же и добавлено с благонравной деловитостью: «...я каждый день у Ивана Перфильевича бываю; а сколь это беспокойно, то сам бог видит» (сестре-то писал откровеннее: «был я у И. П. на час»).

Обратим заодно внимание, что в том же письме — о, беззаботная непоследовательность! — Денис Иванович проговаривается, по-юношески позабывая и далее сохранять мину захлопотанного делового человека:

«Обедали мы у Резвова; катались на шлюпке, качались, играли в фортуну и время свое довольно весело проводили».

Вот тебе и «очень скучно»...

Что говорить, соблазнительно видеть в двадцатилетнем Фонвизине готового врага Екатерины и ее двора (менее соблазнительно — хрестоматийно-надутый лик классика), — но, может, этого и не было пока? Может быть, дело в ином? Например: захватила светская жизнь, жаль вырваться из ее соблазнов, и весела она, и мила, но — уже тесновато душе, тянущейся к иным занятиям? Или того проще: какой светский кутила не вздыхает время от времени — устал, дескать, что за безумная жизнь? Не так ли и Фонвизин жалуется на свет, пока что, кажется, вовсе не торопясь проклинать его всерьез?

Все может быть; не забудем даже и головные боли, уже мучающие его и способные нагнать хандру; однако беспросветное отвращение к компаниям и веселью тем менее вероятно, что уже началась и растет мода на Фонвизина. Еще в детстве обнаруженный им дар насмешливого краснобайства оттачивается в среде испытанных острословов и знаменитостей (Хераскова, Богдановича, Баркова, Василия Майкова, Сумарокова — шутка сказать!), и он, тягаясь с ними, молодо самоутверждается, как задиристый петушок.

Правда, очевидец сыскал не столь мирное сравнение:

«Молодой Фонвизин находился в числе их как коршун. Пылкость ума его, необузданное, острое выражение всех раздражало и бесило; но со всем тем все любили его. Майков, пустясь в спор против него, заикнется; молодой соперник, воспользовавшись минутою запинания, опередит его и возьмет верх над ним. Взлетит ли Херасков под облака, коршун замысловатым словом, неожиданною насмешкою, как острыми когтями, сшибет его на землю».

Вот еще один соблазн преждевременной и мрачной серьезности: объявить все это уже вполне рассчитанной литературной войною, отстаиванием своей неприступной позиции. Что ж, схватываясь, допустим, с Сумароковым, Фонвизин выступал и как боевой «елагинец» — его покровитель нешуточно сражался с Александром Петровичем на поприще словесности, и споры их даже за столом у великого князя Павла Петровича, куда оба были допущены, случались столь ожесточенными, что Никита Панин, воспитатель Павла, их разнимал.

Но не забудем: то, что для нас отстоялось в каноническую историю литературы, для них был б ы т; люди ссорились и мирились, кололи друг друга эпиграммами и разили сатирами порою из частных симпатий и антипатий, даже из пустяков:

«С Sumar. за что повздорил — писать не стоит. Одна бестия, une fille d'un musicien[1], меня с ним поссорила. Elle a lui raconté une petite histoire entre sa fille et moi[2], чего истинно не было; однако он, как человек сам безумный, дуре поверил...»

Можно, впрочем, представить, как недешево обошлась Сумарокову эта случайная ссора. Дело в том, что Фонвизин славился редкостным даром: он умел «принимать на себя лицо и говорить голосом весьма многих людей», а первым и излюбленным номером этого спектакля оказывался все тот же Сумароков, которого молодой состязатель «передражнивал», по его собственным словам, «мастерски и говорил не только его голосом, но и умом» (что впоследствии станет очень забавлять Панина и, надо полагать, в эту пору забавляло Елагина).

Словом, был тут молодой избыток веселья, было предвестье литературных баталий; была, с неохотою надо признаться, и весьма распространенная слабость угождать силе, избравшей себе на посмеяние вечную жертву, — слабость, за которую сурово выговаривал Фонвизину Пушкин:

«Сумароков был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина; его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду в оправдании, забавлял знатных, передразнивая Александра Петровича в совершенстве».

Что касается Сумарокова, тот не был шутом, а шутом невольно оказывался, — это ясно и из пушкинских слов. Над ним смеялись, ловко вышучивая его самовлюбленность (в ту пору ею могло казаться и просто чувство достоинства, за литераторами не слишком признававшееся), но сам он не гаерничал. Фонвизин — во всяком случае, в молодые годы — был в этом смысле типичнее для своего века.

Однако злости, говорящей о свойствах характера, а не о задиристости молодого возраста, Денис Иванович, кажется, не проявлял. Друг его и компаньон Клостерман вспомнит гораздо позже, что он «отличался живою фантазиею, тонкою насмешливостию, уменьем быстро подметить смешную сторону и с поразительною верностию представить ее в лицах», но со всем этим соединял он «самое задушевное простосердечие и веселонравие».

Положим, Клостермановы воспоминания благоговейно-житийны, но, однако, и тот очевидец, что назвал петушка коршуном, Мятлев, к ним присоединяется:

«При самом остром и беглом уме, он никогда и никого умышленно не огорчал, кроме тех, кои сами вызывали его на поприще битвы на словах».

К несчастью, фонвизинское «веселонравие» оставило по себе память, однако само не отпечатлелось. «Острые слова мои носились по Москве», — вспоминал он сам свои университетские годы; носились и по Петербургу, но не осели ни в чьей памяти. «Он знает пропасть его bon mots, да не припом-

---

[1] Дочь какого-то музыканта *(фр.)*.

[2] Она ему рассказала одну историйку обо мне и его дочери *(фр.)*.

нит», — сообщал Пушкин о встрече с «вельможей» Юсуповым. Такова небрежливость эпохи, занятой делами, среди которых словесность делом важным не почиталась.

Сбережены крохи, и вот одна из немногочисленных — веселая перебранка Фонвизина с Княжниным (да и та поздняя, бывшая не раньше 1784 года, когда написан был патриотический княжнинский «Росслав»):

— Когда же вырастет твой герой? Он все твердит: «Я росс! Я росс!» Пора бы ему и перестать расти!

— Мой Росслав совершенно вырастет, когда твоего бригадира произведут в генералы!

Даже эпиграммы, записанные самим автором, и те не сохранились.

Вернее, почти не сохранились, но это «почти» можно бы и опустить. Ибо что осталось? Эпиграмма на неизвестное лицо?

О Клим! дела твои велики!
Но кто хвалил тебя? Родня и два заики.

Или довольно плоские ругательства в «Послании к Ямщикову»?

О чудо странное! Блаженна та утроба,
Котора некогда тобой была жерёба!

Такие «личности и неприличности» обычно имеют успех в публике, но они одни не составили бы известности молодому острослову. Той известности, которую принесли ему два других стихотворных сочинения.

«Он не был рожден поэтом, ни даже искусным стихотворцем, — говорит о Фонвизине Вяземский, прибавляя снисходительно: — хотя и оставил несколько хороших сатирических стихов в «Послании к слугам» и в басне «Лисица-кознодей».

С первым фонвизинским биографом надо согласиться, отметив разве некоторое высокомерие человека девятнадцатого столетия, живущего после Державина, рядом с Пушкиным и Баратынским. Для него-то уже открылось расстояние между понятиями «поэт» и «стихотворец», между вдохновением и одним только ремеслом, да и само российское стихотворство создало свои правила и нормы, бывшие далеко не столь определенными во времена Фонвизина.

Да, он не слишком искусный стихотворец и, главное, не поэт. Дело не только в том, что он им «не был рожден», не был наделен именно поэтической индивидуальностью; он даже не осознает необходимость иметь и искать эту индивидуальность. И не он один: в те времена в с е пишут в с ё, и выбор литературного рода или вида часто порождается не желанием выразить свое и по-своему, а диктуется темою или задачей.

Прозаик, поэт, драматург — сегодняшнее деление сравнительно четко. В ту пору было не совсем так.

Много позже Денис Иванович попробует создать словарь русских синонимов, и литературные специальности будут представлены в нем таким образом:

«*Писец* называется тот, кто сочиняет свое или чужое переписывает. *Писатель* — кто сочиняет прозою. *Сочинитель* — кто пишет стихами и прозою. *Творец* — кто написал знаменитое сочинение стихами или прозою».

Поэт, пиит сюда даже не угодил. Как и писатель драматический, трагик или комик.

Разделение неудачно и невнятно, и это как раз говорит о тогдашнем по-

ложении в словесности. Впрочем, о Фонвизине, пользуясь его терминами, скажем с определенностью: писец и писатель он лишь отчасти, творец — в будущем, сочинитель — в настоящем...

Итак, все пишут всё. И больше: пишут, как все.

Разумеется, я схематизирую, намеренно отбрасывая такую малую малость, как неизбежная и невольная тяга таланта к форме, в которой ему суждено отлиться наиболее совершенно, — но делаю это только потому, что и господствовавшие тогда правила классицизма также немного места оставляли для самоизлияния личности. Строжайшая его нормативность тоже строила схему. Во всяком случае, и басня и послание, сочиненные Фонвизиным в начале шестидесятых годов, написаны, как писали все. Многие, по крайней мере.

Отыщись вдруг эти стихотворения без подписи, думаю, никакой текстолог не реставрировал бы ее по почерку, — разве что угадал бы авторство «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» по невыдуманным именам невыдуманных слуг Фонвизина. Благо, и в письмах его поминаются туповатый конюх Ванька, бойкий парикмахер Петрушка, а собрат Савельича, дядька Шумилов, оставленный, подобно гриневскому слуге, при молодом барине, сочиняет даже за него прошения. Челобитная императрице Екатерине об определении к делам Иностранной коллегии так и подписана:

«Прошение писал того ж дому служитель Михаил Шумилов, Денис Фон-Визин руку приложил».

С «Лисицей-кознодеем» (или «казнодеем»), то есть «проповедником», и этого бы не случилось. Басня как басня, лучше очень многих, но не содержащая в себе ничего именно фонвизинского, только фонвизинского. Форма определена жанром, содержание — критическим отношением к мироустройству, весьма обычным для той сравнительно вольнодумной поры, когда за короткий срок канули два царя (Елизавета померла, Петра Третьего убили), а такая стремительность перемен весьма способствует скептицизму.

Правда, смелость обличения выше обычной, и недаром басня была напечатана лишь лет через двадцать пять после сочинения.

Смысл ее прост, как басне и надлежит; скончался Лев, и на похоронах его Лиса-проповедник — «с смиренной харею, в монашеской одежде» — бесстыдно льстит почившему, чем и вызывает изумление собрания:

О лесть подлейшая! — шепнул Собаке Крот. —
Я знал Льва коротко: он был пресущий скот...

На что исполняющая роль резонера Собака молвила:

Чему дивишься ты,
Что знатному скоту льстят подлые скоты?
Когда же то тебя так сильно изумляет,
Что низка тварь корысть всему предпочитает
И к счастию бредет презренными путьми, —
Так, видно, никогда ты не жил меж людьми.

Всё. Обличение, как видим, если и не стремится вглубь, то растет вширь; оно уничтожает монарха, духовенство (не на то ли намекает «монашеская одежда»?), главное же, включает в свои пределы нравы вообще, людской обычай. Вот, однако, вопрос: говорит ли огромность мишени о меткости стрелка? Всеобщность отрицания — о действительной горечи сатирика?..

В «Послании» обличение и того шире. Вернее, выше: скепсис коснулся самого господа бога.

«Скажи, Шумилов, мне: на что сей создан свет?» — философский этот вопрос, по справедливому замечанию К. В. Пигарева, чрезвычайно важный «для мыслителей эпохи Просвещения», Фонвизину вздумалось обратить не к Диогену или Руссо, а к собственным слугам, и те, удивляясь и недоумевая, исполняют барскую волю.

Не вполне, правда, охотно: ворчливый ответ дядьки — собственно говоря, отказ отвечать. Суждение Шумилова — суждение холопа, находящего удовлетворение в безгласности и безмыслии; ему лень поднять голову от привычной работы, лень оглядеться: «Я знаю то, что нам быть должно век слугами... И помню только то, что власть твоя со мной».

Мироздания нет, есть лакейская. Господа нет, есть господин.

Ванька сперва тоже отговаривается: «С утра до вечера держася на карете, мне тряско рассуждать о боге и о свете», однако в конце концов все же делится с барином плодами своей наблюдательности. Они, увы, горьки:

Попы стараются обманывать народ,
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,
Друг друга — господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя...

Здесь большеголовый вахлак Ванька, оцененный своим господином совсем не лестно («малейшего ума пространная столица»), меток, как сам гений Просвещения Дидро, в «Племяннике Рамо» которого изображен тот же, по сути, «великий хоровод нашего мира»: «Король принимает позу перед своей любовницей и перед богом; он выделывает па из своей пантомимы. Министр перед своим королем выделывает па царедворца, лакея или нищего. Толпа честолюбцев перед министром...» — и т. п. И если Ванька, в отличие от тезки своего автора, от великого Дени, не заметил того, кто не участвует в хороводе мира и в круговой поруке обмана («Это — философ, у которого ничего нет и которому ничего не надо»), то как ему разглядеть философа с запяток кареты?

Итак, конюх недоволен моралью мира. Что же до парикмахера, то он скептичнее не то что Ваньки, но самого Вольтера. Морали нет — и не надобно:

Я мысль мою скажу, — вещает мне Петрушка, —
Весь свет, мне кажется, ребятская игрушка...
Создатель твари всей, себе на похвалу,
По свету нас пустил, как кукол по столу.
Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,
Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.

Вновь — хоровод, только вертятся в нем уже не люди, а куклы, марионетки, у которых отнята всякая самостоятельность — даже мошенничать или пресмыкаться. Ничто ни от кого не зависит, а задавать вопрос о том, «на что сей создан свет... на что мы созданы?» — бессмысленно. Такова невольная дерзость парикмахера в ответ на любознательность господина:

Вот как вертится свет! А для чего он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак.

По мнению стихотворца, более всех прав Петрушка. Ибо самолюбивый Денис Иванович, как будто бы не собирающийся зачислять себя в дураки, соглашается более всего с Петрушкиным пессимистическим скепсисом:

А вы внемлите мой, друзья мои, ответ:
«И сам не знаю я, на что сей создан свет!»

Не хотел бы я, чтобы читатель заподозрил меня в недооценке святого права художника на богохульство. Святого — на богохульство; это не стилистическая небрежность; богохульствовали и святые, — они, быть может, более других, ибо ненависть соседствует с любовью, ею порождается, а равнодушие неплодотворно (хотя и плодовито). Абсолютность отрицания, проклятье всему миру может быть вызвано отчаянием художника от того, что мир и человечество не так совершенны, как идеал, который он выносил и выстрадал, да и просто личным отчаянием, лишь бы живым, страстным, мучительным...

Юный Пушкин в поэме «Тень Фонвизина» с удовольствием повторит слова ироничного парикмахера:

Вздохнул Денис: «О боже, боже!
Опять я вижу то ж да то же.
Передних грозный Демосфен,
Ты прав, оратор мой Петрушка:
Весь свет бездельная игрушка,
И нет в игрушке перемен.

Да и какие могут быть перемены в хороводе неживых кукол? Неживые — не живут.

Но вот Пушкин почти тридцатилетний напишет стихотворение, кажется, столь же скептическое:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Вновь почти повторено за Фонвизиным: «...на что мы созданы?» — «Жизнь, зачем ты мне дана?» Но какая разница между поздними стихами Пушкина и его юношеской поэмой — как между трагедией веры и некоей удовлетворенностью неверием, даже кокетством (кокетство — дитя довольства, тоске не до того, чтобы любоваться собою).

«Враждебная власть» — это именно богохульство если не святого, то прикосновенного к святыне: кто иначе сравнил бы голос поэтического вдохновения с божьим гласом, себя, поэта, — с посланцем небес, пророком? Не для самохвальства сравнил, не льготу увидел в этом, а крестную ношу.

«Сомненье» — да, но не зря оно волнует ум, не зря оказывается рядом со «страстью»; для Пушкина сомнение мучительно, непосильно, сознание душевной пустоты убивает даже чувственную красоту мира, чье многозвучие оборачивается томительностью одного-единственного звука... нет, даже не звука, шума! Неразборчивого, невнятного, бессмысленного.

Нужно ли пояснять, что боль падения говорит о высоте, с какой оно свершилось, — для простого смертного головокружительной? «С низкого не

так опасно падать», — многозначительно скажет гений зла, ставший литературным персонажем булгаковской книги.

Стихотворение «Дар напрасный...» — это голос трагедии; фонвизинское «Послание», как и повторившая его пушкинская «Тень Фонвизина», — они, как ни странно, насмешливо-благодушны. Да и что странного? Сильные чувства — не стихия скептицизма. Напротив, он их снижает, придерживает, гасит иронией. А вселенский замах отрицания — на сей раз — говорит отнюдь не о выстраданности.

В стихотворении тридцатилетнего Пушкина — острота личного переживания. В «Тени Фонвизина» и в «Послании к слугам» оба юноши — пока что к а к в с е. Оба вторят моде.

И оба — моде на вольтерьянство.

В своем «Чистосердечном признании» Фонвизин вспомнит об этих годах:

«...вступил я в тесную дружбу с одним князем, молодым писателем, и вошел в общество, о коем...» — но прервем цитату, дабы раскрыть инкогнито.

Князь-литератор — тот Ф. А., что мелькал в письмах Фонвизина, Федор Алексеевич Козловский, примерно ровесник Дениса Ивановича, учившийся, как и он, в Московском университете, после служивший в Преображенском полку и не доживший до тридцати лет: в исторический для России день 24 июня 1770 года, в день Чесменского сражения, он погиб при взрыве корабля «Святой Евстафий».

Он был известен как литератор — песнями, эклогами, элегиями, переводами, а более всего, пожалуй, комедией «Одолжавший любовник, или Любовник в долгах». Дружил помимо Фонвизина с Херасковым и Новиковым и был пылким пропагандистом идей французского Просвещения: даже переводил статьи из «Энциклопедии».

Кумиром его, как и многих, был Вольтер; будучи послан в 1769 году курьером в Италию, к Алексею Орлову, Козловский не удержался и сделал крюк, дабы заехать в Ферне и повидать «поседелого циника».

Человек талантливый, пылкий, умеющий переспоривать и убеждать, он, конечно, влиял на Дениса Ивановича, и тот был его неотлучным спутником и сочленом общества, в котором Козловский главенствовал.

Вернемся к «Признанию»:

«...вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно. В сие время сочинил я послание к Шумилову, в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником. Но, господи! Тебе известно сердце мое; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей».

Конечно, как позабыть, что тенденциозная эта автобиография — покаяние человека, который разбит параличом и жизнью и, будучи привезен в университетскую церковь, назидает студентам:

— Дети! Возьмите меня в пример: я наказан за свое вольнодумство...

Учтем это; учтем и то, что отречение могло быть и не вовсе искренним, по крайней мере могло сочетаться с отеческой гордостью за проказливых, но смышленых детищ. Эта гордость как раз и запечатлена в воспоминаниях

Ивана Ивановича Дмитриева, видевшего Фонвизина в прямом смысле на пороге кончины:

«Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я *Недоросля?* читал ли *Послание к Шумилову, Лису-Казнодейку;* перевод его *Похвального Слова Марку Аврелию?* и так далее; как я нахожу их?»

Это же своего рода «избранное», оглавление его, указанное самим сочинителем, то, что особенно потешило в свое время авторское тщеславие. Пожалуй, прежде всего именно тщеславие, ибо тут предпочтен отбор скорее не по степени совершенства, но по степени успеха. «Недоросль» рядом (например) с повестью «Каллисфен» означал бы: это то, что наиболее удалось. «Недоросль» рядом со стихотворными опытами молодости — то, что нашумело.

Что бы там ни было, однако, «Чистосердечное признание» невозможно рассматривать как свидетельство документально-объективное. И все-таки главное Фонвизин тут сказал: «Послание к слугам» в самом деле было действие не тяжкого безверия, а легкой остроты.

«Ужасного тут очень мало, — заметил по тому же поводу Георгий Валентинович Плеханов, — перед ними просто-напросто одна из самых низших стадий развития скептицизма». И эта поддержка, пришедшая к фонвизинскому покаянию с неожиданной стороны, доказывает окончательно: да, так и было.

Русское вольтерьянство всегда было неглубоким, — во всяком случае, как явление повальное. Во времена молодости Пушкина культ Вольтера привился, пожалуй, более органично; почва была изрядно взрыхлена мотыгой... нет, уже плугом цивилизованности, а сама она в европейском своем наряде становилась все более частой гостьей, даже хозяйкою; война же двенадцатого года довершила дело, офицеры принесли с нее, по выражению Вяземского, «французскую болезнь».

Болезнь оказалась заразительной для русского общественного организма, — но ежели говорить не о политике, а о философии и об искусстве, то ими идеи Просвещения и, в частности, Вольтера были усвоены слабо, иногда даже исторгнуты с болью и отвращением, — взять хотя бы Пушкина, начавшего с обожествления Вольтера (что само по себе говорит о потребности в божестве, ибо истинный безбожник в идолах не нуждается), а кончившего борьбою с ним и с его влиянием , едва ли не ненавистью.

Скепсис, ирония, трезво расчленяющий анализ — к добру ли, к худу — не рождали у нас богатых плодов, в отличие от Запада, историческая судьба которого привела к обособлению и культивированию понятия «личность», лучшим проявлением чего явился расцвет духовной и интеллектуальной независимости человека, худшим — индивидуализм, обративший эту прекрасную независимость в разрыв связей с людьми и человечеством. Обе крайности, и счастливая и мрачная, питались соками Просвещения; для самоопределяющейся личности анализ оказывался важнее синтеза (на какой-то срок, во всяком случае), недреманное око рассудка — надежнее безотчетных порывов сердца, ирония — полезнее воспарений... Фонвизинское вольтерьянство по сравнению с пушкинским было молодо вдвойне: молод он сам, молода и русская мысль, при Пушкине повзрослевшая. И веселое его безбожие не стоит воспринимать слишком всерьез, как итог мучительных исканий.

Хотя — воспринимают.

Авторы книг, горячо одобряющие атеизм «Послания к Шумилову», вероятно, правы по-своему, и все же колоссальна разница между атеизмом Дидро или Гельвеция, атеизмом научным, который есть столь же выношенный и даже выстраданный плод, как сама вера, и безверием, воспринятым из чужих рук, схваченным с лету, в основе которого не знание, а лишь сомнение. Знание — основательно и непреходяще, сомнение — временно, оно должно разрешиться в ту или иную сторону. И у двух этих видов атеизма прежде всего различное нравственное содержание.

Ключевский писал — как раз о фонвизинском времени:

«Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, — словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность...»

«Смех освобождал...». Но освобождение-то было мало что опасным нравственно, оно было формой несвободы:

«Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерианец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать».

«Дворовый» — таково выразительное имя этого сына несвободы. А образ действий его — ее проявление: он и взбунтовавшись ведет себя порабски.

Резкость слов историка к Фонвизину относить обидно; коли так, то и не будем. К тому же речь шла о вольтерьянце заурядном, а уж Фонвизин-то...

Но — стоп! В том-то и штука, что, во многих, чуть не во всех отношениях человек выдающийся, Денис Иванович как вольтерьянец именно зауряден. Снова повторюсь: он — как все.

И мы, может быть, в особенности оценим это после, когда он действительно станет человеком духовно определившимся. Духовно самостоятельным — в век, когда надежней кажется (а в смысле физическом и является) подчиненность.

ПОЛШАГА

Все это не надо понимать так, будто следует опорочить «фернейского старца»: надо помнить, что русские вольтерьянцы — не Вольтер, как толстовцы — не Толстой. Собственно говоря, и сами-то вольтерьянцы не напрасно всегда были из наиболее мыслящих и отважных людей, и когда я говорю, что Фонвизин среди них был «как все», то важно, что среди них, среди людей, обладающих превосходными достоинствами (увы, писателя и это не может утешить, ему нужно быть только самим собою). То, что общество — в России, да и во Франции тоже — в конце концов отшатывалось от Вольтера, понятно: общественная душа, как душа индивидуальная, пушкинская или фонвизинская, убоявшись цинизма и скепсиса, отвергала их инстинктом самосохранения. Но, с другой стороны, именно за этим

отшатыванием следует полковник Скалозуб, всерьез, а не в шутку желающий заменить Мари Франсуа Аруэ фельдфебелем.

И ведь заменили: Аракчеевым.

Насмешливо-светски-кощунственный тон молодого Фонвизина не был еще достаточно серьезен, отрицание всего и вся не было выстрадано. Но свободомыслие, избравшее не самую удачную форму проявления, — оно-то было серьезно. И говорило об истинных потребностях души и ума.

В те годы казалось даже, что оно располагает счастливыми политическими перспективами. Притом — весьма близкими.

«Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным; этого легко достигнуть: примите за правило ваших действий, ваших уставов благо народа и справедливость, неразлучные друг с другом, — свобода, душа всех вещей! Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не рабов...».

Кто он, этот отчаянный вольнодумец, этот великолепный утопист? Это — Екатерина Вторая... вернее, пока что великая княгиня Екатерина Алексеевна.

То, что намереваются свершить до вопарения, при восшествии на престол обычно оказывается не столь уж неотложным или преждевременным, и все же в первые годы царствований свободомыслие в надежде поднимает голову, свободоязычие развязывает язык, а завтрашний деспот их, случается, даже приободряет. Что касается Екатерины, то ее ободрение, кажется, превосходило и смелые ожидания. Тому свидетельством был «Наказ», писавшийся ею в 1765—1767 годах и открыто использовавший мысли просветителей, более всего Монтескье — о свободе и рабстве, законах и деспотизме.

Случай, когда на компиляцию грех сетовать.

Аксиомы, способные опрокинуть стены, — выразительно определил «Наказ» Никита Панин. Конечно, сочинение это было полно противоречий, не всегда нечаянных, — хитроумие Екатерины уже сказывалось. Весьма уклончиво использовались формулы Монтескье, идеалом которого как-никак была конституционная монархия. Больше того. Возникла ситуация уникальная: сам автор полузапретил свое взлелеянное создание; сенатский указ от 24 сентября 1767 года предписал разослать в высшие учреждения всего пятьдесят семь экземпляров «Наказа», причем указывалось, чтобы «оные содержаны были единственно для сведения одних тех мест присутственных». Велено было не выдавать их не только посторонним, но и своим, канцелярским — ни для чтения, ни, тем паче, списывания. И все же, что бы там ни было, «Наказ» твердо говорил о необходимости коренных перемен в государстве — и, стало быть, уже тем самым о нетерпимости положения нынешнего.

Главное же, то не было отвлеченными рассуждениями государыни-философа; «Наказ» и писался с тем, чтобы н а к а з а т ь, внушить будущим депутатам будущей «Комиссии для сочинения проекта нового уложения», или, как ее именовали короче, Комиссии Уложения, какими должны быть новые русские законы. Точнее сказать, закон — в единственном числе, ибо, по выражению историка, в России после Петра было «при чересчур обильном законодательстве полное отсутствие закона».

И вот происходит невиданное. К 31 июля 1767 года в Москву съезжаются депутаты, избранные от дворян, горожан, казачьих войск, пахотных солдат,

черносошных крестьян, однодворцев, иноверцев — ото всех, кроме крестьян крепостных, помещичьих; они везут с собою наказы — уже малые, от избирателей; они полны готовности решать судьбу России. Есть даже такие, что надеются покончить с рабством.

Правда, торжественность уже первых дней несколько осажена чудовищным актом, — между прочим, прямо коснувшимся титулярного советника Дениса Фонвизина, служащего под началом Елагина «у принятия челобитен». 22 августа издан указ «О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков и о неподавании челобитен в собственные Ея Величества руки».

У этого указа своя история.

Его, так сказать, черновая редакция была обнародована еще в декабре 1762-го; едва короновавшись, императрица дала понять мужичкам, что баловать их не намерена, а, главное, сразу успокоила помещиков: не пугайтесь, не ущемлю. Челобитные на помещиков были воспрещены — что, кстати, немедля родило недоразумение, которое можно было бы назвать курьезным, не будь оно сопряжено с ужасом. Крепостные Дарьи Салтыковой, умертвившей семьдесят пять человек, подают на нее жалобу, и их тут же арестовывают и содержат под караулом, не выдавая даже кормовых денег: оказывается, бедняги слыхом не слыхали об указе и подали челобитную через несколько дней после его принятия.

Слава богу, Сенат, специально занявшийся этим делом, установил их неосведомленность, — не то отвечать бы им вместе с Салтычихой.

Проходит два года с малым, и правительство снова радушно предлагает помещикам взять на себя их хлопоты по исправлению мужиков: 17 января 1765 года господам рекомендовано присылать провинившихся холопьев в Адмиралтейскую коллегию с тем, чтобы отдать их в каторжные работы «на толикое время, на сколько помещики их похотят». Проходит еще два... нет, не года, а дня, — некогда, надобно спешить выбивать из крестьянских голов последние иллюзии насчет матушки-царицы — и издается указ, снова запрещающий подавать императрице челобитные под страхом усиления кар. За первое нарушение — каторжные работы на один месяц. За второе — публичное телесное наказание и год каторги. За третье — снова пороть и в каторгу навечно.

Однако неисправимые «царисты» не хотят угомониться, — из одной поездки по Волге в 1767 году Екатерина привезла более шестисот челобитных (не смогла ие взять самолично). И ответила на доверие помянутым указом, обошедшимся без предварительных мер и объявлявшим, что «как челобитчики, так и сочинители сих челобитен наказаны будут кнутом и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск».

Превосходное предисловие к обсуждению прав крепостных и к разговорам об усмирении жестоких помещиков...

А обсуждение все-таки идет; разговоры вскипают; смельчаки Коробьин и Козельский обнажают новые и новые беды государства; депутат ярославского дворянства, известный нам будущий сочинитель инвективы «О повреждении нравов в России» князь Щербатов схватывается с теми, кто осмеливается посягать хоть на малую толику дворянских прав, но и сам обличает государственные беспорядки... — словом, Комиссия Уложения заседает не так благонравно, как хотелось бы, пока императрица под приличным предлогом в декабре 1768 года не прекращает заседаний. Предлог: начало турецкой

войны, во время коей депутаты должны исполнять свои патриотические обязанности.

Разумеется, перерыв в заседаниях осужден был длиться вечно.

Молодой Пушкин, жгуче ненавидевший Екатерину, писал:

«Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; «Наказ» ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами, но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тюртюфа в юбке и короне, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна».

Лицемерие Екатерины обсуждать нечего, она им отличалась с юности, в чем признавалась ничуть не стыдясь, с некоторым даже простодушием:

«Я была от природы веселого нрава и с удовольствием замечала, что с каждым днем росло расположение ко мне публики, которая смотрела на меня, как на замечательного и умного ребенка. Я показывала великую почтительность матушке, беспредельное послушание императрице, отличную внимательность великому князю, и одним словом всеми средствами старалась снискать любовь публики».

Заметим при этом, что мать ее раздражала вульгарностью и бранчливостью, императрицу Елизавету она не любила (и было за что), великого князя и супруга презирала, — но таково время. Когда десятилетия спустя Молчалин станет перечислять свои добродетели угождения: «...швейцару, дворнику, во избежанье зла собаке дворника, чтоб ласкова была», их отвратительность будет открыта не только умнику Чацкому, но и всему партеру, их уже начнут стыдиться. Екатерина же спокойно рассказывает, как муж упрекал ее в двоедушни:

«Я возражала ему, говоря, что исполняю только приличие, которого невозможно обойти без скандала, и делаю то, что все делают...»

«Что все делают...». Лицемерие — порок века; вернее, не осознается как порок. Угождать «начальнику, с кем буду я служить», — естественное дело во времена всеобщей, еще феодальной зависимости.

Не буквально для всех, разумеется: белые вороны видны по полету и тут.

Пушкин очень не благоволил к Радищеву, но восхищенно отмечал уникальность его фигуры для времени, когда даже смелость и свободомыслие черпают силы в покровительстве. Не отвага Радищева удивляла Пушкина более всего (отважны были многие, в том числе Денис Иванович), но то, что он был отважен в одиночку:

«Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины!»

Неудивительно, что Радищев и видит не так, как все; в «Житии Ушакова» он гневно пишет о просителях, которые «употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят».

Прямо-таки первый набросок Молчалина; но такое далеко не

общепризиаио, и невозможно понять характер хотя бы той же Екатерины без погружения в атмосферу века.

«...Чтение и размышление сообщило мысли Екатерины диалектическую гибкость, поворотливость в любую сторону, дало обильный запас сентенций, общих мест, примеров, но не дало никаких убеждений, — говорит Ключевский. И повторяет, настаивая: — У нее были стремления, мечты, даже идеалы, не убеждения...».

Вряд ли он прав в категорическом своем отрицании, хотя и не одинок в нем.

Нечто подобное утверждал князь Михаил Михайлович Щербатов, давший императрице отменную характеристику:

«Одарена довольной красотою, умна, обходительна, великодушна и сострадательна по системе, славолюбива, трудолюбива по славолюбию, бережлива, предприятельна, и некое чтение имеющая... Напротив же того, ее пороки суть: любострастна, и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнеиа пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности, и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку наводить, принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении и, наконец, толь переменчива, что редко и один месяц одинаковая у ней система в рассуждении правления бывает».

Однако сам же сердитый князь вносит в свои утверждения существеннейшую поправку:

«Впрочем, мораль ее состоит на основании новых философов, то есть не утвержденная на твердом камени Закона Божия, и потому, как на колеблющихся светских главностях есть основана, с ними обще колебанию подвержена».

Сказано блистательно!

В этом все дело; прав Ключевский, говоря о нравственном утилитаризме Екатерины, но утилитаризм-то был в философском обычае века, в коем энциклопедисты объявили разум и пользу мерилами всего на свете, даже — нравственности. Вот подробность, весьма характерная: Вольтер выступает против смертной казни — что может быть человечнее? Но аргументы его взывают не к морали, а к пользе: оказывается, просто невыгодно губить рабочую силу, которая может пригодиться обществу на рытье каналов или мощении улиц. Он же говорит о варварстве пытки — что может быть нравственнее? Но при том допускает пытку для особо опасных преступников; снова соображения разума, а не порывы души. То есть сама мораль выходит зыбкой, слишком зависимой от рассудка, — естественное противоречие Просвещения.

«При утилитарном взгляде на принципы с ними возможны сделки», — разумеется, так. «Несправедливость допустима, если доставляет выгоду; непростительна только бесполезная несправедливость», — да, это весьма далеко от истинной человечности.

Но отчего бы укоризненные эти слова, адресованные Ключевским Екатерине, не отнести и к Вольтеру?

Не случайно именно он, утилитарист и скептик, авторитетом своим узаконил двойственность русской императрицы, сочетавшей природную незлобивость, обросшую трогательными легендами, с хладнокровной жестокостью к народу, благие размышления «Наказа» — с откровенным самодержавством. «Если бы бога не было, его стоило бы выдумать», — го

варивал фернейский философ. Если бы не было его самого, Екатерине следовало бы отыскать его подобие.

Но он был.

«Она сразу поняла, благодаря своей рассудительности и непогрешимому здравому смыслу, которым ее наградила природа, что существует явное и, по-видимому, несогласуемое противоречие между ненавистью к деспотизму и положением деспота. — Так пишет К. Валишевский, польский историк-беллетрист, знаток интимной жизни императрицы, и на сей раз его замечания тонки и точны. — Это открытие, вероятно, было для нее стеснительно, ввиду уже присущих ей властных инстинктов. Оно ее поссорило впоследствии с философией или по крайней мере с некоторыми философами. Между тем нашелся человек, который доказал ей, что пугающее ее различие несущественно; этот человек — опять-таки философ — Вольтер. Без сомнения, введение каприза в управление человеческими судьбами является ошибкой и может стать преступлением; безусловно, мир должен быть управляем разумом; но кто-нибудь должен же олицетворять его на земле. С установлением этого положения формула вытекает сама собой: деспотический образ правления может быть самым лучшим управлением, допускаемым на земле; это даже самое лучшее управление при условии, что оно разумно. Что же для этого надо? Чтобы оно было *просвещенное*».

Екатерина искала в Вольтере своего оправдания, он в ней — своего государственного идеала. Они нуждались друг в друге.

«Мораль» ее была общепринятой тогда моралью, не хуже и не лучше...», — лапидарно заметил академик Тарле. Должно было пройти время, и немалое, чтобы двуличие стало самоочевидным и сделалось добычей грациозной насмешки Алексея Константиновича Толстого.

«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет, —
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот, —

Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».

«Messieurs, — им возразила
Она, — vous me comblez». —
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

Екатерина слышала лишь то, что хотела слышать. «Vous me comblez» («вы мне льстите»), — кокетничает она в пародийной истории Толстого, пропуская мимо ушей совет относительно крестьянской свободы. Так было и на самом деле: Ипполит Богданович знал, что творит и кому угождает, когда перевел строки Мармонтеля, обращенные к царице:

Щастливому в твоем владении народу
Осталося иметь едину лишь свободу;
Единой вольности ему недостает... —

и снабдил перевод очаровательным примечанием: «Сии стихи писаны чаятельно прежде заведения в Санктпетербурге Академии свободных художеств; г. Мармонтель не имел тогда известия ни о сем заведении, ни о вольности в России».

Вот чего недоставало русскому мужику — свободных художеств...

Лицемерие поразительным образом сочеталось с искренностью; Екатерина всерьез восприняла похвалы Державина в «Фелице», особенно гордилась строчками, говорящими о ее терпимости к своим зоилам, и княгиня Дашкова однажды застала ее плачущей над книжкой «Собеседника любителей российского слова», в которой анонимно напечатана была «Фелица»:

— Кто бы меня так коротко знал, который умел так приятно описать, что, ты видишь, я, как дура, плачу?

Именно такой, какова богоподобная царевна из державинской оды, видела она себя, такой не прочь была не только казаться, но быть, и даже Комиссию Уложения затевала, по-видимому, всерьез и не только для того, чтобы понравиться Вольтеру и снискать лавры благодетельницы народа. Конечно, она надеялась, что работы Комиссии прославят ее, но это говорит не о несерьезности намерений, а разве о том, что она, обманываемая, подобно многим монархам, своим окружением, плохо знала положение дел в стране. Не зря же она звала для участия в заседаниях Дидро, Д'Аламбера, все того же Вольтера, — таких наблюдателей и, больше, советодателей можно приглашать, лишь будучи очень уверенной в себе и в благой пользе работ Комиссии.

Великие французы приехать отказались, а вместо себя прислали «меньшого брата», Мерсье де ла Ривьера, но и того спровадил Никита Панин: взгляды меньшого, оказавшегося сторонником «законного деспотизма», были для Никиты Ивановича, мечтавшего об ограничении монаршей власти, слишком уж нелиберальными.

Кстати сказать, лицемерие — еще не худшее, что есть на свете. Лживый и коварный лицемер, по крайности, знает о том, что дурного надо стыдиться, то есть хотя бы умозрительно представляет разницу между добром и злом, а, главное, принужден лицемерить. Принужден обстоятельствами. Говорят, случается и так, что он, выгравшись в благородную роль, почти сливается с нею и, будучи недобрым, нехотя делает добро.

«Присвойте себе добродетель, если у вас нет ее», — говорил Шекспир, и, каков бы ни был характер Екатерины, ежели б она выдержала до конца позу, избранную вначале, можно ли было желать лучшего?

...Судьба Фонвизина сложилась так, что императрица вмешивалась в нее не только в той же мере, как в судьбы всех своих подданных: определяя политику государства, издавая указы, чохом карая и милуя, — нет, Денис Иванович был ею выделен из многих, находился на виду, даже вблизи. Оттого Екатерина Вторая станет одной из основных «героинь» этой книги — не только как воплощение власти, но как человек, женщина, литератор. А человеком она была, как известно, интересным, сложным, необычайно одаренным — даже в отношении словесности.

Тут не только в том дело, чтоб не следовать давно отвергнутой, хотя и цепкой, традиции, согласно которой в любом царе следует искать прежде всего дурное (ибо — царь, самодержец, тиран!); стойкое исключение делается только для Петра Великого. Дело именно в сложности, непрямолинейности Екатерининой личности, весьма причудливо сочетавшей пороки и добродетели своего времени (причудливость была тоже в духе века).

О сложности, о двойственности надо помнить тем более, что в судьбу самого Фонвизина она вторгалась грозно, коварно, губительно,

являясь могущественной антагонисткой Дениса Ивановича в политике и в словесности; стало быть, и в книге про него ей суждено представать в неблаговидном постоянстве. А все ж недаром ее правление, кончившееся грозами и громами, обрушенными на неугодных сочинителей, сперва дало им, этим сочинителям, возможность поднять головы и выговориться: Державину, Новикову, Княжнину, да и Фонвизину. И нравственная наша неуступчивость не должна мешать исторической объективности.

Итак, «присвойте себе добродетель»...

Екатерина в свою красивую роль не выгралась. Поистине страшна стала она в конце своего правления, охваченная безудержным старческим сластолюбием, напуганная до смерти сперва Пугачевым, а после французской революцией, — в эту же, раннюю, пору многое она задумывала всерьез. Да если бы и не всерьез, если бы всего лишь лицемерила! — все-таки благородные умы ухитрялись преотличнейше использовать ее двойственность. Новиков в «Трутне», превознося императрицу за позволение свободно говорить и мыслить, ее же и обличал; в Комиссии Уложения депутат от козловского дворянства Григорий Коробьин напропалую цитировал «Наказ», делая из него выводы, Екатерину никак не устраивавшие.

— Не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного... Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества... — повторяет Коробьин царицыны слова, прихваливая:

— Премудрое умствование, изъявляющее материнское сердце!

5 мая 1768 года на Комиссии стоит как будто довольно частный вопрос: что делать с беглыми крестьянами? Выступает он, Коробьин.

— При чтении законов о беглых господских людях и крестьянах, — с эпическою простодушностью начинает он, — пришло мне на мысль, почтеннейшие господа депутаты, рассмотреть, какая бы причина была, убеждающая их к толь поносному и для них опасному делу.

И далее:

— Часто я размышлял о том, что бы понуждало крестьянина оставить свою землю, с которой ступить почитает он за дело невозможное. Покинуть родственников, жену и детей, которых видя при себе, несказанно утешается, а разлучаясь с ними, источник слез проливает...

Чистый Карамзин!

— ...странствовать по неизвестным местам и предаться толиким несчастиям, иногда же и самой смерти. Когда токмо войду в такие мысли, то сам себя уверить не могу, чтобы одни только крестьяне были причиною своего бегства. Чего ради я должен бываю посмотреть на самих помещиков, как они поступают с ними.

Вот оно! Нет, недаром князь Щербатов заявлял об опасности самого рассмотрения таких вопросов, и Екатерина, конечно, куда охотнее согласилась бы с ним, ненавистником ее персоны, чем с лукаво-рьяным сторонником Коробьиным. А тот, объявив намерение посмотреть на виновных помещиков, смотрит на них как бы очами Екатерины, говорит о непосильном оброке и прямом грабеже ее языком, языком «Наказа» , не переставая его цитировать: мужики «закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтобы богатство не навлекло на них гонення и утеснения».

Уклончивость «Наказа», а главное, то, что его сочинитель не спешил и даже не намеревался претворять собственные идеи в плоть, больно ударило

по надеждам; крушение Комиссии, обратившее ее в «фарсу», многие головы заставило поникнуть, а все ж какие голоса получили вдруг возможность прозвучать в публичном собрании!

Говорит один из замечательных русских людей, философ Яков Козельский. С достоинством возражает он тем, кто уверяет, будто крестьяне своим неблагонравием лучшей доли не заслужили, — и ведь не вступает в рабскую полемику, не мельтешит, не старается перебить:

— Нет, заслужили! Нет, заслужили! Ибо благонравны, работящи, трезвы, почитают господ и обожают государыню!

Ничего подобного. Логика его, логика свободного человека, которого не пугает даже та правда, что, казалось бы, служит его противникам, бесстрашна и бесхитростна. И оттого нравственна:

— Что же и леностью, пьянством и мотовством обвиняют их, крестьян, то пускай, положим, и так. Но я представляю трудолюбивую пчелу в пример: за что она трудится и кому прочит? Что она трудится часто не для себя, она того не предвидит, но приобретенное, как видно, почитает за собственное добро, что защищает его и для того кусает, жалит, жизнь теряет, как только человек или другое животное подойдет к гнезду ее. Крестьянин же чувственный человек, он разумеет и вперед знает, что все, что бы ни было у него, то говорят, что не его, а помещиково. Так представьте себе, почтенное собрание, какому человеку тут надобно быть, чтобы еще и хвалу заслужить? И как ему быть добронравну и добродетельну, когда ему не остается никакого средства быть таким?

Как скоро люди начинают чувствовать себя свободными, — дай им только чуточную потачку...

Заседания Комиссии, немедля становившиеся достоянием гласности, играли огромную роль в создании общественного мнения. Не могли не влиять они и на словесность, тем более что в работах участвовало немало литераторов: тот же Козельский, Елагин, Новиков, Щербатов, Василий Майков, который прославится стихотворными бурлесками, Михаил Попов и Александр Аблесимов (оба прогремят комическими операми «Анюта» и «Мельник, колдун, обманщик и сват»), друг Фонвизина Федор Козловский. И многие еще.

В эту обнадеженную пору и определяются взгляды Дениса Ивановича, зреет дарованне, дело идет к одолению первой из вершин, «Бригадира». Характер начинает проступать даже в переводах, прежде столь разнородных.

Тогда переводили необычайно много. Вяземский, сравнивая те годы со своими, поражался, как пало число переводов: потому что возросла образованность общества, стало обычным делом знание языков, и перевод постепенно становился полем эстетического соперничества оригинала и копии. Переводчикам времен Фонвизина не до того, их деятельность насущна, оиа в полном смысле просветительская, и отбор сочинений для перевода делается из соображений едва ли не утилитарных: кого и как просвещать.

Не стоит, конечно, в любом из переводов Фонвизина углядывать политическую тенденцию. Сентиментальная «аглинская» повесть «Сидней и Силли, или Благодеяние и благодарность», скорее, интересна как одно из первых размышлений о принципах перевода и довольно неуклюжее предвосхищение прозы карамзинской. Вряд ли есть попытка утвердить свои взгляды и в

прозаической поэме Поля-Жереми Битобе «Иосиф», по нынешнему понятию, «отменно длинной, длинной, длинной», по тогдашним, напротив, отменно увлекательной. И не только по тогдашним: популярность перевода не оказалась быстролетной, и еще в деревенском детстве Ключевского, спустя лет сто после первого издания, «Иосиф» был одной из трех нецерковных книг, прочитанных впервые, рядом с «Потерянным раем» Мильтона и альманахом Карамзина «Аглая».

Но прочие переводы не умалчивают о настроениях молодого Дениса Ивановича. Они красноречивы — если не в том отношении, что своего хотел и имел он сказать, то в том, чью школу проходил. Это и Вольтерова «Альзира», трагедия антиклерикальная и антитираническая, перевод которой, хотя и неопубликованный, принес Фонвизину некоторую известность, но зато и множество насмешек, ибо выяснилось, что юный переводчик во французском не совсем тверд: спутал «sable» с «sabre», «саблю» с «песком». И переводившиеся с гимназических времен басни и притчи знаменитого датчанина Людвига Гольберга, неспроста окрещенного «северным Вольтером» (заодно уж и «датским Мольером» тоже), басни типично просветительские, не только судачащие о вечных пороках и добродетелях, но открыто вмешивающиеся в борьбу современных идей, — случается, что в их басенном мире, а то и в мирке одной-единственной басни, с козлами, львами и обезьянами уживаются Юстиция, Философия, Риторика, Метафизика, даже Земледельчество: обо всем нужно высказаться, все перестроить с рассудочным азартом Просвещения.

Словом, начались подступы начинающего сочинителя к тому, что после захватит его целиком: к размышлениям о судьбе государства, о роли, уготованной историей дворянству, о вольности; в этом смысле любопытны переводы юридической и политической публицистики, сделанные и по заказу Иностранной коллегии и по выбору собственному: «Сокращение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина», «О правительствах», «Торгующее дворянство»...

Зрел государственный ум, который будет присущ Денису Ивановичу и который впоследствии подскажет ему слова, исполненные твердого сознания обязанности и робкой надежды: писатели «имеют долг возвысить громкий глас свой против злоупотреблений и предрассудков, вредящих отечеству, так что человек с дарованием может в своей комнате, с пером в руках, быть полезным советодателем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества».

«Советодателем государю»... Но нам-то известен сарказм Екатерины:

— Худо мне жить приходит; уж и господин Фон-Визин хочет учить меня царствовать!

Да и в самих фонвизинских словах заметно вполне трезвое ожидание подобного ответа. Какое ясное сознание пространства между желанным и реальным, долгом и возможностью! Писатель «имеет долг» — сказано решительно и безапелляционно, ибо касается того, что в твоих силах и зависит только от тебя. Возвышай голос, возвещай о грядущей беде, но не обнадеживайся, что непременно будешь услышан теми, от кого зависит беду предотвратить. «Человек с дарованием может...» — только может, не больше, и слово неуверенно оттого, что это уже независимо от тебя.

Всякий должен, хотя далеко не всякий может. Но если даже и не может, — должен!..

Тема гражданского долженствования уже звучит в сочинениях молодого Фонвизина. В том числе и в том, после коего мог он уже числиться «комиком».

10 ноября 1764 года учитель великого князя Павла Семен Андреевич Порошин записывает в свою тетрадь:

«Ввечеру пошли в комедию. Комедия была русская: «Сидней» в переводу г. Визина, в стихах; балет из маленьких учеников; маленькая пиэса «В мнении рогоносец». За ужиною разговаривали мы о комедии. Его Высочеству сегоднишнее зрелище понравилось; особливо понравился крестьянин. Откушавши изволил Его Высочество лечь опочивать, десятого часу было минут десять».

Порошин не совсем точен: стихотворная комедия «в переводу г. Визина» называлась «Корион». А переводу подлежал действительно «Сидней», французская пьеса Грессе.

Впрочем, неточность и в том, что «в переводу». Это не перевод, а переделка на условно-русский лад, пока что робкая. Но — своевременная, потому что на сцене Российского театра идут лишь три отечественные комедии, все сумароковские: «Тресотиниус», «Чудовищи» и «Пустая ссора». Да и те написаны полтора десятка лет назад, что же до уровня их совершенства, то...

Впрочем, об этом уровне и о том, какою должна быть русская комедия, и начался спор немедля после появления «Кориона».

Уже в следующем году еще один литератор елагинского круга и еще один елагинский секретарь, Владимир Лукин, сочиняет, а точнее, тоже переделывает с иноземного на российский лад комедию «Мот, любовию исправленный». И начинает войну с Сумароковым, с единодержавством его в драматическом репертуаре и в мнении о драме.

Вот чем не устраивает Владимира Игнатьевича Александр Петрович:

«Кажется, что в зрителе, прямое понятие имеющем, к произведению скуки и того довольно, если он услышит, что русский подьячий, пришед в какой ни на есть дом, будет спрашивать: «Здесь ли имеется квартира господина Оронта?» — «Здесь, — скажут ему, — да чего ж ты от него хочешь?» «Свадебный написать контракт», — скажет в ответ подьячий. Сие вскрутит у знающего зрителя голову. В подлинной русской комедии имя Оронтово, старику данное, и написание брачного контракта подьячему вовсе не свойственно: я мню, что не можно русскому писателю сплести столь несвойственное сочинение».

Спор шел не об эстетике и поэтике — это было бы не в духе века. Самого Лукина, его покровителя Елагина, также сделавшего вольнонациональное переложение комедии «северного Вольтера» Гольберга, прочих их единомышленников сердило, что сумароковские комедии, переселяясь в Россию из Франции, ленятся сменить французские кафтаны и отвыкнуть от французских обычаев, не выглядят коренными россиянами, — и, стало быть, бессильны исправлять национальные пороки.

(Кстати сказать, разумные доводы хоть и возымели действие, да не на всех: не говоря о Сумарокове, бросившемся в контратаку, в комедиях императрицы Екатерины, которые будут написаны только через несколько лет, снова явится тот же злосчастный свадебный контракт. А служанка, хоть и будет именоваться не Дорной или Селиной, а Маврою, все-таки будет почитывать Ричардсона.)

«Наша драма подкидыш, — писал Вяземский. — Перенесенная к нам с чужой почвы, она похожа на те деревья, которые, по вырубке, втыкают в землю уже в полном их развитии. Конечно, хозяину нет труда ходить за ними, возращать, расправлять их: дерево как дерево; но то беда, что в нем нет прозябения: оно увядает, сохнет, и хотя кое-где и пробивается на нем уцелевшая зелень, но не ждите от него ни тени, ни плодов, ни отпрысков. Вы хотели иметь декорацию, комнатную рощу, и имеете ее; но корни, но произрастительная сила не у вас: они остались на родине».

Услышь это Лукин, он был бы рад столь красноречивому посрамлению того, кого осмеял в комедии «Щепетильник» как Самохвалова; Вяземский, однако, включал в круг подкидышей сочинения и его самого, да и писателей куда более одаренных. И был прав по-своему: то, что Лукину казалось отчаянным прыжком через пропасть, на краю которой безнадежно остался устарелый Сумароков, было малым шажком, ибо и Владимир Игнатьевич полагал, что русскому автору «заимствовать необходимо надлежит», иначе ничего путного не выйдет. И он выступал с декларацией весьма еще скромной. Я, пояснял он одну из своих переделок, «склонил сие сочинение на свои нравы и переменил имена французские, которые на нашем языке, когда они представляемы бывают, странно отзываются, а иногда слушателей и от внимания удаляют».

Немного...

И много, соображаясь с историей. Во всяком случае, ежели лукинский «Мот» или прославивший его «Щепетильник» — шажок, то «Корион» Фонвизина — и вовсе пока еще полшажка.

Это бросается в глаза хотя бы теми же именами персонажей. Лукин скоро выпустит на сцену Добросердовых, Правдолюбовых, Пролазиных и Притворовых, предтеч Правдина и Скотинина, — у Фонвизина русаки именуются Корионом, Менандром и Зеновией (вот они, п о л шажка, осторожная половинчатость: эти имена и в православных святцах отыщутся, и недалеко еще ушагали от персонажей Грессе — Сиднея, Гамильтона, Розали).

Есть, правда, в этом «склонении на свои нравы» и прямо российский персонаж: Грессеев садовник обернулся подмосковным крестьянином, а зацокал, как коренной псович:

И господи спаси от едакой круцыны!
А отцего? Никто не ведает притцины...

И прочие «цем», «цто», «цасце».

Кстати сказать, вскоре нехитрая выдумка будет подхвачена, даже развита, и представление о народной речи как о дурацко-ломаной восторжествует в комедии. В лукинском «Щепетильнике» работник станет изъясняться так:

— Тот цостный боярин, которой не покупает ницаво из мудростей хранчуских...

А в опере Матинского «Санкт-Петербургский гостиный двор» мужичок взмолится:

— Ваше высокородьё! Колды бы я табе не баил, толды бы ты и турбацыл мёня...

Словом, крестьянин оказался в «Корионе» фигурою наиболее грубо декоративной, и малолетний Павел Петрович похвалил ее, уж конечно, не из сочувствия к униженному и оскорбленному, не оттого, что внял жалобе: «Да

мы разорены», — его просто насмешил театральный простак, которого на сцене и приветствовали-то таким манером: «Какое странное и глупое лицо!»

Что, однако, происходит в пьесе Фонвизина — Грессе?

Русский полковник Корион удаляется в подмосковное поместье, бежит и удовольствий светской жизни и служебного долга. Приятель его Менандр («твердый муж» в переводе) увещевает добровольного затворника, взывает к его совести и разуму. Корион открывается другу: его мучит раскаяние в том, что он покинул свою возлюбленную Зеновию. Он даже намерен покончить с собою — и выпивает яд.

В этот-то роковой момент Менандр является вместе с Зеновией, простившей Кориона. Казалось бы, все трагически непоправимо... ан нет! Корионов слуга, добродушный пройдоха Андрей, подменил яд водицей, и все кончается к общему удовольствию. Торжествуют счастливые любовники. Торжествует и добродетельный Менандр: он вернул отшельника на стезю долга.

Сюжет нехитер, стих по-прежнему достоинствами не блещет (если сравнить с «Посланием слугам», то даже менее прежнего), и недаром, говоря о первом опыте, называют заслуги не художественно воплощенные, а исторические: то, что комедия оказалась той ласточкой, за которой началась весна. То, что и крестьянин, какой-никакой, впервые подал с российской сцены голос. Да еще «круцынящийся» о разорении.

Для самого Фонвизина это историческим не оказалось: крестьяне так и не стали главными его персонажами. Зато, возвращаясь от устья к истоку, можно заметить, как до назойливости громко зазвучало в декоративном и декларативном «Корионе» то, что войдет потом в плоть комедии «Недоросль», вернее и там, не уместясь во плоти, вырвется наружу в призывах Стародума:

Ты должен посвятить отечеству свой век,
Коль хочешь навсегда быть честный человек.

«Первое его титло есть титло честного человека», — позже напишет о государе сам Фонвизин. «Я друг честных людей», — возвестит его Стародум, и «честных» не будет означать: кто кошельков не ворует. Нет: кто следует высоким правилам чести, кто исполняет долг дворянина перед отечеством.

Менандр, этот Твердомуж, и есть первый набросок Стародума, бледный и, правду сказать, нудный; в нем — зародыш Стародумовых размышлений о чести, о праве на отставку, обо всем, к чему мы со временем обратимся основательнее.

Есть в «Корионе» и еще одно полуневольное движение в сторону мыслей, которые потом Фонвизин доверит Стародуму: об участии сердца в делах разума, о необходимости их равновесия. Стародум скажет даже о «нынешних мудрецах», явно метя в мудрецов Просвещения, с которыми у Фонвизина к тому времени заведутся свои счеты:

— Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротют с корню добродетель.

Сперва, впрочем, кажется, что напротив, о соучастии рассудка и сердца говорить не приходится; в «Корионе» разум и «чувствие» не только не союзничают, но расщеплены между положительным Менандром и заблуждающимся Корионом, — причем, конечно, разум вверен, по всем канонам Просвещения, наиболее добродетельному.

«Ты с здравым разумом согласно мне вещаешь, но чувство победить уже не может он...» — скажет Корион, а Менандр убежден в обратном: «Рассудок чувствие свободно одолеет; над сердцем человек власть полную имеет...» И — по сюжету — победа за Менандром.

Но — вот странность! — рассудок вернулся к Кориону благодаря чувству. Благодаря любви. Ведь не доводам чужого ума внял меланхоличный полковник, они-то не отвратили его от попытки самоубийства; он внял голосу собственного удовлетворенного сердца.

В первоисточнике, у Грессе, ничего подобного в помине не было; ему в голову не приходило нагружать свою непритязательную комедию тяжеловесными тирадами о долге перед отечеством и о первенстве рассудка. Да и фабула фонвизинской переделки сама по себе вовсе не нуждается в катоновско-суровом истолковании Корионова побега; хандрит он от любовной страсти, более ни от чего. Словом, у Грессе все было стройнее и логичнее, у Фонвизина же нелепость громоздится на нелепость. Воплощение разума за руку приводит в дом утраченную любовь. Менандр одерживает верх не столько над Корионом, сколько над самим собой. И рассудок отнюдь не в силах легко овладеть «чувствием», напротив, он сам вступает с ним в союз, сам становится воплощением чувства.

Странно, нескладно, нелепо... И, как бывает, в этой-то нескладности и проступает прозрение, для самого Фонвизина пока нечаянное.

Эта странность — в духе русского восемнадцатого века.

«Теперь было бы для нас непонятно, — говорил Пушкин о Радищеве и его товарище Ушакове, — каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных...».

Да, в девятнадцатом веке уже непонятно. Правда, не зря Пушкин скажет: «для нас», а не «для меня»; не зря он прибегнет к сослагательности: «было бы непонятно». Сам-то он, кажется, понимал.

«Утро провел с Пестелем, — делает он запись в дневнике 9 апреля 1821 года; — умный человек во всем смысле этого слова. «Mon coeur est materialiste, — говорит он, — mais ma raison s'y refuse». Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...».

Может быть, одна из причин оригинальности, выразившейся в каламбуре: «Сердцем я — материалист, но мой разум этому противится», — близость историко-психологического типа, свойственного восемнадцатому веку, к Павлу Пестелю, человеку спартанских или римских добродетелей, стоику, «классику» в отношении нравственного кодекса. (Лучшее, что можно сказать о человеке в екатерининский век, было: «римлянин», и не зря сама императрица в письме к Вольтеру именно этим словом решила возвеличить интимно-рыцарские и, что сомнительнее, государственные дарования Григория Орлова.) Заговорщик Пестель, «русский Брут», все решительно, от самой своей жизни и честолюбия до чистоты собственных рук, готовый положить на алтарь отечества (как известно, он не только шел на цареубийство, но собирался пожертвовать цареубийцами, а в случае победы надумал удалиться от власти), — он сгодился бы на роль героя трагедии классицизма, Сумарокова или Княжнина.

Вообще век не кончается с последнею секундой 31 декабря ..00 года, «человек восемнадцатого» или «человек девятнадцатого столетия» — это не указание на одну только дату рождения; люди века предшествующего еще

продолжают жить в веке последующем, — не старчески доживают остаток дней, как Троекуровы и Верейские в пушкинское время, но живут, затесавшись в иовое поколение, и, допустим, сам Пушкин олицетворяет собою преемственность столетий, даже причастность к комплексам минувшего века; слушает разговоры Загряжской, чувствует себя почти современником Петра Гринева, живо, как однолеток, полемизирует с Радищевым или кровно приемлет Фонвизина.

Вернемся, однако, к серьезному Пестелеву каламбуру.

Сердце, ставшее оплотом материалистического неверия, — результат упорного воздействия просветительского духа. Философии того же «холодного и сухого» Гельвеция. А разум, парадоксально не соглашающийся с сердцем, — свидетельство того, что русские головы все-таки еще не способны безоглядно подчиниться идеям новейших философов.

Многие из больших людей восемнадцатого века, возраставшие на идеях Просвещения, могли бы позаимствовать у Пестеля его слова. Они воспитывались на беспредельном уважении к разуму, они творили культ его, но, оставаясь людьми (кем невозможно не быть, живя сердцем), корректировали его доводы велениями души, больше того, присваивали своему кумиру достоинства символа нравственности, «святой мышцы».

Разум, сделавшийся воплощением чувства, — эта странность, случайно прорвавшаяся в неумелом и робком «Корионе», гораздо позже будет Фонвизиным осознана. «*Разум*, кажется, применить можно к зрению, — напишет он. И, чтобы не подумали, будто речь о зрении внешнем, холодном, вненравственном, добавит: — Он есть душевное наше око».

Так — нетвердо, нечаянно, на ощупь — начинает Денис Иванович улавливать первые черточки портрета своего времени. Такие первые шаги... нет, как уже было сказано, первые п о л ш а г а делает он в пору расцвета государственных иллюзий, когда, кажется, все более или менее просто. «Ты должен посвятить отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек». Только от тебя, от правил чести зависит посвятить себя отечеству, а уж оно-то тебя ждет не дождется. Как твоего Кориона из его огорчительного побега.

Истинно русской комедией «Корион» стать не мог, зато это «склонение на свои нравы» сумело-таки отразить хоть черточки современности, в отличие от комедий Сумарокова; зато оно начало период, провозглашенный Лукиным... И перед нами могла бы возникнуть вполне идиллическая картина литературного единомыслия, если бы быт, который так не хочется учитывать, говоря об истории литературы, не вмешался грубо и мелко.

«Состояние мое теперь таково, что я лучшего не желаю, если только оно продолжится, — пишет Фонвизин сестре Федосье 26 июня 1766 года: — Иван Перфильевич ежедневно показывает мне знаки своей милости; по крайней мере не имею я того смертельного огорчения, которое прежде чувствовал от человека, коего и самая природа и все на свете законы сделали ниже меня и который, несмотря на то, хотел не только иметь надо мною преимущество, но еще и править мною так, как обыкновенно правят честными людьми многие твари одинакой с ним породы. Все мое счастие состоит в том, что командир мой сколь ни много его любил, однако любовь его к нему преодолели его рассуждение и честь».

Кто же этот злокозненный враг, стоящий столь ниже Дениса Ивановича и тем не менее так ему досаждающий? Ответ — в следующей фразе:

«Иван Перфильевич, будучи сам благородный и честный человек, раскаивается в прежнем своем поступке с Лукиным...»

Да, это все тот же Владимир Игнатьевич Лукин, сын придворного лакея (отсюда дворянская надменность Фонвизина), один из секретарей Елагина, любимец его, самое близкое доверенное лицо, чему, вероятно, способствовало и то, что, как Елагин, Лукин был масоном, даже стоял во главе ложи «Урания».

Он-то, как нарочно, и оказался злейшим врагом того, с кем, казалось, надо быть ему союзником. Но литературные отношения тогда мало что решали.

Трудно сказать, что поссорило единомышленников, борьба ли за ближайшее к «командиру» место, тяжелый ли характер Лукина, насмешки ли острослова Фонвизина, натолкнувшиеся на обидчивость; как бы то ни было, началась вражда, самим Денисом Ивановичем в «Чистосердечном признании» описанная так:

«Сей человек, имеющий, впрочем, разум (Д. И. хочет быть объективен. — *Ст. Р.*), был беспримерного высокомерия и нравом тяжел пренесносно. Он упражнялся в сочинениях на русском языке; физиономия ли моя или не весьма скромный мой отзыв о его пере причиною стали его ко мне ненависти. Могу сказать, что в доме самого честного и снисходительного начальника вел я жизнь самую неприятнейшую от действия ненависти его любимца».

Но в конце концов капризный нрав «честного и снисходительного» стал тяжел для Фонвизина. Допекаемый Лукиным и не защищаемый более Елагиным, Фонвизин просился в отставку, хотел переменить службу, но тут сказалась та самая черта знаменитого чудака — не терпел он, если кто-нибудь делал то, чего не мог делать он, или имел то, чего у него не было. Чудачество обернулось самодурством: патрон не хотел никому уступать столь способного литератора, а без его воли никто Фонвизина не брал, не желая ссоры с Елагиным.

Спутник уже неохотно крутился в орбите сановной планеты, и сила притяжения стала невыносимой:

«С.-Петербург, сентября 11 дня 1768.

Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!

На полученные по нынешней почте милостивые ваши письма ничего в ответ донести не имею, как только то, что я на просьбу мою никакой резолюции не имею... Такая беда моя, что никто прямо от него брать меня не хочет; а на него я никакой надежды не имею. Он говорит, что я, пошед в отставку, сам себя погублю и что, переменив место, будто также сам себя погублю; а не погублю себя, оставшись у него. Слыханы ли в свете такие ответы? Как бы то ни было, я с ним в нынешнем же месяце расквитаюсь. Мне жить у него несносно становится; а об отставке я не тужу: года через два или через год войду в службу, да и не к такому уроду.

Затем, прося родительского благословения, остаюсь всепокорнейший ваш сын...»

В нынешнем же месяце расквитаться не удалось, зато Елагин сделал уступку: полагая этим Фонвизина угомонить, отправил его в полугодичный отпуск в Москву, к семье. А потом, внемля просьбам подчиненного, продлил отпуск еще на полгода.

За этот год в жизни Дениса Ивановича произошло два серьезнейших события.

Первое: он полюбил.

В автобиографическом «Признании» он, человек давно и сравнительно счастливо женатый, все же вспоминал ту, несбывшуюся свою любовь как нечто, превосходящее все, им испытанное: «И с тех пор во все течение моей жизни по сей час сердце мое всегда было занято ею».

Любимая его была замужем, и хотя сердце ее откликнулось и она сама призналась Денису Ивановичу: «Я люблю тебя и вечно любить буду», обоюдное счастье было невозможно. Они расстались, и Фонвизин навсегда запомнил ее как «женщину пленящего разума, которая достоинствами своими тронула сердце мое и вселила в него совершенное к себе почтение».

Это слова восхищенного и признательного возлюбленного; есть и строки человека стороннего, описавшего предмет его страсти не столь воодушевленно, — что ж, тем очевиднее выступают замечательные достоинства этой женщины.

Вяземский рассказывает со слов людей, бывших очевидцами:

«В сих собраниях находилась всегда А. И. Приклонская, с отличным умом, начитанностью, склонностью к литературе, отменным даром слова и прекрасным орга́ном (по-нынешнему сказать, хорошо пела. — *Ст. Р.).* Она подтверждала истину, сказанную Ломоносовым:

Весьма необычайно дело,
Чтоб всеми кто дарами цвел...—

хотя нельзя было прибавить с поэтом, что ум ее небесный дом себе имеет тесный. Напротив! Телесные свойства природы ее не соответствовали умственным: длинная, сухая, с лицом, искаженным оспою, она не могла бы внушить склонности человеку, который смотрел бы одними внешними глазами: но ум сочувствует уму и зрение умного человека имеет свою оптику. Как бы то ни было, но Фон-Визин был ей предан сердцем, мыслями и волею: она одна управляла им, как хотела, и чувства его к ней имели все свойства страсти, и страсти беспредельной!»

О беспредельности сказал и сам Денис Иванович. Он посвятил перевод повести «Сидней и Силли» госпоже своего сердца, и последняя фраза посвящения была:

«Ты одна всю вселенную для меня составляешь».

Это было первое событие, встряхнувшее всю его жизнь, которое произошло с ним в Москве.

Второе: он написал «Бригадира».

ОТЕЦ ОНЕГИНА

Что может быть бесхитростнее, чем названия обеих знаменитых его комедий? Просто вынесены в заголовок два исторических титула, два общественно-обиходных понятия: обозначение несовершеннолетнего дворянина и воинский чин между полковником и генерал-майором. Тот, что в гражданской части табели о рангах именуется «статский советник».

Только и всего.

Но тем разрушительнее оказалась насмешка.

О «недоросле», превратившемся в позорную кличку, и говорить нечего.

Но и со словом — да что со словом, с чином, — «бригадир» Денис Иванович круто обошелся. Уже близким потомком было замечено, что под влиянием комедии «звание бригадира обратилось в смешное нарицание, хотя сам бригадирский чин не смешнее другого».

В самом деле — что смешного в словах «статский советник»?

Кто знает, быть может, когда в павловское время чин бригадира и вовсе упразднили, не был ли отменяющий указ подготовлен насмешливым мнением фонвизинских зрителей? На статских-то не посягнули... О, разумеется, более возможны соображения деловые, что-нибудь касающееся организации армии: как-никак бригадное устройство войска происходило из Швеции, что пруссофилу Павлу не могло быть по душе. Или раздражало французское звучание слова? Мало ли что могло повлиять на отмену почтенного звания, и поэтому, тем более, отчего же не допустить, что автор указа мог хотя бы в малой степени и даже невольно воспользоваться еще и подсказкой автора комедии? Насмешка была на слуху, она жужжала, как назойливый шмель.

Правда, подсказка вышла нечаянной. Если недоросль Митрофан — сюжетное ядро комедии, если обличение «Недоросля» нацелено в систему воспитания недорослей, то «Бригадир» вовсе не собирался компрометировать бригадиров, и носитель этого чина Игнатий Андреевич угодил в заголовок случайно. Вероятно, лишь по той причине, что открывает своей персоною перечень действующих лиц, — открывает всего только по возрастному и семейному старшинству, как отец персонажа, с которым связаны главные мысли сочинителя, отец Иванушки. Ни в чем больше не превосходит он прочих героев: ни в отменности художественного исполнения (тут всех обошла его жена, бригадирша), ни в обличительности. Одним словом, придумай молодой комик иное название, поудачнее, и, глядишь, превратное нарицание не постигло бы бригадирского чина.

Бригадир — рядовая единичка в сюжете, который Вяземский определил как «симметрию в волокитстве», что остроумно, но неточно.

Сперва, правда, кажется, что так оно и есть: да, четкие параллели, симметричные фигуры; стоило бригадиру с бригадиршей и сыном Иваном прибыть в дом к советнику, дабы женить отпрыска на советничьей дочери Софье, как все персонажи послушливо выстраиваются во влюбленные пары: хам и солдафон бригадир влюбляется (по контрасту, что ли?) в жеманную советницу, молодую Софьину мачеху, крючкотвор и лицемер советник жмется к простоватой и хозяйственной бригадирше, да и у Софьюшки есть воздыхатель Добролюбов. Куда как стройно, — а меж тем сюжет рождается не из симметрии. Толчок ему дает живительная асимметрия.

Классицистическая плоскость, на которой, как пасьянс, разложились наши парочки, вдруг получает третье измерение. Эвклид поправлен Лобачевским, параллельные пересеклись, «все смешалось в доме» советника, ибо Иванушка из раскладки выпал и, соревнуясь с папашей, влюбился в молодую советницу. Та — в него.

Попробуйте вычертить схему тяготения героев друг к дружке, — черта с два выйдет у вас симметрия. Стрелки начнут пересекаться и путаться, и получится что-то вроде плана небольшого сражения.

Конечно, очень далеко не слишком складному (или, напротив, слишком складному — стремление к симметрии все же есть) «Бригадиру» до гениального «Неоросля», за видимой двухмерностью которого обнару-

жатся житейские и, более того, бытийные глубины, но и здесь уже бригадирша, всеми, от сочинителя до героев, осмеянная, вдруг способна выказать сердечную боль или простосердечную мудрость, а смехотворный петиметр Иванушка...

Однако — по порядку. Фигура Иванушки нас к тому и призывает.

Фонвизинское желание высмеять петиметра, щеголя-галломана, было не неожиданностью, а скорее уж инерцией. Даже, может быть, боязнью отстать от моды, притом узаконенной сверху: его патрон Елагин только что сочинил комедию «Жан де Моле, или Русский-француз», верней, переделал ее из Гольбергова «Жана де Франс, или Ханса Франдсена». Так что «Бригадир» не открывал темы и не закрывал ее: вослед Фонвизину посмеются над петиметрами, стыдящимися русского происхождения, Лукин, Княжнин, Екатерина; до него смеялись Елагин и — задолго до всех — Сумароков.

Сходство обычно более броско, чем несходство, в родичах прежде видишь общую породу, а не разницу скул или бровей, и Иванушка кажется вылитым Дюлижем из «Пустой ссоры» Сумарокова.

— Всякий, кто был в Париже, — важничает он перед возлюбленной, — имеет уже право, говоря про русских, не включать себя в число тех, затем что он уже стал больше француз, чем русский.

— Скажи мне, жизнь моя, — полуспрашивает, полуподсказывает ответ советница: — можно ль тем из наших, кто был в Париже, забыть совершенно, что они русские?

Иванушка вздыхает:

— Totalement[1] нельзя. Это не такое несчастье, которое бы скоро в мыслях могло быть заглажено. Однако нельзя и того сказать, чтоб оно живо было в нашей памяти. Оно представляется нам, как сон, как illusion[2].

Он и еще дальше заходит в изъяснении своего отвращения к отчизне, чуть не до оккультных тайн:

— Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской.

Это ответ на недоумение отца-бригадира: «Да ты что за француз? Мне кажется, ты на Руси родился». И точно так же сумароковский «петиметер» возмущался словам Фатюя, такого ж, как и он, дурня, но на национальный манер: «Вить ты русской человек».

«Д ю л и ж. Ты русской человек, а не я; ежели ты мне эдак наперед скажешь, так я тебе конец шпаги покажу. Я русской человек!

Ф а т ю й. Какой же ты?

Д ю л и ж. Я это знаю, какой. Русской человек! Да ему и думается, что это не обидно!»

Сходства — много. Вот мешают французский с нижегородским персонажи Сумарокова: «— Вы мне еще не верите, что я вас адорирую. — Я этого, сударь, не меретирую. — Я думаю, что вы довольно ремаркировать могли, что я в вашей презанс всегда в конфузии. — Что вы дистре, так это может быть от чего-нибудь другого». А вот французит Иванушка: «Черт меня возьми, ежели я помышляю его менанжировать... Ваш резонеман справедлив... Признаюсь, что мне этурдери свойственно... Матушка, пропойте-ка вы нам какую-нибудь эр...»

---

[1] Совсем *(фр.)*.
[2] Призрак *(фр.)*.

Пожалуй, что у Фонвизина и вкусу больше и речь естетственнее, но это пока что по части скул и бровей: общее родство очевиднее. И с ранним Дюлижем, и с поздним Фирлнфюшковым из комедии Екатерины «Именины г-жи Ворчалкиной»: «Вот еще! Стану я с такой подлостью анканалироваться и жизнь свою рискировать!» А Верьхоглядов из лукинского «Щепетильника» даже станет теоретиком при бесхитростных практиках, Иванушках и Дюлижах:

— О, фидом! на нашем языке! Вот еще какой странный екскюз! Наш язык самой зверской и коли бы мы его чужими орнировали словами, то бы на нем добрым людям без ореру дискурировать было не можно. Кель диабле! Уже нынче не говорят риваль, а говорят солюбовник... Солюбовник! Как же это срамно! и прононсуасия одна уши инкомодирует.

(Вообще-то, надо признаться, и в самом деле «инкомодирует» маленько, как ни печально соглашаться с Верьхоглядовым; инкомодирует не меньше, чем «риваль». Тут Лукин добросовестно следует своему покровителю Елагину, которого гораздо после — вкупе с Фонвизиным-переводчиком — карамзинист Дмитриев упрекнет в стилистическом пристрастии к «славянчизне».)

Одним словом, Иванушка, кажется, и впрямь не выделяется из шеренги литературных петиметров и бездельников-недорослей, вплоть до того, что и он, как многие, обязан своим воспитанием кучеру, только не немцу, как Митрофан, а французу. Заметим, однако, что тяжеловесного Митрофанушку никакой Вральман и никакое посещение Парижа не способны превратить ни в германофила, ни в галломана. Почему? Другая закваска? Может быть. Противоречие художника самому себе? Вряд ли: тут два разных замысла, два типа, розно обитающих в русском дворянстве.

Противоречий, впрочем, в «Бригадире» и без того довольно. Или, если угодно, парадоксов.

Вот первый.

К т о пишет комедию? Переводчик и пропагандист французских авторов, друг Федора Козловского, сам вольнодумец на вольтерьянский манер. И к а к у ю комедию? Ту, которая много позже, в 1812-м, в первые месяцы великой войны, станет утверждать на московской сцене национальную гордость вкупе с прочими патриотическими сочинениями. А в 1814-м, по возобновлении в Москве театральной жизни, и вовсе окажется первой постановкою.

Конечно, то будет пора антифранцузских настроений, когда все способно сгодиться делу агитации и некогда разбирать, с какою целью автор написал то-то и то-то, довольно верхнего слоя, но ведь Фонвизин и в самом деле нет-нет да и ужалит страну, к которой только что обращал взоры надежды. Ужалит, остроумно вложив жало в медоточивые уста дурака Иванушки.

В комедии много сказано умного и основательного — это при том, что она перенаселена дурнями, и, перефразируя пушкинские слова про «Горе от ума», можно сказать, что и тут только одно умное лицо, сам Фонвизин (безликие Софья и Добролюбов не в счет). Русская литература пока не научилась прятать автора за спинами героев, живущих и мыслящих как бы самостоятельно (не вполне научится и при Грибоедове); вот и проступает оно, умное это лицо, то сквозь топорные черты бригадира, то сквозь простоватую мину бригадирши. Дураки, волею автора, оказываются умниками на час.

Никак не блещет умом советник, но и ему вручена истина, в те времена в

России непререкаемая: «Бог сочетает, человек не разлучает». Зачем вручена? Конечно, затем, чтобы Иванушка тут же вступил в пререкание:

— Разве в России бог в такие дела мешается? По крайней мере, государи мои, во Франции он оставил на людское произволение — любить, изменять, жениться и разводиться.

«Дурищею» окрестил бригадиршу Никита Панин, но вовсе не глупа ее вера в то, что человек, побожившись, лгать уже не должен. Однако сынок осмеет и эту веру:

— Я знавал в Париже, да и здесь, превеликое множество разумных людей, et même fort honnêtes gens[1], которые божбу ни во что не ставят.

Сущею дубиной выглядит бригадир, однако и он до очевидности прав, взывая к почитанию родителей, на что Иванушка безбоязненно отвечает:

— Когда щенок не обязан респектовать того пса, кто был его отец, то должен ли я вам хотя малейшим респектом?

И даже:

— Я читал в одной прекрасной книге, как бишь ее зовут... le nom m'est échappé[2], да... в книге «Les sottises du temps»[3], что один сын в Париже вызывал отца на дуэль... а я, или я скот, чтоб не последовать тому, что хотя один раз случилося в Париже?

(Хотя только что собирался следовать как раз «скоту», собачьему сыну, — видно, въелось в его девственные мозги мельком уловленное суждение о небожественном, материалистическом происхождении человека, о родстве его со всем живым и с животными.)

Париж, Франция, Франция, Париж... Да, дурак в комедии противостоит дуракам же, но французское вольномыслие, по-своему им воспринятое, направлено не против их глупости, а против того, чего даже глупость до конца опошлить не в состоянии.

В этом дело.

Семейный принцип, уважение к родителям, вера в божбу, то есть в данном случае в твердость честного слова, в честь, — все это вещи куда как серьезные. И на них посягает... кто? Иванушка? Нет, некто также весьма и весьма серьезный.

Как за глупостью бригадира и бригадирши стоит уклад жизни, если далеко не совершенный, то уж во всяком случае не глупый, так за дурашливостью Иванушки — тот скептический ум, который он по-дурацки понял, но передал все-таки вполне узнаваемо. Ум, обаянию которого поддался было и сам Денис Иванович.

Адрес этого ума и этого скепсиса назван: Франция.

Не Франция «вообще», изначальная и вечная, — такой и не было никогда, — а Франция современная, просветительская. Ибо именно просветители несли с собою и атеизм, и материализм, и насмешку над дворянской честью, и вообще разрушение вековечных основ, — вспомним:

— Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротют с корню добродетель.

Если в этом контексте уместно имя Энгельса, можно сослаться на его слова о людях французского Просвещения:

---

[1] И очень даже порядочных людей *(фр.)*.
[2] Название я позабыл *(фр.)*.
[3] «Ошибки времени» *(фр.)*.

«Никаких внешних авторитетов они не признавали. Религия, взгляды на природу, общество, государство — все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности... Было решено, что до настоящего момента мир руководился одними предрассудками и все его прошлое достойно лишь сожаления и презрения».

Не станем продолжать цитирование мысли, далее говорящей об ограниченности этого всесвержения; не станем (пока что) судить и об отношении Фонвизина и к Франции вообще и к Просвещению, — нам довольно теперь неожиданной и даже забавной картинки: за болваном Иванушкой для его автора маячат мудрецы Вольтер и Дидро. Их если и не мысли, то — дух. Пусть даже истолкованный по-площадному...

Видимая неожиданность появления «Бригадира» была уже давно замечена — Достоевским в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

Окрестив Фонвизина «по своему времени большим либералом» и причислив к тем, кто глядел в сторону Франции и жил на ее манер («таскал он всю жизнь неизвестно зачем французский кафтан», иронизирует Федор Михайлович в тогдашнем своем духе), он констатировал:

«Ну так вот, один из этих французских кафтанов и написал тогда «Бригадира».

Отчего же так вышло? Отчего столь резко переменилось отношение Фонвизина к Франции и духу ее? Оттого ли, что, как мы уж говорили, вольтерьянские симпатии его были неглубокими и, стало быть, нестойкими?

Конечно, да. Но это причина, так сказать, пассивная. Это лишь предрасположение к перемене. Что же до причины активной и главной, то с нею придется повременить, — ничего не поделаешь.

Я отлично сознаю оборванность мысли. Больше того, хочу, чтобы и читатель сознавал — ради того, чтобы после резче вспомнился этот обрыв, отчетливее ощутилась недоговоренность. А это «после» настанет в той части книги, когда Денис Иванович прямо и впервые встретится с Францией, с просветителями, с самим Вольтером. Тогда-то полнее и, надеюсь, глубже сможем мы взглянуть на «Бригадира».

Одним словом, пока не будем разгадывать первого парадокса комедии, только запомним его.

И перейдем ко второму.

Он вот в чем: умником на час оказывается и наикруглейший из дураков, Иванушка. Умна не голова его, умно сердце.

— Наше дело сыскать тебе невесту, а твое дело жениться, — распределяет обязанности и права бригадирша. — Ты уж не в свое дело и не вступайся.

И у распросмеянного сына вырывается человеческий возглас:

— Как, ma mere, я женюсь, и мне нужды нет до выбору невесты?

Это могло вырваться и у Петруши Гринева, которому строгий родитель и думать воспрещал о капитанской дочке. А когда в финале Иванушка кричит, «к с о в е т н и ц е к и н у в ш и с ь» (это отчаянное движение не зря отмечено скупым на ремарки Фонвизиным): «Прощай, la moitié de mon âme!»[1], то на сей раз даже волапюк не в силах сделать разлуку комической. Не только для зрителя, но, думаю, и для автора тоже: кому-кому, а Фонви-

[1] «Половина души моей» *(фр.)*.

зину была известна горечь разлуки и безысходная невозможность соединения с тою, что навеки вверена другому, — любовь к Приклонской поразила его как раз в это время. А уж тут все равны, и умники, и глупцы.

Удивительное дело, но жаль Иванушку. Жаль куда более других, хотя любовная неудача постигла и его отца и советника. Он, что ни говори, жертва — притом именно их жертва: это они, а не кто иной, его, а не кого другого, насильно хотят женить на нелюбимой и насильно разлучают с любимой. В отличие от отца и от советника он неволен и принуждаем. Тем мешает общий закон («Бог соединяет...»), ему — еще и их частная злая воля.

Вмешательство драматизма в сатиру многозначительно. Оно если не показывает, то подсказывает, что исторический прототип петиметра не однозначен.

— В Париже, — хвастает Иванушка, за которым приглядывает и проглядывает насмешлнвый автор, — все почитали меня так, как я заслуживаю.

(Именно так, — словно бы поддакивает Фонвизин, — ничуть не более того, что ты заслужил.)

— Куда бы я ни приходил, — продолжает ведомый им герой, — везде или я один говорил, или все обо мне говорили. Все моим разговором восхищались. Где меня ни видали, везде у всех радость являлася на лицах, и часто, не могши ее скрыть, декларировали ее таким чрезвычайным смехом, который прямо показывал, что́ они обо мне думают.

Он смешон в России; смешон был, оказывается, и во Франции. Словом, «видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившнмся в России французом».

Не правда ли, блестящая характеристика Иванушки? И как перефразировано здесь его горделиво-комичное заявление: «Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской». Вот он, «родившийся в России француз»...

Но дело в том, что это сказано вовсе не об Иванушке; так Ключевскнй определил многоглавый тип дворянина екатерининской эпохи, который, прикоснувшись по моде времени к французскому воспитанию и французским идеям, даже не пытается понять российскую жизнь. Тип ни в коем случае не комический:

«Усвоенные им манеры, привычки, симпатии, понятия, самый язык — все было чужое, привозное, все влекло его в заграничную даль, а дома у него не было никакой органической связи с окружающим, не было никакого житейского дела, которое он считал бы серьезным...»

Между прочим, и фонвизинский петиметр отворачивался с брезгливостью и от военного устава, предлагаемого отцом, и от уложения и указов, рекомендуемых советником. Всё не по нраву, всё не интересно.

«Всю жизнь помышляя о «европейском обычае», о просвещенном обществе, — продолжает историк, — он старался стать между своими и чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом. В этом появлении культурного межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть о нем, предполагая, что ему самому подчас становилось невыносимо тяжело чувствовать себя в таком положении».

Вот этого уж об Иванушке не скажешь: ему, персонажу комедии, карика-

туре, межеумочность не обременительна; однако забудем пока о нем, сейчас речь о типе не литературном, но историческом:

«Очутившись... между двумя житейскими порядками, в каком-то пустом пространстве, где нет истории, русский мыслитель удобно устроился на этой центральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, получая крепостные доходы, с одной стороны, умственные и эстетические подаяния — с другой. Поселившись в этой уютной пустыне, природный сын России, подкинутый Франции, а в действительности человек без отечества, как называли его жившие тогда в России французы, он холодно и просто решил, что порядок в России есть assez immoral[1], потому что в ней il n'y a presqu'ausune opinion publique[2], и думал, что этого вполне достаточно, чтоб игнорировать все, что делалось в России. Так незнание вело к равнодушию, а равнодушие приводило к пренебрежению».

Невозможно винить современников «исторической ненужности», Сумарокова ли, Елагина или Княжнина, не сумевших увидеть в ее явлении ничего серьезнее накипи, поверхности, петиметра, да и в нем самом разглядевших лишь хвастливую галломанию и расслышавших только смешной жаргон (Фонвизин, конечно, дело иное, но и у него серьезность прорвалась «нечаянно», как заметил Достоевский по другому поводу, но тоже в связи с «Бригадиром»; эта нечаянность — не что иное, как интуиция художника, опережающая его сознание). Конечно, и в то время были люди, сознававшие опасность и драматизм межеумочности, но не среди литераторов: литература не была еще готова к объемному выражению жизни, она больше спешила осмеять или воспеть, чем понять. Да и среди людей, глядящих глубже, преобладала ворчливость, а не трезвость, упрямая нормативность, а не способность «войти в положение» (как у того же князя Щербатова)... впрочем, подобное — беда всех почти современников. В любую эпоху.

Так или иначе, зоркостью Ключевского их корить нельзя: его подняли высоты времени, с каких он различил и домыслил родословную межеумка времен Екатерины. Вот она: внук школяра из Славяно-греко-латинской академии, учившего греческие и латинские вокабулы, писавшего вирши и довольно неуютно почувствовавшего себя в деловой атмосфере России Петра; сын петровского навигатора, с детства впитавшего воздух этого времени, но после также плохо прижившегося в светской атмосфере царствования Елизаветы. Увидел историк и продолжение рода «ненужности» — лишнего человека, Онегина.

В постоянном существовании межеумка, всего лишь меняющего обличье со сменой эпох (и где — в среде класса, призванного быть главной государственной силою), беда России восемнадцатого столетия, не прошедшая, впрочем, и в девятнадцатом. В век Екатерины это человек, утративший национальность и, значит, чувство долга перед нацией. Загляните в эпиграф этой главы; горестно-недоуменно звучат слова умнейшего из пушкинских друзей, — вот уж титул так титул, Его, так сказать, Умнейшество. А раньше примерно то же замечено было еще одним замечательным русским человеком, Карамзиным:

«Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России — виною Петр!»

---

[1] Довольно безнравствен *(фр.)*.
[2] Почти нет общественного мнения *(фр.)*.

Все же, вероятно, вина — не вполне историческое понятие; дело ие в ней, тем более личной, но в неравномерности, прерывистости судьбы тогдашней России, где эпохи пустот рождали неизбежность взрывов, а взрывы, рывки, насилия столь же неизбежно выдыхались в пустоты...

Вернемся к «Бригадиру».

Ключевский произносит слово «трагизм», к Иванушке отношения не имеющее; он всего лишь дурень, достойный только комедии, — но, может быть, оттого особенно заставляет думать о наиреальнейшем и наисерьезнейшем прототипе (заставляет, а не заставлял; нас, а не современников Фонвизина, — тут, увы, счастливая, но запоздалая судьба ретроспективности). Независимо от степени авторского осознания выбран персонаж комически-крайний, не только «историческая ненужность», ио ненужность человеческая, выродок, ублюдок; а такие, случается, отчетливее выражают черты типа. Как всякий предел.

Так по крайней мере стало с Митрофаном.

Оба молодых оболтуса из комедий Фонвизина — химически чистое проявление двух исторических типов. Митрофан — окаменелость, застылость, безнадежно неподвижная почва, бесплодная для новых, чужих, «ихних» семян. Иванушка — невесомость, неосязаемость, отсутствие почвы.

Они — два полюса, две крайности. И выражают эти крайности также в степени крайней.

Но и границы одного исторического типа, по-своему цельного, могут быть столь обширны, что узнаваемость крайне затруднительна и человек, находящийся возле одной из его границ, до комизма, до нелепости, до неправдоподобия непохож на человека, который находится возле противоположной, — особенно при российском размахе, где сами географические расстояния соединяют противоположности и контрасты: «от Белых вод до Черных», «от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая». Они антиподы внутри типа. Но карикатурный ииз и великолепный верх все же сходятся, связуются неприметной ниточкой, и если я скажу, что есть нечто общее (и, что интереснее всего, существенно общее) между засмеянным Иванушкой и одним из замечательнейших и причудливейших людей той эпохи, с которым Фонвизина отныне и на долгие годы тесно свела судьба, Никитою Ивановичем Паниным, — я это сделаю со всей серьезностью, хотя и со смиренным сознаинем той самой неправдоподобности сближения.

Но о том речь уже в следующей главе.

ТВОЕ СОЗДАНЬЕ Я, СОЗДАТЕЛЬ (I)

...Ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были

тогда, при первом свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина — матушка-императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.

Л. Н. Толстой. «Война и мир»

ВЕЛЬМОЖА

1769 год. Начало июля. Петергоф. И в дворцовом саду — разговор двух людей, прежде незнакомых. Это и есть первая минута их знаменательного знакомства.

Один из них немолод, но красив, наряд его продуманно изыскан; даже полноту свою, необременительную полноту стареющего жуира, несет он с легкостью и изяществом.

— Слуга покорный, — говорит он, подходя ко второму и чуть склоняя голову в парике с крупными буклями. — Поздравляю вас с успехом комедии вашей. Я вас уверяю, что ныне во всем Петергофе ни о чем другом не говорят, как о комедии и о чтении вашем.

В самой безупречности манер и отменной простоте обращения виден человек, привыкший быть во власти и в силе, и это сочетание неотразимо, ибо природная мягкость характера придает обаяние самоуверенности, а та сообщает мягкости значительную весомость. Властность его подчиняет, учтивость же делает подчинение добровольным.

— Долго ли вы здесь останетесь? — спрашивает он.

Его новый знакомец молод, также полон, но полнота его нездорова, лицо одутловато и бледно, отчего он кажется старше своих двадцати пяти лет. С готовностью отвечает он величавому вопрошателю: — Через несколько часов еду в город.

— А мы завтра. Я еще хочу, сударь, попросить вас: его высочество желает весьма слышать чтение ваше, и для того по приезде нашем в город не умедлите ко мне явиться с вашею комедиею, а я представлю вас великому князю, и вы можете прочитать ее нам.

Молодой собеседник кланяется:

— Я не премину исполнить повеление ваше и почту за верх счастия моего иметь моими слушателями его императорское высочество и ваше сиятельство.

О главном сговорено, и далее идут непременные любезности.

— Государыня похваляет сочинение ваше, и все вообще очень довольны.

— Но я тогда только совершенно буду доволен, когда ваше сиятельство удостоите меня своим покровительством.

— Мне будет очень приятно, если могу быть вам в чем-то полезен...

Впрочем, любезности скрывают, а точнее, приоткрывают вполне деловую подоплеку: произнесено слово «покровительство».

За стенографическую точность галантно-деловитой беседы ручаться не стоит. Не только потому, что Фонвизину не была ведома стенография, но и потому, что о встрече подающего надежды чиновника и литератора с прославленным вельможею, воспитателем великого князя Павла, вспомнил чиновник отставной и литератор умирающий. А может быть, и стоит

поручиться: т а к и е разговоры, т а к и е вехи врубаются в память пожизненно.

Тем более достоверны интонации собеседников — повелительного, но ласкового Панина (можно и так сказать: ласкового, но повелительного): «хочу попросить вас», однако: «не умедлите ко мне явиться», — и зависимого, но достойного (достойного, но зависимого) Фонвизина: «Я не премину исполнить...»

Достоинство и зависимость уживаются, вторая даже подчеркивает присутствие первого: человек выпрашивает у сановной руки поддержки, не теряя ни самоуважения, ни уважения чьего бы то ни было...

За беседою — дни, насыщенные чрезвычайными для Фонвизина событиями. По возвращении из московского отпуска он начинает читать «Бригадира» — сперва у друзей, затем в домах менее знакомых и более знатных, всюду имея успех и как автор и как чтец. Очередь доходит до Григория Орлова, а уж он сообщает о преострой новинке и самой государыне.

Двадцать девятого июня Денис Иванович предстал перед «российской благотворительницей». Предстал не без трепета и сперва читал, почти запинаясь, но, ободренный императрицею, разошелся и закончил чтение с одушевлением и искусством, а после даже решился показать остроумие устное:

«Во время же чтения похвалы ее давали мне новую смелость, так что после чтения был я завлечен к некоторым шуткам и потом, облобызав ее десницу, вышел, имея от нее всемилостивейшее приветствие за мое чтение».

Вот после этого и остановил его в Петергофе Никита Иванович.

Разумеется, успех «Бригадира» у Екатерины означал, что мода на него утверждена свыше. К милостивому смеху государыни присоединился всеобщий хохот — искренний, но искренность спешили проявить.

Фонвизин читает у пятнадцатилетнего Павла: снова успех. Затем дома у Никиты Панина. Затем его зовет отобедать второй Панин, Петр, причем Никита Иванович тут же спешит объявить брату:

— И я у тебя обедаю. Я не хочу пропустить случая слушать его чтение. Редкий талант! У него, братец, в комедии есть одна Акулина Тимофеевна: когда он роль ее читает, тогда я самое ее и вижу и слышу.

От Петра Панина Фонвизина приглашает к себе назавтра граф Захар Чернышев... и пошлó, пошлó, пошлó. Вспоминая эти дни, Денис Иванович перечисляет знатнейшие семейства, пожелавшие принять у себя новомодного автора, мелькают имена Строгановых, Шуваловых, Румянцевых, Воронцовых; лестно, но утомительно, и, словно облегченный вздох, звучит: «Я, объездя звавших меня, с неделю отдыхал...»

Шум, впрочем, был разноголосым. Несмотря на высочайшие похвалы, а может, к ним-то и ревнующие, раздаются голоса недоброжелателей, прежде всего — знакомый голос Лукина.

Удивительное дело: высочайший запрет становится для верноподданных законом непреложным, высочайшая похвала — не всегда. Николай Первый аплодирует на премьере «Ревизора», а графу Канкрину это не мешает сказать: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу?» Любопытно было бы узнать, так ли свободно чувствовали бы себя несогласные с мнением государя, если бы он, напротив, комедию не одобрил?

Слуги обычно считают себя вправе ретивее господина отстаивать порядок и законопослушность.

Как бы то ни было, недоброжелательность отныне не имеет для Фонвизина большого значения. Из хора голосов, хвалящих и хулящих, ему явственнее всего слышен голос того, чье покровительство дает ему уверенность и силу.

Никита Иванович отозвался о «Бригадире» с отличной проницательностью:

— Это в наших нравах первая комедия, и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столь интересною, что все хочется ее слушать; я не удивляюсь, что сия комедия столь много имеет успеха; советую вам не оставлять вашего дарования.

Последний совет не означал, будто молодой человек должен целиком посвятить себя сочинительству. В те времена подобная мысль была бы дикою. В авторе искусной комедии Панин высматривал для себя способного и преданного сотрудника (Денис Иванович вспоминает, что «он в разговорах своих со мною старался узнать не только то, какие я имею знания, но и какие мои моральные правила») и не ошибся ни в его способностях, ни в преданности.

Занятия же словесностью как раз отошли на второй план за годы близости с Паниным, и в двенадцать лет сотрудничества с ним Фонвизин как литератор писал сравнительно мало: не до того было, иная деятельность, казавшаяся куда более неотложною, захватывала целиком.

Правда, были написаны интереснейшие письма из заграничного путешествия, но письма, не комедия и не повесть, да и время для них нашлось именно в отлучке от прямых обязанностей; правда и то (вот уж существенная оговорка), что именно к концу двенадцатилетия был кончен «Недоросль», но опять-таки время для завершения нашлось потому, что обрывалась государственная деятельность Никиты Ивановича (а вместе и Дениса Ивановича), дело шло к отставке первого (и, стало быть, второго). Свободного времени, увы, становилось все больше...

Итак, выбор был сделан. Конечно, Паниным; для Фонвизина выбора просто не было.

«Вы можете ходить к его высочеству и при столе оставаться, когда только хотите». Слова Панина, означающие «допущение к столу» Павла, тем самым означали многое. А в конце 1769 года Фонвизин уже зачислен секретарем Панина по Иностранной коллегии. Наконец-то нашелся человек, способный померяться влиянием с Елагиным и не побоявшийся огорчить могущественного капризника.

Кстати, а что же Елагин? Был ли он рад «Бригадиру», столь успешно последовавшему его комедии «Русский-француз»? Неизвестно, но сомнительно. Замечено было, что вряд ли случайно фонвизинская пьеса стала часто ставиться лишь после 1779 года, когда Елагина отставили от управления театром, — не прежде. Видимо, милость окончательно сменена на гнев, чему, конечно, способствовал и Лукин, прочно освоивший место в сердце Елагина.

Как Фонвизин — в сердце Панина.

Ни о ком из людей, исключая разве родителей да Приклонскую, не вспоминал он с таким благоговением. Никому более не был так предан душою.

Более того. Современник скажет об их содружестве:

«Граф Панин был другом Фонвизина в прямом смысле слова. Последний

усвоил себе политические взгляды и правила первого, и про них можно было сказать, что они были одно сердце и одна душа».

Что ж, оттого особенно важно понять, что за душа и что за сердце были у того, чьим двойником считали Дениса Ивановича, — тем более что в годы счастливого единомыслия и еднноду́шия младший ушел в тень, падающую от старшего.

Первое слово — самому Фонвизину:

«Нрав графа Панина достоин был искреннего почтения и непритворныя любви. Твердость его доказывала величие души его. В делах, касательных до блага государства, ни обещания, ни угрозы поколебать его были не в силах. Ничто в свете не могло его принудить предложить монархине свое мнение противу внутреннего своего чувства. Колико благ сия твердость даровала отечеству! От коликих зол она его предохранила!»

Это — «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина», написанная после смерти благодетеля. Точнее, «Житие...»; благоговение не позволило Фонвизину рискнуть написать не лик, а лицо, уйти и от неловкой «славянчизны» и от некрологического славословия:

«Други обожали его, самые враги его ощущали во глубине сердец своих к нему почтение...»

Други — без сомнения, но враги...

«Добрая натура, огромное тщеславие и необыкновенная неподвижность — вот три отличительные черты характера Панина». Лапидарную оценку английского посланника Гарриса (кстати сказать, смыкающуюся с тем, что говорил о Панине еще один враг его, Екатерина: «умрет оттого, что поторопится») пространнее уточняет французский дипломат Корберон:

«Сладострастный по темпераменту и ленивый, столь же по системе, сколько и по привычке, он старался, однако, вознаградить себя за малое влияние на ум своей повелительницы. Величавый по манерам, ласковый, честный противу иностранцев, которых очаровывал при первом знакомстве, он не знал слова «нет»; но исполнение редко следовало за его обещаниями; и если, по-видимому, сопротивление с его стороны — редкость, то и надежды, на него возлагаемые, ничтожны».

Ни деловой партнер, ни противник, которого следовало бы слишком уважать.

Итак, твердость — и податливость, хуже, ненадежность. Величие души — и тщеславие. Муж, стеною стоящий на страже отечества, — и ленивый сладострастник. Где истина, на той или на другой стороне? Или где-нибудь посередке? Что ж, давайте поуменьшим восторги Фонвизина (он как-никак лично обязан Панину), приугасим скепсис дипломатов (ни Франция, ни Англия не имели оснований быть благодарными тому, чьи сердце и расчет были отданы Пруссии и ее королю Фридриху Великому), и у нас выйдет... но ничего у нас не выйдет. «Неразгаданный», по чьему-то выражению, Панин — такое же естественно-противоречивое создание своего естественно-противоречивого века, как и Елагин. Такая же характернейшая его фигура, хотя и в ином духе.

Странность — не помеха для характерности, наоборот. Странные люди, странные идеи, странные поступки часто больше говорят о своей эпохе, чем заурядность и обыденность.

Иван Перфильевич — чудак, человек крайностей и несообразностей; в Никите Ивановиче крайности не то чтоб сошлись в золотую серединку, одна-

ко обрели умеренность или, лучше сказать, соразмерность, вкус, даже гармоничность.

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказнл;
Чредою шли к тебе забавы и чины... —

пушкинские слова, посвященные гибриду российского размаха и европейской утонченности, мудрецу-сибариту Николаю Борисовичу Юсупову, никак не отнести ни к «Перфильичу», ни к Потемкину, ни к Воину Нащокину, — они проказили неумеренно, а часто и неумно и задавались целями именно невозможными. Они тоже разнились: посадить любимую жену на пушку и палить из-под нее или взяться в немыслимо краткий срок возвести на голом месте город Екатеринослав с дворцами и садами (каковая затея отчасти кончилась потемкинской деревней) — это проявления разных характеров и весьма разных возможностей; но общее тут — отсутствие чувства меры, нежелание соображаться с реальностью, самочинство, перерастающее в самодурство.

«Чредою шли к тебе забавы и чины», — нет, русскому чудаку-самодуру восемнадцатого века спокойная постепенность чреды не годилась. И чины приходили к нему не по выслуге, а по капризу (государыни), и забавы диктовал не общепринятый вкус, а тот же каприз (уже собственный). Чудак жил внеочередными рывками, иежданными взлетами, прихотливыми перепадами.

Зато слова Пушкина о Юсупове можно отнести к европеизированному Никите Панину, чьи ум и вкус ни в коем случае не лишали его жизнь самых что ни на есть изысканных удовольствий (вот уж кто, славившийся как женолюбием, так и лучшей в городе поварней, о стоимости ежедневного стола которой ходили легенды, был далек от спартанства), но разнообразили их. Умно, обдуманно, р а ц и о н а л ь н о.

Русский сибарит столь же историчен, как русский чудак. И столь же безоговорочно привлекателен скорее для потомков, чем для современников: у тех задачи более насущные, чем отдаленное эстетическое любование — размахом ли чудачеств, очарованием ли разумного эпикурейства.

«Ты понял жизни цель... для жизни ты живешь» — тут слышна уже знакомая нам зависть человека девятнадцатого века, на этот раз тем более серьезная и искренняя, что в этом великолепном эгоцентризме, в покойном уединении (и где — среди соразмерной роскоши Архангельского), в независимости и от воли государства и от собственных неумеренных страстей Пушкину, вероятно, виделся прообраз независимости духовной, внутренней, которая нужна поэту и о которой он безнадежно мечтает.

Во всяком случае, обращения к «вельможе» подозрительно совпадают с мыслями о себе самом: «Ты спрашиваешь, какая цель у *Цыганов*? Вот на! цель поэзии — поэзия...», «По прихоти своей скитаться здесь и там, дивясь божественным природы красотам... Вот счастье! Вот права!..»

Житейское сибаритство в переводе на язык поэзии — свобода.

Так виделось поэту девятнадцатого века, автору послания «К вельможе». Поэту восемнадцатого, сочинителю оды «Вельможа», виделось иначе. Он-то воспевал добродетели «римские», классические, неотложно необходимые государству:

Вельможу должны составлять
Ум здравый, сердце просвещенно;
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно,
Что он орудье власти есть,
Подпора царственного зданья;
Вся мысль его, слова, деянья
Должны быть — польза, слава, честь.

«Должны составлять» — и точка. Суровая нормативность, отсутствие личного выбора, полная подчиненность долгу. И всему этому решительно противостоит презренный Сибарит, антипод, антигерой, антинорма:

А ты, вторый Сарданапал,
К чему стремишь всех мыслей беги?
На то ль, чтоб век твой протекал
Средь игр, средь праздности и неги?
Чтоб пурпур, злато всюду взор
В твоих чертогах восхищали,
Картины в зеркалах дышали,
Мусия, мрамор и фарфор?

Казалось бы, то же непримиримое противостояние, что было между портретом не то Перикла, не то Катона, выписанным фонвизинской рукою, и деловыми сообщениями англичанина и француза, упирающими на уязвимые в политической борьбе эпикурейско-анакреонтические свойства противника. Но Никита Иванович не был порождением нормативного державинского идеала, он был порождением реального времени, и характеристикой его можно считать не ту или иную строфу, но — обе вместе. «Ум здравый, сердце просвещенно»? Это о нем. «Польза, слава, честь» — и об этом имел он твердое понятие. Но и «праздности» и «неги» — их тоже было предовольно.

Вот как определил его характер историк, скорее, нерасположенный к Панину, однако сохранивший уравновешенную объективность:

«Проведя детство среди прибалтийских немцев, в Пернове, и усвоив себе немецкие привычки и симпатии, Панин, по распущенности в жизни, напоминал собою французских петиметров; слывя за добродетельного и доброго человека, он, как политический деятель, не чуждался самых темных происков и интриг и часто сам являлся орудием лукавых царедворцев; леность Панина, происходившая, по объяснению некоторых, «от полного сложения», известна была всем современникам, а между тем, независимо от должности обер-гофмейстера при великом князе, Панин, одновременно с этим, был при «тайных делах» и долгое время управлял Коллегией иностранных дел, где при Екатерине нельзя было дремать на кресле. Уступчивый и в высшей степени гибкий в сношениях с иностранцами, Панин сумел двадцать лет держаться у кормила правления при государыне, сына которой он, заведомо для нее, воспитывал в нежелательном для нее направлении; мало того, он был единственным из ее подданных, который встал по отношению к ней в независимое положение, как негласный опекун ее сына».

Необыкновенная фигура? Да. Но, вновь как Елагин, по-своему и обыкновенная — тоже. Вспомним слова Ключевского о типе дворянина, утратившего почву, о «русском мыслителе», очутившемся «между двумя житейскими порядками», между Россией и Европой, — типе, на разговор о котором навел нас дурачок Иванушка. Двойственность Панина — того же происхождения, он высшее выражение этого типа, блестящая особь той же

стаи, к которой — как особь худшая, ублюдочная, окарикатуренная — принадлежит и незадачливый фонвизинский петиметр.

Конечно, человека, который столько лет если не вершил русскую внешнюю политику, то могущественно влиял на нее, не назовешь «исторической ненужностью», хотя сама Екатерина, прознай она об этом выражении, вероятно, охотно бы его подхватила. По крайней мере, она частенько порицала Никиту Ивановича именно за неприспособленность к деятельности дипломата, требующей энергии и стремительности в решениях; отдавая должное денежной честности и широчайшей образованности, жаловалась, что намучилась с его нерешительностью, леностью и рассеянностью. Да он и впрямь не походил на привычного дипломата — ни на взгляд старорусский, согласно которому больше ценилась исполнительность, чем самостоятельность, ни на взгляд европейский; англичанин и француз, Гаррис и Корберон, не сговариваясь, отмечают слишком «светские» черты Панина, не вяжущиеся для них с точным и деловым обликом министра иностранных дел и вообще человека государственного.

И не только для них.

Вспоминает «Екатерина Маленькая», княгиня Дашкова, состоявшая с Никитой Ивановичем в дальнем родстве и дружеских отношениях (злые языки уверяли, что не только в дружеских):

«Он был слаб здоровьем, любил покой, всю свою жизнь провел при дворе или в должности министра при иностранных дворах, носил парик a trois marteaux, очень изысканно одевался, был вообще типичным царедворцем, несколько старомодным и напоминавшим собой придворных Людовика Четырнадцатого, ненавидел солдатчину и все, что отзывалось кордегардией».

Ключевский же и вовсе называл Панина «дипломатом-белоручкой», упрекал, что «при своем дипломатическом сибаритстве он был еще и дипломат-идиллик, чувствительный и мечтательный до маниловщины».

Характеристика вряд ли справедливая (Ключевский, мне кажется, был к Панину неприязнен, валя на него общую непоследовательность екатерининской внешней политики), но, что важно, традиционная.

Ненужность? О нет! Но — странность, причудливость; если угодно, то и межеумочность.

Последнее — даже наверняка.

Вся жизнь Никиты Панина, потомка выходцев из Италии, родившегося в Данциге и проведшего детство в Прибалтике, сложилась так, чтобы подвесить его в зыбком равновесии «между двумя житейскими порядками».

Появившийся на свет в 1718 году, он успел побывать в камер-юнкерах при Елизавете Петровне и чуть было не побывал в ее фаворитах.

Почему этого не случилось, ясно не вполне: то ли сам решил бежать от вожделеющих взоров государыни, то ли был оттерт Шуваловыми; существует даже рассказ Станислава Понятовского, что дело должно было сладиться и Никите Ивановичу уж был назначен час войти в ванную комнату Елизаветы, да он этот час пропустил, обыкновениейшим образом заснув у дверей, — если это и неправда, то как же легендарна была его лень!

Как бы то ни было, он отправился (от соблазна? или от огорчения?) в Данию послом; вскоре перебрался в Швецию, где был во главе посольства одиннадцать лет, и вернулся в Россию убежденным шведофилом, что отражалось и на проводимой им внешней политике и на попытках переустроить Россию

изнутри на шведский манер: создать аристократически-конституционную монархию.

Состязаться с абсолютизмом он начал еще в Швеции — разумеется, с абсолютизмом тамошним, что русскими властями весьма поощрялось, ибо так России способнее было влиять на политическую жизнь северного соседа. Но совсем иначе воспринято было стремление Никиты Ивановича пересадить свои идеи на почву русскую.

«Иной думает, — язвила Екатерина, — для того, что он был долго в той или другой земле, то везде по политике той или другой его любимой земли все учреждать должно».

Тем не менее чины шли и к нему чредою. Воротившийся в Россию в летах по тем временам немолодых, сорока с небольшим, Панин был назначен — еще Елизаветой — обер-гофмейстером к семилетнему Павлу. Петр Третий наградил его орденом Андрея Первозванного, дал чин действительного статского советника и хотел даже в знак особой милости сделать его военным генералом, однако Никита Иванович, ненавидевший солдатчину, отвертелся, чем императора удивил и даже обидел. Впрочем, тот утешился тем, что хваленый умник Панин, как видно, просто глуп; кто ж из умных не подастся в военную службу?

Петр Третий, однако ж, ему не доверял и правильно делал: поклонник шведских порядков оказался одним из первых заговорщиков 1762 года, за что получил от новой императрицы в управление Коллегию иностранных дел, коей и управлял до 1781 года. До насильственной, Потемкиным подготовленной, отставки.

Был он, как и брат его Петр, почтен в 1767 году графским достоинством; Петр, боевой генерал, за верность и усердие, Никита — «чрез попечение свое и воспитание дражайшего нашего сына», а также за то, что «исправлял с рачением и успехами великое множество дел как внутренних, так и иностранных». Чреда, короче говоря, наиблагополучнейшая.

Я не стану — почти вовсе — рассказывать об иностранном поприще Никиты Ивановича: слишком особая это тема, слишком уводит она от сочинителя «Недоросля», несмотря даже на то, что будущий автор великой комедии принимал в делах патрона ревностное участие. Но, во-первых, не так уж много известно о «внешних» занятиях Фонвизина, а то, что известно, почти никак его не характеризует. Мелковатой сошкою был он в этом отношении, и сохранившаяся деловая переписка, в общем, не более чем деловая: она говорит главным образом о беспрекословном исполнении приказов начальства, что почтенно, но не очень увлекательно.

Во-вторых, это еще и потому не совсем идет к нашей теме, что как писатель Фонвизин на удивление «внутренний». Сколько служебного рвения отдано было дипломатии — и никак не выразилось оно в его сочинениях.

Я просто приведу немногострочную характеристику Панина-дипломата, интересную для нас хотя бы тем, что принадлежит автору «Жизни Панина», Фонвизину:

«Достопамятные дела во время его министерства суть союзы и разные договоры, заключенные с иностранными державами, война с турками, происшедшая от междоусобных в Польше раздоров, обмен Голштинского герцогства на графства Олденбургское и Дитмарское, славный мир с Портою, посредничество российского двора при заключении Тешенского мира и, наконец, вооруженный неутралитет»

К «неутралитету» еще вернемся.

Мимо же наставнической роли Никиты Ивановича нам не удастся проскользнуть. И дело не в его педагогических талантах, — они-то как раз были поменее дипломатических.

Его даже порицали за их недостаточность — и в ту пору и после. Упрекали в том, что он неосторожно прививал наследнику модный скептицизм, то рассуждая при нем о диком нраве Петра Великого, то не щадя недостатков русского народа и русского обычая; в том, что вел при Павле чересчур вольные беседы в смысле нравственном: будил якобы в мальчике любострастие. Ругали всё за ту же леность, за малое внимание, уделяемое великому князю; даже за то, что не усмирял при отроке своего знаменитого гурманства. В «Записках» Порошина Никита Иванович то отдаст честь буженине или «гомарам», то заведет похвальную речь французским пирогам, то объестся арбузом, то поставит перед собою «канфор» и варит «устерсы» с английским пивом, — а Павел веселится, поглядывая на варящийся суп, и крошит для него хлеб.

Общепринятой чопорности — да, ее недоставало: даже эти малопочтенные мелочи образуют картину непринужденного дружества между воспитателем и воспитанником. Недоставало и системы, так что Екатерина не вовсе будет не права, когда гораздо позже сравнит воспитание любимого внука Александра с воспитанием нелюбимого сына Павла, — разумеется, в пользу первого. Сравнит гордо и ревниво: «Там не было мне воли сначала, а после, по политическим причинам, не брала от Панина. Все думали, что ежели не у Панина, так он пропал».

Понятна гордость: отличное воспитание Александра — дело ее рук и ее забот, она не только пишет инструкцию для наставников, но возится с внуком, мастерит ему кнутики, вырезывает картинки, хвалится своим «гениальным изобретением» — самолично придуманной одежкой, сшитой вместе и надевающейся так быстро, что ребенок и закапризничать не успевает (парижский портной Фаго даже разбогател на модели этого комбинезончика, подаренного ему Екатериною... хотя, конечно, тут дело не только в удобстве одежки, а и в рекламе: Россия и особенно ее императрица были тогда во Франции в моде).

Что до ревности, то она еще понятнее. Это не материнская ревность: кого, дескать, больше любит ребенок, родную мать или чужого дядю. Это соперничество политическое.

Екатерина короновалась, отговорившись младенческим состоянием Павла, но потом многажды обещала со временем передать власть ему, потомку (так, во всяком случае, считалось официально) Петра Первого.

И Никита Иванович не давал ей сделать вид, что этих обещаний не было.

Леность и рассеянность она Панину как раз простила бы (не зря поговаривали, что именно эти непохвальные черты и позволяют ей сквозь пальцы смотреть на пребывание сына в руках ее противника); не прощала совсем другого.

Всего одна симпатичная подробность, кстати, что бы там ни твердили, говорящая о педагогическом даровании великокняжеского воспитателя: он придумал печатать специально для маленького Павла «Ведомости», где, в отделе «Из Петербурга», содержался бы отчет о всех провинностях наследника. Причем его, конечно, уверяли, что «Ведомости» рассылаются по загранице и, стало быть, Европа скорбит о неблагонравии Павла Петровича.

Вот образчик этого воспитательного хитроумия:

«Письмо г-на Правомыслова, отставного капитана, из С.-Петербурга от Марта 1760 года к г-ну Люборусову, отставному капитану в Москве... Но теперь я вас, друга моего, обрадую: Его Высочество стал с некоторого времени отменять свой нрав: учится хотя не долго, но охотно; не изволит отказывать, когда ему о том напоминают; когда же у него времянем охоты нет учиться, то Его Высочество ныне очень учтиво изволит говорить такими словами: «*Пожалуйте погодите* или *пожалуйте до завтра*, не так, как прежде, бывало, вспыхнет и головушкою закинув с досадою и с сердцем отвечать изволит: *вот уж нелегкая*! Какие-то неприличные слова в устах Великого Князя Российского!»

Выдумка и забавна и действенна, но вот ведь в чем потайная пружинка этой действенности: мальчика приучали считаться с общественным мнением! В будущем монархе воспитывали естественную стыдливость человека подотчетного.

Мальчика приучали... В будущем монархе воспитывали... Слова эти невольно звучат с горестной иронией, ибо как забыть то, чем все это кончилось: полубезумное царствование императора Павла? В нем, в ребенке, пробуждали гражданские добродетели, учили сознавать долг перед людьми и отечеством, а вышло то, что выразительно определила Дашкова:

«Редки были те семейства, где не оплакивали бы сосланного или заключенного члена семьи. Всюду царил страх и вызывал подозрительное отношение к окружающим, уничтожал доверие друг к другу, столь естественное при кровных родственных узах. Под влиянием страха явилась и *апатия*, чувство губительное для *первой* гражданской доблести — *любви к родине*».

Это так, и никуда нам не деться от исторической памяти, а все ж далек еще путь к сорокадвухлетнему издерганному человеку, чуть не всю жизнь проведшему под мнящейся ему угрозой гибели от материнской руки, — далек к нему путь от мальчика, от коего пышет обаянием чуть не с каждой страницы «Записок» аккуратнейшего Семена Андреевича Порошина:

«Великой Князь в сие время около нас изволил попрыгивать, и то тово, то другова за полу подергивал: был очень весел».

Или:

«За столом особливо сделалось приключение: Его Высочество попросил с одного блюда себе кушать; Никита Иванович отказал ему. Досадно то показалось Великому Князю: рассердился он и, положа ложку, отворотился от Никиты Ивановича. Его Превосходительство в наказание за сию неучтивость и за сие упрямство вывел Великого Князя тотчас из-за стола во внутренние его покои и приказал, чтоб он остался там с дежурными кавалерами. Пожуря за то Его Высочество, пошел Никита Иванович опять за стол, и там несколько еще времени сидели. Государь Цесаревич между тем плакал и негодовал. Пришед из-за стола, Его Превосходительство Никита Иванович взял с собою Великого Князя одного в другую (учительную) комнату и там говорил ему с четверть часа о непристойности его поступка, которую конечно никто не похвалит... Переплакался наконец Его Высочество».

Положим, это всего лишь общедетское обаяние, неотрывное от ребенка, пока он нормальный ребенок. И, конечно, уже в те полумладенческие годы в Павле проглядывают черты, в дитяти неприятные, а во

взрослом — опасные: заносчивость и уязвленность; что говорить, неровен был характер, да и откуда было взяться иному? Нелюбимый отцом (отцом ли?), заброшенный, а после оттолкнутый от власти матерью, Павел не мог не стать угрюмым и подозрительным, что, впрочем, порою оборачивалось как раз крайней доверчивостью и пылкой благодарностью за ласку (Никите Ивановичу он запомнил его добро на всю жизнь).

Со стороны виднее, и когда двадцатидвухлетний Павел явится в Берлин знакомиться со второй своей женой, тогдашней Софьей-Доротеей и будущей Марией Федоровной, люди, впервые его увидавшие, сразу приметят в нем неловкость и застенчивость, ненаходчивость, скрываемую за развязностью. «Московским Гамлетом» назовут его, имея в виду не только мучительную двойственность наследника, но и судьбу отца и вероломство матери (позже, в путешествии, в Вене захотят показать ему Шекспирову трагедию, да спохватятся).

Умнейшему политику Фридриху Второму этого достанет, чтобы предречь судьбу гамлетического юноши:

«Великий князь произвел впечатление высокомерного, надменного и заносчивого; все это давало повод знакомым с Россией опасаться того, что ему трудно будет удержаться на троне, что, управляя суровым и угрюмым народом, распущенным к тому же слабым правлением нескольких императриц, он должен страшиться участи, подобной участи его несчастного отца».

Пророки находились не только за кордоном, но и в своем отечестве.

«У него умная голова, — сказал один из Павловых учителей, — только она так устроена, что держится как бы на волоске. Порвись этот волосок, вся машина испортится и тогда прощай рассудительность и здравый смысл».

Как в воду глядел: волосок порвался. Вернее, его порвали. Но и тому надо дивиться, сколько времени и сил приложено было, чтобы порвать. И, между прочим, одним из решительных к тому усилий было удаление Никиты Ивановича, происшедшее в 1773 году, — именно после того началась у Павла мания преследования, приведшая в конце концов в гатчинское уединение, где его окружали уже люди не типа Панина, а типа Аракчеева. Не мыслители, а служаки. Не советники, а исполнители, — так что и сам великий князь стал предпочитать совету повиновение.

При Панине он на многое еще смотрел совсем иначе. Даже чувствовал по-иному.

Незадолго до второй свадьбы он писал барону Сакену:

«Вы можете видеть из письма моего, что я не из мрамора и что сердце мое далеко не такое черствое, как многие полагают, моя жизнь докажет это... Одно лишь время и твердый образ действий в состоянии уничтожить клевету».

Жизнь не доказала, но письмо говорит о разумном движении души: о зависимости от мнения других, о желании переспорить это мнение не силою, а сердцем, уничтожить не клеветников, что, без сомнения, приказал бы император Павел, а клевету. Прорастало зерно, посеянное потешными панинскими «Ведомостями».

Павел мечтал о государственной деятельности, рвался к ней, грубо останавливаемый матерью, жаждал перемен в правлении, и молодые мысли его не только разумны, но — благородны.

В 1772 году, восемнадцати лет от роду, наследник сочиняет «Размышле-

ния, пришедшие мне в голову по поводу выражения, которым мне часто звенели в уши: «о принципах правительства».

В этом «звенели» — самоутверждение юноши: сказывается строптивый нрав, но суть «Размышлений» выдает прилежность ученика, вслушивающегося в то, что звенят ему Никита Панин и прочие; может, и допущенный к столу Фонвизин подзванивал, — даже наверняка так.

«Законы — основа всему, — размышляет или, вернее, повторяет Павел, — ибо, без нашей свободной воли, они показывают, чего должно избегать, а следовательно, и то, что мы еще должны делать».

Мысль достаточно общая, но когда дело доходит до уточнения, слышно, откуда звон.

В «Рассуждении о непременных государственных законах», написанном Фонвизиным по плану Панина, читаем:

«Без сих правил, или, точнее объясниться, без непременных государственных законов, не прочно ни состояние государства, ни состояние государя».

И далее:

«Истинное блаженство государя и подданных тогда совершенно, когда все находится в том спокойствии духа, которое происходит от внутреннего удостоверения о своей безопасности. Вот прямая *политическая вольность* нации».

Это Панин и Фонвизин. А вот юный Павел пишет другому Панину, Петру:

«Спокойствие внутреннее зависит от спокойствия каждого человека, составляющего общество; чтобы каждый был спокоен, то должно, чтобы его собственные, как и других, подобных ему, страсти были обузданы; чем их обуздать иным, как не законами? Они общая узда, и так должно о сем фундаменте спокойствия общего подумать».

Этими бы устами...

Так или иначе, были обещания, были ожидания, были даже основания для них; были усилия воспитателя, и, вероятно, благие дела Павла-государя, не столь уж и малочисленные, вызвались не только желанием поступать наперекор матери, но и теми основами, которые успел-таки заложить в его душу Панин со своими присными. Во всяком случае, отменить объявленный Екатериною тягчайший рекрутский набор (по десяти человек с тысячи), отменить и хлебную подать, также разорительнейшую, повелеть прекратить продажу дворовых и крепостных без земли, дать свободу Новикову, Радищеву, Костюшке (последнего, даром что поляк и бунтовщик, еще и обласкать и щедро наградить) — слишком явно это отзывается юношескими «Размышлениями», чтобы быть только случайным или сделанным назло покойнице

Непоследовательно, ибо царь не старается взнуздывать страсти собственные? Конечно, непоследовательно. Маловато благодеяний? Разумеется, маловато, — меньше, чем хотелось бы. Но мужику и чуточная потачка сгодится, а Новикову божий свет краше каземата независимо от того, последовательно ли воплощает император добрые мысли, некогда ему внушенные.

В масштабах огромной страны и малая польза велика. В поздней фонвизинской повести «Каллисфен» герой ее, вознамерившийся исправить нрав Александра Македонского, гибнет, едва успев подвигнуть его на два добрых

дела, а все ж учитель его Аристотель говорит с упрямством и гордостью, очень р у с с к и м и:

«При государе, которого склонности не вовсе развращены, вот что честный человек в два дни сделать может!»

Развращены, да не вовсе. Два дни... И на том спасибо.

ПОСЛЕДНЯЯ ДРАКА

Никита Иванович любил Павла. Желал ему блага. Намеревался и сам возвыситься с его восшествием на престол, — была, значит, и своекорыстность. Но надежда на воцарение воспитанника и на разумное его царствование, ограниченное твердым законом и соучастием советников, стократ увеличивалась ненавистью к Екатерине и к ее самодержавству.

Странное время, и странное положение обоих врагов, Екатерины и Панина.

Сановник безукоризненно соблюдает политес подданного по отношению к всемилостивейшей государыне (другое дело брат Петр, ворчун и критикан, но ему-то что, он в отставке), а она и в самом деле осыпает его милостями. Даже когда ей удастся наконец одержать победу и удалить Панина от Павла, когда она торжествующе скажет: «Мой дом точно вычищен», это будет сделано в форме, напоминающей скорее чествование, чем недовольство, возвышение, чем падение.

«...За оконченное воспитание государя цесаревича, — сообщит коллеге-дипломату панинский секретарь Фонвизин, — пожаловано графу Никите Ивановичу...».

И обстоятельно перечислит пожалования:

«1. Чин фельдмаршала, и быть ему шефом иностранного департамента.

2. Девять тысяч душ крестьян.

3. Сто тысяч рублей на заведение дома.

4. Ежегодного пенсиона по тридцати тысяч рублей.

5. Ежегодного жалованья по четырнадцати тысяч рублей.

6 Сервиз в пятьдесят тысяч рублей.

7. Дом позволено ему выбрать любой в целом городе и деньги за оный повелено выдать из казны.

8. Экипаж и ливрея придворные.

9. Провизия и погреб на целый год».

Для иас — неправдоподобно щедро, а меж тем Никита Иванович без стеснения говорил о неблагодарности государыни, и если тут же разделил четыре тысячи душ из подаренных ею девяти между своими секретарями (в их числе оказался, разумеется, и Фонвизин), то это было не только проявлением отменной доброты, но и вызывающим жестом: вот как поступаю я с вашим откупом, ваше императорское величество!

Жест традиционный: по древней легенде, еще Фирдоуси, недовольный размерами вознаграждения за «Шахнаме», тут же его роздал.

Да Екатерина и сама точно так же смотрела на собственную щедрость.

Как раз в эти дни московский главнокомандующий Волконский донес ей о Петре Панине, что он-де «много и дерзко болтает, но все оное состояло в том, что все и всех критикует, однако такого не было слышно, чтоб клонилось к какому бы дерзкому предприятию. Примечено было даже, что с

некоторого времени Панин гораздо утих и в своем болтаньи несколько скромнее стал».

Екатерина ответила:

«Что касается до дерзкого вам известного болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтобы до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена его буду унимать наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то я чаю, что и он его уймет же, а дом мой очистится от каверзы».

«Выше заслуг» — тоже достаточно известный жест: на, подавись!

Однако не от всякого откупились бы столь щедро. Величина откупа говорит о величине страха перед тем, от кого откупаются.

В 1771 году семнадцатилетний Павел тяжко захворает, по словам матери, «простудною лихорадкою, которая продолжалась около пяти недель», и, когда дело пойдет на поправку, Денис Иванович Фонвизин, после «Бригадира», кажется, не бравшийся за перо литератора, сочинит «Слово на выздоровление Его Императорского Высочества Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича в 1771 годе», каковое «Слово» отпечатано будет брошюрою и станет известным — по тем временам — очень широко.

И станет и останется; много позже Иван Иванович Дмитриев вспомнит, что в доме его отца рядом с именами славных старцев и мужей, Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова, поминался и Фонвизин, «уже обративший на себя внимание комедией: *Бригадир* и *Словом по случаю выздоровления Наследника Екатерины*».

«Слово», поставленное в ряд с «Бригадиром», — этому можно удивиться, едва начав его читать. Что здесь, кроме казенного красноречия?

«Настал конец страданию нашему, о россияне! Исчез страх, и восхищается дух веселием. Се Павел, отечества надежда, драгоценный и единый залог иашего спокойства, является очам нашим, исшедши из опасности жизни своея, ко оживлению нашему» — и т.п. Казалось бы, всего лишь парадная сводка о состоянии здоровья, где автор, фальшиво вдохновленный обязательным восторгом, не минует воспеть и Екатерину, которая в чем, в чем, а в материнской любви к Павлу замечена не была: «Ты не будешь отлучена от слова сего, о великая монархиня, матерь чадолюбивая, источник славы и блаженства нашего! Ты купно страдала с Павлом и Россиею и вкушаешь с ними днесь общее веселие».

Нет, однако. Сквозь непременное славословие с назойливой прямолинейностью (уж тут совсем не до художества, тут единая цель — пояснить, втолковать, выкрикнуть) пробивается задача политическая: используя лицемерие Екатерины, внушить ей понятия о долге матери и государыни; самому Павлу, будущему монарху, дать наказ, вещая «гласом всех моих сограждан»; наконец, утвердить в глазах этих самых сограждан третье из главных действующих лиц.

Естественно, Панина.

Немалая дерзость: рядом с исшедшим из опасности порфирородным юношей и трогательно рыдающей чадолюбивой матерью поместить и наставника — в той же скульптурной классической позе, «стеняща и сокрывающа слезы своя». Группа сразу перестает быть группой семейной, а ваятель — исполнителем хоть и высочайшего, но частного заказа; речь о государстве и о людях государственных, которых три: Екатерина, Павел, Панин. И Панин не только стенящий и сокрывающий, но воплотившийся в

воспитаннике, неотрывный от него. Тут вся его воспитательно-политическая программа.

«...Муж истинного разума и честности, превыше нравов сего века! Твои отечеству заслуги не могут быть забвенны».

В другое время Екатерина, может быть, нашла бы, что́ на это сказать. Подобно тому как после, полусмеясь, полунегодуя, она заметит, что вот уж и господин Фонвизин хочет учить ее царствовать, на сей раз ей можно было бы присовокупить, что и заслуги перед отечеством отмечает она, а не сочинители и не секретари. Но теперь не тот момент, не та атмосфера, и приходится с благосклонным видом выслушивать, отчего же это панинские заслуги не могут быть забвенны:

«Ты вкоренил в душу его те добродетели, кои составляют счастие народа и должность государя. Ты дал сердцу его ощутить те священные узы, кои соединяют его с судьбою миллионов людей и кои миллионы людей с ним соединяют».

Выходит, что сын, которому всего год остался до совершеннолетия, уже воспитан как настоящий добродетельный монарх? Уж не уступить ли ему престол, уйдя на покой и отдавшись благотворительности? Не того ли и хочет ненавистный Панин?

Ненавистный Панин того и хотел. Екатерина это знала всегда. И терпела.

Да, Никита Иванович весьма способствовал ее восшествию на престол, вернее, падению ее супруга, — сам-то он лелеял иные планы. Он видел Екатерину разве что регентшею при малолетнем Павле, не более того. И не он один: гвардейцы, возведшие на трон Екатерину, тоже не все, опомнившись от горячки тех дней, были рады такому исходу. Некоторые каялись, что продали последнюю каплю Петра Великого за бочку пива, из которой по-свойски угощалась с ними новая владычица; иные даже кричали потом, в дни ее коронации: «Да здравствует император Павел Петрович!»

Вообще, как известно, Екатерина долго еще чувствовала себя весьма неуверенно. Ей нужна была опора: то она замышляла брак с томящимся в тюрьме со дня воцарения Елизаветы Иваном Шестым, то сбиралась сделать мужем и императором Григория Орлова — не только потому, что любила, но и потому, что надеялась на его силу; не кто иной, как Никита Панин, по этому поводу сказал:

— Императрица может делать что хочет, но госпожа Орлова никогда не будет императрицей России.

Кстати, если бы этот брак состоялся, о судьбе Павла нечего было бы гадать: у Екатерины имелся от Орлова сын, Алексей Бобринский, родившийся в год ее коронации.

Она чувствовала себя неуверенно, и причиной неуверенности был Павел. Еще в 1766 году (когда ее служанка-калмычка вдруг подняла крик в ночном петергофском саду, отбиваясь от предприимчивого лакея) Екатерине примерещилось покушение на ее жизнь — и придворные во главе все с тем же Орловым прежде всего кинулись в покои двенадцатилетнего Павла, подозревая там клубок заговора.

Юрий Тынянов в «Подпоручике Киже» расскажет историю того, как под окнами Павла, уже императора, некий офицер, как и лакей, сгорая страстью, тоже учинит шум и его начнут разыскивать, дабы подвергнуть кнутобойству. Это должно будет характеризовать павловскую подозрительность,

павловскую манию преследования, павловскую эпоху. Не екатерининскую.

Что общего между ним, с тыняновской точки зрения, полупомешанным, и ею, которую привыкли считать образцом уверенности и спокойствия? Но вот и злосчастный селадон, покусившийся на калмыцкие прелести, наказывается с жестокостью, необычной для Екатерины, в подобных случаях глядевшей сквозь пальцы на шалости и проказы всех приближенных, даже прислуги: его били кнутом, вырвали ноздри и сослали на каторгу.

Откуда такая суровость? Все оттуда же: тот же страх, та же неуверенность в завтрашнем дне.

Это не курьез: народ, почти не знавший Павла, в сущности придумывавший его, именно потому на него и надеялся, и на протяжении многих лет всякое недовольство Екатериной связывалось с надеждой на ее сына. Особенно по мере приближения к 1772 году, году его совершеннолетия, дающего долгожданную возможность вступить на престол. Когда Павел вдруг заболел, сразу же пошли дурные слухи об отравлении и началось вызванное слухами волнение. Годом позже возник заговор среди унтер-офицеров Преображенского полка, несерьезный, правда, но важно, что гвардейцы «хотели» опять-таки Павла. Случился бунт бог знает где, в Камчатке, и вновь прозвучало имя наследника.

Фонвизин сообщал о сем случае в письме к Петру Панину:

«Ссылочные люди возмутились, убили воеводу, пограбили город, учинили новую присягу его высочеству, и, сев на лодки, поплыли в Америку, будто завоевывать ее великому князю».

И Панины и Фонвизин все подобные случаи мотали на ус.

«Маркиз де Пугачев», как иронически именовала его Екатерина, и тот, помня о популярности неведомого народу цесаревича, обещал, что, захватив власть, сделает своим наследником Павла.

Страха своего Екатерина не простила Павлу и тогда, когда он стал для нее совершенно безопасен.

Она пришла к власти, использовав отсутствие в России закона о престолонаследии, и вовсе не спешила этот закон учреждать (Павел-то — напротив; едва взойдя на трон, он, настрадавшийся, сразу принял акт о наследовании по прямой линии по мужскому колену). Больше того: Екатерина уговаривала Александра Павловича обойти отца, искала в русской истории прецедентов (слава богу, искать было недалеко, не далее Петра и Алексея), читала книгу Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей», которая затем и была написана, дабы обосновать право царя Петра самому назначать наследника.

«Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, — скромничала императрица, — я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом; и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано».

Похоже, что на сей раз она и в самом деле не прочь была следовать Петру. Есть сведения, кажется, вполне достоверные, — впрочем, иногда исторический слух важнее исторического факта, — что решение было-таки принято ею и в бумагах ее хранилось завещание, лишающее Павла права наследовать престол. Если так, то ему, глядишь, пришлось бы искать утешения в ироническом замечании французского историка:

«Нравы за время от Петра I до Екатерины II очень смягчились. В

1718 году менее колебались передать палачу неспособного наследника, чем в конце века лишать его прав».

Это — в конце века. Но кто знает, что́ было бы в его середине? Может быть, все же Екатерина пошла бы по пути того, кого звала «дедом», и решилась бы на физическое устранение сына во времена, когда он был ей реально опасен? О, разумеется, лишь в крайнем, самом крайнем, случае, но все-таки? Об отце-то его она не очень плакала, так не нашелся ли бы и здесь новый Алексей Орлов, не случилось бы и здесь н е ч а я н н о г о убийства?

Можно лишь гадать. Крайнего случая не было, и одной из причин того оказались пресловутые черты Никиты Панина — нерешительность и неподвижность. Да и Петр Панин, уйдя в отставку и вовсе утратив реальную власть, главным образом ворчал и ругался.

Дерзости не хватало, и тем не менее ясно, ка́к звучало фонвизинское «Слово на выздоровление»... сказал бы: смело до безрассудства, будь Денис Иванович одиночкой вроде Радищева. Но он стоял за спиною Паниных. И знал их силу.

Знала и Екатерина. Эта сила была — Павел, возможность опереться на его имя, использовать его влияние, пусть пассивное, потенциальное. Возможность использовалась слабо; по словам историка, «наставник Павла и министр Екатерины взаимно стесняли и мешали друг другу», враг и сотрудник императрицы плохо уживались в одном теле, не решаясь, впрочем, вступить и в открытую междоусобицу. Наставник нуждался в министре, черпая свою уверенность в дипломатических его успехах; министр нуждался в наставнике. Когда Панин будет удален от Павла, то, оставшись в больших чинах и у больших дел, министр тем не менее как соперник обратится для Екатерины в н и ч т о.

Но с приближением восемнадцатилетия Павла сила казалась все более реальной.

Я говорю: казалась, а не была, потому что сын для матери был бо́льшим соперником не в тот момент, когда сам мог требовать власти, а прежде, когда этого не мог по малолетству. Зато могли люди, стоявшие за ним.

К этому же времени, процарствовав десять лет, Екатерина уже укрепилась, и совершеннолетие было не самым выгодным шансом, а самым последним. Уже ненадежным.

А все-таки Екатерина боялась. Во дворце вязалась интрига, для нас, для потомков, лишь отчасти вышедшая на свет. Шла борьба, сталкивались две партии, два выводка братьев — двое Паниных и пятерка Орловых. Обе стороны зорко следили за всякой оплошностью противника, и первой допустила ее Екатерина.

Женщина одолела в ней политика. Влюбившись в красавчика Васильчикова, чью руку, кстати сказать, Никита Иванович держал в пику Орловым, она решила отделаться от Григория Орлова и отделалась по принятому ею обыкновению, оказав честь и осыпав милостями. Экс-любовник, еще не подозревающий, что обзавелся неутешительной приставкой, отправлен был в мае 1772 года в Фокшаны с наиответственнейшей миссией: вести мирные переговоры с Турцией и победными дипломатическими действиями увенчать победы оружия.

Мало кому было неясно, что шальная голова «римлянина» для такого дела не годилась. Во всяком случае, Денис Иванович Фонвизин среди таких простаков не обретался.

В эти дни он регулярно и секретно пишет Петру Панину, который недавно сам победоносно воевал против турок и всего полтора года назад отвоевал у них крепость Бендеры (после чего и вышел в отставку). И письма носят характер прямо-таки военных донесений: видно, что Петр Иванович в своем московском отшельничестве не праздно любопытствует, а ждет драки, собирая в руках все, что касаемо государственных дел.

Так вот, Денис Иванович сокрушен: труды обоих братьев, военные и дипломатические, да и собственные его труды, того гляди, пойдут прахом:

«Правда, что мудрено сообразить потребный для посла характер с характером того, кто послом назван: но неужели бог столь немилосерд к своему созданию, чтобы от одной збалмошной головы проливалась еще кровь человеческая. Дело, однако ж, возможное...»

Время спустя Денис Иванович обратит взор надежды уже не к богу, а к обстоятельствам, но только не к императорскому послу:

«Здесь же, по сей *материи,* следует копия с письма графа Г. Гр., и хотя, в самом деле, за будущее ручаться невозможно, однако турецкое изнеможение, вступление австрийцев в общее с нами согласие и самая справедливость дела нашего подает причину надеяться, что мир заключен будет по положенному основанию, каким бы *самодуром* на конгрессе поступлено не было».

Увы! Ближайший сотрудник шефа Иностранной коллегии не зря столь безнадежно писал завоевателю Бендер: дело, которому они отдавали душу, было проиграно, промотано, пропито. Орлов, прискакав в Фокшаны, не только не выполнил инструкции Никиты Ивановича о заключении мира, но, разбушевавшись, стал грозить фельдмаршалу Румянцеву виселицею, задумал было идти прямиком на Константинополь, а потом и вовсе плюнул на переговоры, укатил в Яссы, дабы забыться от многотрудных деяний в празднествах и пирах.

Переговоры сорвались, кровь человеческая, как предсказал Фонвизин, продолжала литься — и понапрасну, ибо в конце концов условия договора вышли далеко не столь выгодными, как предполагалось. Дороговато обошлись России удаль одного царицына любовника и торжество второго — недолгое, ибо уже в марте 1774 года Денис Иванович напишет дипломату Обрескову:

«Здесь у двора примечательно только то, что г. камергер Васильчиков выслан из дворца и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником. Sapienti sat».

Умному достаточно. Началась эпоха Потемкина, начался закат Панина, который не дал себя одолеть Орловым, а безобидного Васильчикова просто приручил. С Потемкиным — не вышло.

Впрочем, пока что, в 1772-м, Григорий Орлов не сдается. Римская его голова была отрезвлена от ясского праздничного тумана вестью о Васильчикове, он бросил пиры, поскакал в Петербург, но был задержан в Царском Селе, к императрице не допущен и даже спроважен в Ревель.

В письме к тому же Обрескову, в письме, стало быть, полуофициальном (не к сестре пишет по-братски и не к Петру Панину — секретно), Фонвизин сообщает об этом вполне благопристойно:

«Князь Григорий Григорьевич Орлов живет до сих пор в Царском Селе, не видав еще государыни. Собирается по первому пути в Ревель, где и дом нанял на шесть месяцев».

Тишь и гладь.

Кстати, князем граф Орлов стал вдруг потому, что, по словам Фонвизина в письме к тому же адресату, «с дозволения ее величества объявил сохраняемый у него несколько лет диплом на достоинство князя Римской империи». Екатерина продолжает провожать в нети, откупаясь.

Короче говоря, торжество Васильчикова вот-вот должно было обернуться торжеством Паниных, однако...

Тут-то Екатерина свою оплошность исправила, и блистательно.

Приближался сентябрь, день рождения наследника, день совершеннолетия его; предстояли празднества, Екатерине никак не выгодные: взрослый сын может радовать сердце некороированной матери, царице он — напоминание об узурпации. И Екатерина предложила отложить торжества на год, до женитьбы Павла.

Павел согласился. Согласился и Никита Иванович, упустив последнюю законную возможность. Да и мог ли не упустить?

Екатерина, в сущности, уже победила, и победу надо было лишь закрепить. Она переменила свой обычай с сыном, стала с ним ласкова, приняла материнское участие в выборе невесты; выбирали из трех принцесс Гессен-Дармшадтских, а выбрали среднюю, семнадцатилетнюю Вильгельмину, после крещения — Наталию Алексеевну (Павел влюбился в невесту и полюбил жену, но она была ему неверна, и в 1776 году умерла, не сумев родить не его ребенка, — в эту пору Екатерине уже не надо было притворяться, ее холодность к сыну была жестокой: горько плачущему Павлу она заметила, что он горюет дольше, чем полагается рогоносцу).

Вернула она и Орловых, Григория с четырьмя братьями. Дело Паниных становилось вовсе худо, и их верный сотрудник и корреспондент Фонвизин с печалью писал любезному другу, сестре Федосье:

«Мы очень в плачевном состоянии. Все интриги и все струны настроены, чтоб графа отдалить от великого князя, даже до того, что, под претекстом перестроивать покои во дворце, велено ему опорожнить те, где он жил. Я, грешный, получил повеление перебраться в канцлерский дом, а дела все отвезть в коллегию. Бог знает, где граф будет жить и на какой ноге...»

Как помним, подумали и об этом («дом позволено ему выбрать любой в целом городе»), но вот она, грустная подоплека монаршей милости.

Однако — дальше:

«Все плохо, а последняя драка будет в сентябре, то есть брак его высочества, где мы судьбу нашу совершенно узнаем.

Князь Орлов с Чернышевым злодействуют ужасно гр-у Н. И., который мне открыл свое намерение, то есть, буде его отлучат от великого князя, то он ту ж минуту пойдет в отставку. В таком случае бог знает, что мне делать, или, лучше сказать, я на бога положился во всей моей жизни, а наблюдаю того только, чтоб жить и умереть честным человеком».

Это отчаяние мало похоже на настроение времен елагинской немилости; тогда сама горечь переливалась в уверенность: «...года через два или через год войду в службу, да не к такому уроду». Постарел, что ли? Да нет, всего-то пять лет и пробежало с тех пор, но слишком тесно связал Денис Иванович свою жизнь с Никитою Ивановичем и слишком многое грозит в случае падения патрона ему, отныне прикосновенному к противникам самой императрицы. И когда Павел наконец женится, когда Панина осыплют дарами и ничего страшного, в общем, не произойдет, тогда Фонвизину, испытавшему, как и его покровитель, крушение высоких надежд, даже полегчает на душе:

«Если б вы точно ведали, в каком положении мы, с самого отъезда вашего, так сказать, по сию минуту находимся, то... пожалели б о судьбе нашей и удивились бы терпению графа Никиты Ивановича... Злоба, коварство и все пружины зависти и мщения натянуты и устремлены были на его несчастие, но тщетно. Богу благодарение! Жребий его решился возданием ему справедливости. Вам, милостивый государь, известно, что, по обычаю, воспитание юного государя оканчивается со вступлением в брак. Эпоха сия у нас настала, и оною умышлено было воспользоваться ради совершенного отдаления гр. Никиты Ивановича от роли, им занимаемой в отечестве нашем. Но сей кризис кончился к славе его» — и далее следует перечень пожалований.

Конечно, это писано все тому же Обрескову, человеку не по-свойски близкому, всего лишь благожелательному коллеге Фонвизина и подчиненному Панина (так что на всякий случай стоит подчеркнуть: «Никита Иванович остался при делах с бо́льшим кредитом, нежели когда-нибудь»; в минуты слабости любят заявлять о своей силе, надежной, как никогда), но слышно и облегчение взаправдашнее. Ждал бог знает чего, того, что вырвалось в вопле-письме, обращенном к сестрице Федосье, но поражение хоть и пришло, однако оказалось не столь всесокрушающим. Победителю хватило ума и осторожности, чтобы, очищая свой дом от незваного, не выбрасывать его за дверь, а проводить с почетом.

УРОК ЦАРЯМ

Незваный, однако, не прочь был хлопнуть дверью.

Много лет спустя декабрист Михаил Фонвизин, родной племянник Дениса Ивановича, вспомнит в Сибири:

«Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Н. И. Панин, брат его, фельдмаршал П. И. Панин[1], княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину Вторую и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие».

Дядю своего ссыльный декабрист называет «редактором конституционного акта» и участником в заговоре.

Далее рассказана история вполне обыкновенная. Один из секретарей Панина, Бакунин, предал заговорщиков; Павел, гневно допрошенный матерью, в испуге покаялся и отдал ей список всех участников. Екатерина будто бы, не взглянув на бумагу, бросила ее в огонь, и тут не обойдясь без обаятельно милостивого жеста:

«Я не хочу знать, кто эти несчастные».

«Она знала всех по доносу изменника Бакунина», — хладнокровно

---

[1] Ошибка: Петр Иванович фельдмаршалом не был.

добавит декабрист. (И тут преемственность: точно такой жест сделают Николай I, не потребовавший от Ростовцева поименного перечисления новых заговорщиков, и Александр II, получивший список визитеров Герцена, — и точно так же сделают лишь потому, что и без того знают.)

Правда, серьезных гонений на сей раз не было: ограничились тайным надзором.

Вокруг воспоминаний спорят: одни, упирая на несообразности, в том числе хронологические, считают их изложением не факта, а слуха; другие полагают, что частных ошибок памяти и не могло не быть, тем более у человека, родившегося пятнадцатью годами позже дней, о коих он рассказывает с чужих слов. Н. Эйдельман, доверяющий воспоминаниям Михаила Александровича, видит подтверждение их достоверности в сочинениях Дениса Ивановича.

В самом деле, в фонвизинской «Жизни Панина» благодарный рассказ о том, как тот передарил четыре тысячи крестьянских душ трем своим секретарям, комментируется многозначительно. Один из секретарей, Убри, умер еще при жизни графа. Второй, то есть сам Фонвизин, «был неотлучно при своем благодетеле до последней минуты его жизни, сохраняя к нему непоколебимую преданность и верность, удостоен был всегда полной во всем доверенности».

А вот и находящийся под подозрением Бакунин:

«Третий заплатил ему за все благодеяния всею чернотою души, какая может возмутить душу людей честных. Снедаем будучи самолюбием, алчущим возвышения, вредил он положению своего благотворителя столько, сколько находил то нужным для выгоды своего положения. Всеобщее душевное к нему презрение есть достойное возмездие столь гнусной неблагодарности».

Следствие не завершено, но ежели исходить из соображений, более, правда, свойственных беллетристу, чем историку: не «было ли?», а «могло ли быть?», то воспоминания племянника могут показаться правдой. Во всяком случае, характер Никиты Ивановича, столь легкомысленно доверившегося негодяю и упустившего новую возможность, даже как бы получает некий завершающий штрих.

Был, однако, заговор или не был, но самое интересное в воспоминаниях — сообщение о конституции, проект которой «был написан Д. И. Фонвизиным под руководством графа Панина». О конституции, исполнявшей давнюю мечту Никиты Ивановича — «ограничить самовластие твердыми аристократическими институциями».

Мечта была и в самом деле давней, со времен жизни в Швеции. Да и попытка ввести «институции» делалась им не в первый раз.

В 1762-м, в дни восшествия Екатерины на престол, Панин преподнес ей проект Императорского совета, долженствующего состоять «в шести и до осми персонах», дабы сии советники и вершили дела государства. Правитель должен был доверяться правительству.

«Сей эпок, — пояснял Никита Иванович, имея в виду «эпок» елизаветинский, — заслуживает особливое примечание: в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей и всяким посторонним, малым приключениям в делах».

И, будто неразумного ребенка, наставлял начинающую правительницу:

«Может ли и партикулярный хозяин управить своим домом, когда он добрым разделением своего домоводства не уставит прежде порядок? И как

искусный фабрикант учреднт свою фабрику, если мастеров не по знанию, но по любви к ним будет распоряжать по станам разных работ?»

Но у молодой царицы была хорошая память. Она помнила, что «разделение домоводства» уже предлагалось Анне Иоанновне, которую и пригласили-то править с тем, чтобы она подписала «пункты», ограничивавшие самодержавие на манер Швеции. Анна обязывалась без верховного совета, без «верховников», не начинать войны, не заключать мира, не вводить новых податей, не жаловать чины выше полковничьего. Был даже план оставить ей занятия одним только двором.

Анна, сперва согласившись, после нашла союзников и пункты порвала. Екатерина (и тут традиция!) ей последовала: подписала панинский проект, но затем надорвала свою подпись, сделав ее недействительной.

Вторая конституционная попытка Панина вкупе с Фонвизиным была куда радикальнее первой. Предполагалось учреждение Верховного Сената, где лишь часть членов должна была назначаться «от короны»; другая избиралась бы дворянством. Сенату отдавалась законодательная власть, императору оставлялась исполнительная. Шла речь и о постепенном освобождении крепостных.

Так замышлялось, если верить Михаилу Фонвизину.

Можно ли верить?

Опять-таки все тут — и основательность, и несообразности. Сама конституция погибла; по рассказу племянника-декабриста, ее список уничтожил другой его дядя, Павел Иванович, ректор университета, когда во время разгрома московских масонов полиция уже шла в его дом с обыском. Осталось лишь введение к конституции, и загвоздка в том, что оно — достаточно убедительно — датируется не началом семидесятых годов, а началом восьмидесятых, концом жизни Никиты Панина.

Короче говоря, как ни велик соблазн реконструкции почти декабрнстских событий (заговор! конституция!), поостережемся быть категоричными. Заговор то ли был, то ли мог быть, а что до конституции, то вот он, тот самый случай, когда важнее не строго-историческое «было ли?», а легкомысленно-беллетристическое «могло ли быть?». Написали Панин с Фонвизиным свою конституцию или только обдумывали, но это самое введение, как его ни именуй, «Завещанием Панина», или сочинением Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах», говорит: конституционные планы были. И добавляет, какие именно.

Бог с ней, с точною датировкой; важнее, что «Рассуждение» — итог фонвизинского содружества с Никитой Ивановичем. Итог величественный...

Хотя создатели его ничуть не намеревались воздвигать себе торжественный монумент. «Рассуждали» они совсем с иной целью: дать руководство к немедленному действию.

Вернее, увы, к замедленному.

Через два года после смерти Никиты Ивановича, в 1784-м, брат его Петр готовит пакет «Его Императорскому Величеству». «Его» — потому что пишет не к Екатерине, а к Павлу. «Величеству» — потому что пакет должен попасть в руки Павла только тогда, когда Ее Величества уже не будет на свете; все боевые моменты безнадежно упущены, осталось ждать естественной кончины ненавидимой узурпаторши.

В пакете вместе с письмом содержится как раз «Рассуждение о непременных законах» и сами эти законы, составленные рукою Петра Ивановича.

«Незапность смерти не допустила Покойного довершить свои намерения, — с торжественной скорбью сообщает он будущему императору через годы, число которых в ту пору еще никому не известно и которые сам он одолеть не сумеет, ибо умрет прежде Павлова воцарения. И продолжает своим, по выражению Вяземского, «замечательно тяжелым слогом». — Однако ж начатое им сохранилось от преследования в самый час смерти всех бумаг скончавшегося вернейшим к нему приверженцем Денисом Ивановичем фон Визиным, к которому брат мой имел полную доверенность, а Господин фон Визин оправдал предо мною собственно как оную, так и подданническую вернейшую свою преданность к Вашему Императорскому Величеству весьма достаточными опытами, ибо он означенное брата моего рассуждение, сохранив со всею верностию, отдал мне коль скоро приехал я в Петербург, то потому и не мог я здесь пропустить без поручения Господина фон Визина в Вашу Монаршую милость и призрение, как человека при том с особливыми способностями к гражданской политической службе».

Передохнем от тяжести генеральского синтаксиса, сохраняющего, впрочем, трудно объяснимую прелесть древности, когда сама затрудненность слога кажется многозначительностью; отметим, что вместе с политическим завещанием своего брата Петр Иванович передает Павлу и его преданнейшего сотрудника.

Это символично: Фонвизин от завещания неотрывен. Он его создатель. Он более, чем исполнитель чужой воли. Пожалуй, даже более, чем соавтор.

«Покойный брат мой, — продолжает генерал, — по последнем выезде в путешествие Вашего Императорского Величества лишился возможности употреблять собственную свою руку на долгое писание, да и голова его перестала уже выносить долгую тиктатуру, для чего оное рассуждение писано рукою фон Визина из преподаваемых словесных только Покойным назнаменований».

Опять-таки, говоря проще (и скучнее), полуумирающий Никита Иванович, жить которому оставалось несколько месяцев, не мог не то что диктовать, но и делать обстоятельные указания. Да и не было в том нужды: не впервые они повстречались и не разнились между собою, как разнятся своевольный завещатель и покорный нотариус.

В каком-то смысле — просто не разнились, и первое лицо «Рассуждения» («я», «мною») выглядит знаком единомыслия и единодушия. Да ведь так и было сказано о Панине и Фонвизине: «одно сердце и одна душа».

Но не один талант. И не одна рука.

Чтобы недалеко ходить, вспомним увещевания Никиты Панина, обращенные к новоиспеченной правительнице Екатерине: «Может ли и партикулярный хозяин управить своим домом?.. И как искусный фабрикант учредит свою фабрику?..» — деловой почерк государственного человека и воспитателя, несомненное умение логически убеждать, прибегая к простым и понятным параллелям (что не убедил, его ли вина?).

А вот то, что «писано рукою фон Визина» и им обращено к другому новоиспеченному (недопеченному пока) монарху, воззвание не к одному рассудку, но к сердцу, не к деловым соображениям, но к чувствам сокровеннейшим, вплоть до религиозных:

«Бог потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага; а дабы сия невозможность была бесконечным знамением его совершенства, то постановил он правила вечныя истины для самого себя

непреложные, по коим управляет он вселенною и коих, не престав быть богом, сам преступить не может».

«Не престав быть богом» — выходит, сочинитель осмеливается ставить условия, при коих бог имеет или не имеет право быть самим собою? Не дерзость ли? Не кощунство?

Не кощунство, нет. И — да, дерзость.

Что до богословия, то в нем издавна существует традиция обсуждать пути божии с точки зрения земных, человеческих понятий о благе, могуществе и премудрости. И если фразы «Рассуждения» все-таки поражают жесткостью интонации, как будто бы не приличествующей беседе верующего с царем небесным, то лишь вот отчего. Прообраз отношения Фонвизина к богу — его отношение к государю.

Сочинитель дерзок, однако не перед богом, а перед тем, кто являет собою «подобие бога, преемника на земле вышней его власти», — уж он-то тем более не может не опираться на законы, основанные на общем благе, «не престав быть достойным государем».

Не для таких назиданий придумывался этот полубожественный титул, «преемник на земле вышней власти». Им тыкали в глаза нижестоящим, объясняя, что царь-полубог не таков, как они, что его власть безгранична. В «Рассуждении» прозвучало совсем иное: полубог — все-таки не бог, и ежели бог может не все, то что же сказать о его земном подобии?

Дерзость в форме наипочтительнейшей.

Дурно и бессмысленно было бы умалять участие Никиты Ивановича в создании «Рассуждения». Но как не заметить, что именно благодаря Фонвизину, прежде всего ему, едва ли не в полной мере мы обязаны рождением не просто законодательного документа, но ярчайшего образца русской публицистики?

Почтенен ум законодателя, однако он исходит из возможностей своего государства, нередко исторически ограниченных в области общественной справедливости; ум и душа литератора способны эти границы преодолеть и, взывая к морали, выношенной всей историей человечества, могут возместить политическую относительность нравственной абсолютностью. И вот в документ вливаются сострадание, пафос, гнев, проклятие...

Затея обратиться к богу как к назидательному примеру — это даже не совет государю, не соображения, «как лучше». Это почти угроза: иначе нельзя, невозможно, не выйдет!

Конечно, Фонвизину и в голову не приходит угрожать. Сама эта мысль его смутила бы и напугала. Угрожать? Кому? Да и зачем? Ведь это писано для Павла, на коего возлагаются такие надежды...

Но и Пушкин возлагал (старался возлагать) надежды на Николая. И он мог начать стихи, доказывая свое право эти надежды лелеять: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю...», однако с неминуемостью его хвала кончалась предвестием хулы, полуугрозой:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Притом это не просто нечаянный взрыв обиды и страсти. Это обдуманная мысль, мысль общая («Горе стране, где все согласны», — восклицал декабрист Никита Муравьев), более того, мысль давняя, восходящая к

восемнадцатому веку, как восходит к нему и стремление певца быть приближенным к престолу — не для милости, а для совета.

«Беда стране...», «Горе стране...». Вот один из истоков этих прорицаний: «Горе государям, которые властвуют над рабами», — изрекает у Гельвеция монарх, по обычаю просветителей иносказательно переселенный на Восток, хотя именно эта мысль Востоку как раз не свойственна. Правда, писатели Просвещения вообще-то охотно заимствовали из восточной литературы суждения о достоинствах идеального монарха, и где, как не в мире абсолютных деспотий, могла возникнуть мечта о таком государе? Ею пронизаны философские поэмы Фирдоуси и Низами, Навои и Джами, однако суждения о том, что подданный не должен быть рабом, там не встретить.

И ему, этому суждению, отзовется из «Недоросля» благородный Стародум:

— Великий государь есть государь премудрый... Слава премудрости его та, чтоб править людьми, потому что управляться истуканами нет премудрости.

Конечно, «Рассуждение» мимо этого пройти никак не могло. И оттого, что сердца авторов (и более всего сердце писателя Фонвизина) терзало зрелище душ, растленных рабством. И оттого, что бесправные рабы, безгласные истуканы, подданные, во всем согласные с монархом, — это беда и горе не только для них самих, но для государства, которому ничто не угрожает более общественной апатии:

«Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государсво, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей».

Невозможно допустить, чтобы слова потайного документа стали известны Княжнину, да и не нужно допущений. Это — в воздухе эпохи, и вот в трагедии «Вадим Новгородский» в ответ на уверение посадника Вигора: «Как прежде, мы горим к отечеству любовью!» Вадим, не смиряющийся с гибелью новгородской вольности, говорит в гневе:

Не словом доказать то должно б — вашей кровью!
Священно слово толь из ваших бросьте слов.
Или отечество быть может у рабов?

Но государство и государи прорицаний и предостережений не хотели. Трагедию Княжнина Сенат порешил «яко наполненную дерзкими и зловредными против законной самодержавной власти выражениями, а потому в обществе Российской империи нетерпимую, сжечь в здешнем столичном городе публично». А Павел, которому назначалось сочинение Фонвизина и Панина, вступив на трон, воспринял заветы воспитателя по-своему. Ему-то самому он трогательно водрузил в Павловске памятник, а с милыми сердцу Никиты Ивановича понятиями обошелся иначе: издал указ, повелевающий вместо «отечества» писать «государство», вместо «граждан» — «жители» или «обыватели»; слово же «общество» не употреблять вовсе. (Примерно так же Николай Второй вознамерится приказать Академии наук, дабы из русского языка было изгнано слово «интеллигент».)

Вот вам и «есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан...».

Священные слова обратились в ругательные, вроде того как полиция воспретила на улицах говорить слова «курносый» и «Машка», которые

могли быть приняты за кличку самого императора и Марии Федоровны.

Но и подобные превращения монархов «Рассуждение» не то что предсказывало, однако имело в виду. Для того, собственно, и писалось.

...После того как дядюшка Стародум выскажется о государе, людях и истуканах, собеседник его, Правдин, тут же подхватит:

— Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать...

— А! — Стародуму не терпится и этому дать свое четкое пояснение. — Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться!

Это призыв к государю быть великодушным. Даже некое уговаривание: оказывается, владеть свободными душами, а не рабами, еще и удовольствие, — так детям подслащивают лекарства.

Таков пафос Просвещения. Великая душа просвещенного монарха — вот средство избавления от зол, пред которым даже все конституционные проекты ничто; энциклопедисты свято верили во всепобеждающий разум, признавали только «судилище разума» (Энгельс), и вразумить, образумить монарха казалось им делом реальным. По крайней мере не безнадежным.

«Велением судьбы, — то ли заклинал судьбу, то ли уверенно утверждал Гольбах, — на троне могут оказаться просвещенные, справедливые, мужественные, добродетельные монархи, которые, познав истинную причину человеческих бедствий, попытаются исцелить их по указаниям мудрости».

Оттого так обрадовались просветители явлению северной Минервы: тому способствовали и удаленность от Екатерины, и естественный самообман людей, жаждуших скорейшего воплощения собственных идеалов, и, наконец, благотворительные действия ее, неравнодушной к признанию Д'Аламбера или Дидро.

Писатели русские были безыллюзорнее.

И они писали утопии — как Херасков, изобразивший в повести «Нума, или Процветающий Рим» философа на троне; как еще прежде него Сумароков, будто бы побывавший, заснувши, в некоей «мечтательной стране». Но, может быть, не случайно утопические эти государства чаще всего были как бы лучезарными позитивами российской реальной негативности, — Сумароков, например, довольно откровенно корил своей мечтою Елизавету и заканчивал сочинение грустно-иронически: «Больше бы мне еще грезилося; но я живу под самой колокольнею: стали звонить, и меня разбудили...»

Живя под державною колокольней, много не нафантазируешь.

Случайно или нет, но и Денис Иванович Фонвизин из многочисленных французских сочинений об идеальных монархах избрал в 1777 году для перевода «Слово похвальное Марку Аврелию» Антуана-Леонара Тома («господина Томаса»), слово хоть и похвальное, но — скептическое.

Не по отношению к самому философу-императору, качества которого прославлены громко и опять-таки — вольно или невольно, а скорее всего именно вольно — полемически по отношению к французскому Людовику и российской Екатерине; оппозиционный смысл был явно открыт читателю, и не зря анонимный рецензент «Санкт-Петербургского журнала» с осто-

рожной откровенностью напоминал, что господин Томас «умышленно написал сатиру на правление своего отечества».

Нет, скепсис коснулся веры в то, что просвещенный монарх — гарантия народного благоденствия. Сама ситуация «Слова» пессимистична: Марк Аврелий умер, и друг его, стоик Аполлоний, вещает над гробом о достоинствах почившего и обращается к его сыну и наследнику Коммоду с мольбою идти стезей отца. Но Коммод едва сдерживается, чтобы не прервать велеречивого старца, назидательные слова падают в пустоту, и наконец...

«Вдруг Коммод, который облечен был в воинскую одежду, копием своим потряс грозно. Все римляне побледнели. Аполлоний поражен был бедствиями, угрожающими Риму. Он не мог окончить слова своего. Сей почтенный старец сокрыл лицо свое покровом. Остановленное шествие погребения паки путь свой восприяло. Народ следовал в изумлении и глубоком молчании. Он познал, что Марк Аврелий весь сокрыт во гробе».

Ни Антуану Тома, ни его переводчику не надо было придумывать предостерегающе-печального финала: за них это сделала история. Люций Аврелий Коммод запомнился Риму и миру жесточайшим деспотизмом.

Панин и Фонвизин надеялись на Павла, они взывали к человеческим качествам государя: «Первое его титло есть титло честного человека...» («Будь на троне человек!» — пожелает и Державин новорожденному Павлову сыну Александру), однако на одну только добродетельность монарха не полагались. Счастливая случайность — только случайность, государству же и народу нужны законы непременные.

Мысль, не им одним принадлежащая, да и не новая. Если Петру Великому она еще не кажется первоочередной и вообще слишком важной, — он сам ощущает себя Законом и может на одном из главнейших указов сделать надпись: «До времени быть по сему», словно собственное время его вечно, — то Екатерина в «Наказе» уже говорит, что законы «ни в какое время не могут перемениться». Государство, таким образом, признается выше государя, законы — надежнее его добрых свойств, и, что важно, на сей раз это признает не сторонний поборник законодательства, а сама монархиня, своими качествами, по распространенной человеческой слабости, весьма довольная.

Паче того воспевают эту мысль и поэты:

Я спросил у него, состоит в чем царска державность?
Он отвечал: Царь властен есть во всем над Народом:
Но Законы над ним во всем же властны, конечно.

Когда юноша Пушкин в оде «Вольность» возгласит владыкам:

Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон, —

это будет отклик если не прямо «Тилемахиде» Тредиаковского, то, во всяком случае, духу восемнадцатого столетия. Второй его половины в особенности.

Да, мысль не новая, общая, — что для сочинения в пользу общего блага упреком быть не может, — однако впервые в России создана столь стройная система правил для государя и государства. И не только стройная; еще и невиданно жесткая.

«Удовольствие, которым государи наслаждаются...» — мельтешит Правдин; кой черт, удовольствие! Тут не до наслаждений, и, надо полагать, император Павел не испытал большого удовольствия, когда из пакета,

завещанного Петром Паниным, узнал что он, самодержец, всем и каждому должен:

«При всякой милости, оказуемой вельможе, должен он весь свой народ иметь пред глазами. Он должен знать, что государственным награждается одна заслуга государству, что не повинно оно платить за угождения его собственным страстям и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы государства, есть грабеж в существе своем и форме. Он должен знать, что нация, жертвуя частию естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому вручает дел правление, и что, следственно, их преступления, им терпимые, становятся и его преступлениями».

И снова, снова, снова:

«Тщетно государь помыслил бы оправдаться тем, что он сам пред отечеством невинен и что тем весь долг свой пред ним исполняет. Нет, невинность его есть платеж долгу, коим он сам себе должен: но государству все должником остается».

Когда-то, судя по порошинским «Запискам», десятилетний наследник заявил:

— Хорошо учиться-та; всегда что-нибудь новинькое узнаешь.

То был урок будущего митрополита Платона, который, толкуя Евангелие, делал вывод, для великого князя нравоучительный: подобно тому, как Христос любил свою паству, «тем и Государям повелевается любить народ свой, врученный ему от Бога, что народ есть паства, Государь пастырь и проч.».

Может быть, желанным «новиньким» была эта истина, может, то, что ученику заодно объяснили, как по-древнееврейски будет «мир вам» — «шелом лахем»... кто знает? Но уж во всяком случае, тому, маленькому Павлу еще ие казалось странным, что государю кто-либо может повелевать...

Платон, учитель закона божия, не выходит из пределов разговора о долге, который надобно исполнить; Фонвизин испытывает ту же мысль критической ситуацией: а что, ежели долг не будет исполнен?.. Он не останавливается перед изображением угрожающей катастрофы: бог, нарушающий свои благие установления, может потерять паству. Дать ей повод — и право — восстать на него:

«Где... нет обязательства, там нет и права. Сам бог в одном своем качестве существа всемогущего не имеет ни малейшего права на наше повиновение... Все право на наше благоговейное повиновение имеет бог в качестве существа всеблагого».

Если бог может оказаться недостоин повиновения, то что сказать о недостойном государе?

«Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры... Тиран, где б он ни был, есть тиран, и право народа спасать бытие свое пребывает вечно и везде непоколебимо».

И — о тирании, заменившей право силою:

«В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, какие на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает, тут дело ясное».

Молодой Пушкин однажды пустил в театре по рядам портрет цареубий-

цы Лувеля с надписью: «Урок царям». И Денис Иванович и Никита Иванович хотели преподать совсем другой урок — а все-таки порою кажется,что блещет не молния разума, но лезвие кинжала.

ДУША И ТЕЛО

Не удивительно ли?

Сторонники монархии — а таковым был не только Панин, но и Фонвизин, никогда не усомнившийся в законности этой формы правления и французскую революцию встретивший с ужасом и отвращением, — угрожают монарху? И взывают к «праву народа»? К крепостиым, что ли? К пугачевщине?

Что касается последнего вопроса — нет, ни в малой мере!

Между прочим, именно с бунтом Пугачева связана была последняя, даже, так сказать, постпоследняя попытка Паниных обрести решающее влияние.

Еще до того как хитроумнейшая Екатериа уладила дело с женитьбою сына и спровадила опасного наставника, подножие ее трона всколыхнула сила уже не аристократически-оппозиционная, но народная. Мощь Пугачева росла, армия занята была турецкой кампанией, мирные переговоры, сорванные отставленным любовником, тянулись нелепо и неопределенно, и когда в январе 1774 года царица спешно отозвала из Турции Потемкина, ею руководило ие только любострастие: она нуждалась в сильном помощнике, которым Васильчиков ие оказался.

Екатерина была в смятении.

Вдобавок ко всему в апреле внезапно умер главиокомандующий войсками, воюющими против Пугачева, Бибиков; кем заменить его, было неясно (собирались — Суворовым, да своевольный Румянцев не отпустил его из армии). Дошло до того, что императрица «объявила свое намерение оставить здешнюю столицу и самой ехать для спасения Москвы и внутренности Империи, требуя и настоя с великим жаром, чтобы каждый из нас сказал ей о том свое мнение».

Это пишет брату Петру Никита Панин, информируя его о том, чему сам свидетель и участник, и выражая уверенность, что «мой фон-Визин» держит московского отшельника в курсе прочих дел.

Дальновидный Никита Иванович, конечно, отговаривал Екатерину, уверяя, что отъезд ее будет бедственным «в рассуждении целости всей Империи», но иичуть не забывая о целях собственных, а в письме к брату честил всех, кто не поддерживает его или поддерживает худо: «окликанных дураков Разумовского и Голицына», просто «дурака Вяземского», «скаредного Чернышева». Особо приглядывался опытный дипломат к новоприезжему Потемкину и еще не прогнанному Васильчикову: «Ея Величество... весьма против меня подкрепляема была новым нашим фаворитом. Старый с презрительною индифферентностию все слушал, ничего не говорил, и извинялся, что он не очень здоров, худо спал, и для того никаких идей не имеет».

Как видим, не имеющий идей Васильчиков действительно нуждался в замене.

Наконец Никита Иванович выбрал момент для удара:

«...я решился на следующий поступок. После обеда взял нового фаворита особенно и, облича дерзость его мыслей, которой ни лета, ни практика ему

не могут дозволить, и повторя резоиы, мною сказаиные, угрожающие разрушением Империи, объявил ему, что на отвращение сего, я сам решился ехать против Пугачева или ответствовать за тебя, мой любезный друг, что ты при всей своей дряхлости возьмешь на себя спасать отечество, хотя бы то надобио было тебя на иосилках нести...»

И дряхлость и носилки были всего лишь риторическими фигурами: пятидесятитрехлетний Петр немедля отвечал брату в выражениях, приличных случаю: «Падите к ногам моей Августейшей Государыни, омойте их вместо меня слезами», однако тут же самым деловым образом выдвинул восемь пунктов, один другого решительнее, первый из которых требовал «полной мочи и власти» не только над воинскими командами, ио и над всеми городами и жителями областей, коих возмущение коснулось.

В ярости Екатерина писала Потемкину:

«Увидишь из приложенных при сем штук, что господин граф Панин из братца своего изволит делать властителя, с беспредельной властью, в лучшей части империи, то есть московской, нижегородской, казанской и ореибургской губернии, a sous entendus[1] есть и прочие. Что если я подпишу, то не токмо князь Волконский будет огорчен и смещен, но и я сама ни малейше не сбережена, но пред всем светом — первого враля и мие персонального оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всех смертных в империи хвалю и возвышаю. Вот вам книги в руки, изволь читать и признавай, что гордые затеи сих людей всех прочих выше».

Ярость была почти бессильной. Правда, кое-что у Паниных, — главным образом благодаря потемкинской энергии, — отторговали; Московскую губернию оставили под началом преданиого государыне Волконского и все-таки призвали против Пугачева Суворова, что означало раздел власти, хоть он формально и подчинялся Петру Панину.

Так или иначе, Панины, казалось, переживали свой звездный час. Отставник вернулся в службу с явным повышением — не в чинах, но в положении.

«Дряхлый, немощный старик, — иронически комментировал недоброжелательный биограф братьев Паниных, — мгновенно исцелел и неизмеримо вырос в общественном миении: он вызывался на высокую чреду *спасителя отечества,* когда ему грозила страшная опасность. Стоит припомнить титул, принятый Паниным в его воззваниях, чтоб судить о степени его власти в это время. Вот титул этот: «Войск Ея Императорского Величества, всемилостивейшей государыии моей, Екатерины-Вторыя, императрицы и самодержавицы всероссийския, поспешающих со всех сторон на погубление измениика, государственного врага и возмутителя Емельки Пугачева, со всеми его злодейскими единомышленниками, верховный начальник, генерал и кавалер граф Пании, по данному мне от Ея Величества полномочию, силе и власти, объявляю...»

Однако сразиться с «Емелькою» Панину не пришлось: он не успел еще доехать до места, как полковник Михельсон разбил Пугачева и тот был пленен; да и Суворов добыл лишь сомнительную честь конвоировать обезвреженного вождя восставших. Даже почести, полагающиеся спасителю отечества, достались Петру Ивановичу случаем, а могли и не достаться: его курьер, посланный в Петербург с вестью о победе, лишь немногим обскакал

---

[1] Подразумевается, что *(фр.)*.

курьера Павла Потемкина, племянника нового фаворита, служившего начальником розыскной комиссии по пугачевскому мятежу.

Чуть-чуть было не сталось иначе; Панин бушевал, являя свой крутой нрав и грозя поручику своей армии, якобы виновному в задержке, повесить его рядом с Пугачевым (мир тесен, и поручиком этим был не кто иной, как молодой Гаврила Романович Державин).

Власть тем не менее еще сохранялась в руках Петра Панина, он оставался начальником вверенных его попечению губерний, но время шло, работая, как всегда, на Екатерину и на стремительно укрепляющегося Потемкина, пока в августе 1775 года «спасителя отечества» не уволили от дел. Екатерина, в очередной раз не изменив своему обычаю, обильно позолотила пилюлю для своего «персонального оскорбителя»: загодя до отставки, по приличному случаю наконец-то заключенного с Турцией Кучук-Кайнарджийского мира, были ему пожалованы: похвальная грамота, меч, украшенный алмазами, алмазные крест и звезда ордена святого апостола Андрея Первозванного и 60 тысяч рублей «на поправление экономии».

Нет, разумеется, к пугачевщине и любому другому движению масс авторы «Рассуждения о непременных государственных законах» относились точно так же, как ненавистная обоим императрица; иначе и быть не могло. Народное возмущение было для них ужаснейшей из форм «анархии», которой, как страшным и логическим концом, запугивали они неуступчивого деспота:

«Деспотичество, рождающееся обыкновенно от анархии, весьма редко в нее опять не возвращается».

И «народ», имеющий законное право спасти свою вольность от нарушившего «общественный договор» тирана, отнюдь не то, что мы под этим словом разумеем. И вольность не та...

— Ваша воля... только надобно и себе полегчить.

— Как это себе полегчить?

— А так полегчить, чтобы воли себе прибавить.

— Хоть и зачнем, да не удержим того.

— Право, удержим!

— Долго ль нам терпеть, что нам головы секут? Теперь время, чтоб самодержавию не быть!

— Батюшки мои! Прибавьте нам как можно воли!

Выразительный разговор, не так ли? Но чей? Яицких казаков? Оренбургских крестьян? Нет, князей и графов, замысливших урезать императорскую власть; «верховников», норовящих уломать Анну Иоанновну.

Об истинно народной воле и речь не идет.

«Все проекты построены на мысли, что дворянство — единственное правомочное сословие, обладающее гражданскими и политическими правами, настоящий народ в юридическом смысле слова... Народа в нашем смысле слова в кругах, писавших проекты, не понимали или не признавали» — это сказано Ключевским именно о «верховниках». При Екатерине кое-что в этом смысле менялось, прежде всего менялось само дворянство, расширяясь за счет жалованного, но и о ней мог сказать Герцен:

«Екатерина II не знала народа и сделала ему только одно зло; народом ее было дворянство».

А гораздо ранее Радищев в своем «Путешествии», в главе «Любани», скажет о крепостных, что они «в законе мертвы, разве по делам уголовным.

Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей».

Никита Иванович Панин, как и Екатерина, подлинного народа не знал. В отличие от нее, он хотел ему блага — хотя бы потому, что хотел блага государству; декабрист, племянник Дениса Ивановича, запомнил, что Никита Панин стоял за постепенное освобождение крестьян. Но и для него народом в смысле юридическом и политическом было дворянство: «Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства...» (Михаил Фонвизин), и их с Денисом Фонвизиным «Рассуждение» отразило эту черту — не чью-то лично, а черту времени.

Вот к праву какого «народа» взывали они, честные и последовательные сторонники идеи монархии; сторонники и д е и, формы правления, а отнюдь не л и ц а.

Это для тогдашней России принципиально новое сознание, ибо пока еще живет, по словам того же Ключевского, «вотчинный взгляд на государство» как на фамильную собственность, на государя — как на хозяина с правами и без обязанностей, на подданных — как на холопьев, а не граждан. Повторюсь: для нового сознания государство выше государя, монархия выше монарха, — стало быть, им, монархом, можно и должно пожертвовать в случае его злонравия ради чистоты идеи, ради общего блага: мысль, для любого конкретного правителя весьма неуютная, отчего Екатерина, высказав в «Наказе» благие мысли, не торопится их воплощать, — они ей могут выйти боком.

Это обстоятельство и рождало между монархом и честными сторонниками монархической идеи вечное взаимное неудовольствие; по этой причине означенное сознание так и осталось уделом лучших из представителей верхов, самим государственно-самодержавным организмом так и не усвоенное; оттого русские цари предпочитали людям идеи людей случая, лести и беспринципности. «Припадочных», по словцу Никиты Панина.

Так будет в российском самодержавии до самого его конца, и еще во второй половине девятнадцатого столетия великолепно признается один из холопов правительства:

— Я становлюсь совершеннейшим не монархистом, а Романистом...

И добавит в пояснение новоизобретенного термина: «Романовы».

Пожалуй, впрочем, «романисты» — это еще слишком общо. Желательна бо́льшая конкретность, и Николаю нужны «николаисты», Александру — «александристы», Екатерине — «екатеринисты»: термины не более неуклюжие и причудливые, чем «цезарист» или «бонапартист». Идея личной неограниченной власти отражается в них куда откровеннее, чем в понятии «монархист». И личная преданность ставится куда выше преданности идее.

«Государь есть первый гражданин народного общества...» — старался Радищев устранить разрыв между хозяином и вотчиною, вкоренить мысль о необходимости в государстве общества, с о о б щ е с т в а граждан.

Государь есть «душа политического тела», — к той же цельности общества, неразрывного, как тело и душа, звало и «Рассуждение о законах». Звало с тем большей страстью, что создатели его живописали, как дурная душа растлевает тело.

«Развратная государыня развратила свое государство»; эти слова Пушкина — будто цитата из «Рассуждения»:

«...Подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному *любимцу*... В таком развращенном положении злоупотребление самовластия восходит до невероятности, и уже престает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен».

Фаворитизм — вот idee fixe «Рассуждения», и это словно бы удивительно для сочинения, посвященного общим законам, а не частным страстям. Даже как бы несколько пикантно, что ли. Во всяком случае, так эта тема порою и воспринимается, и даже хлесткие слова Герцена: «...историю Екатерины II нельзя читать при дамах» — дань этому восприятию.

Можно читать, ничего, не страшно, ибо речь о государственной жизни, а не о половой патологии. Пылкая дама Екатерина Алексеевна имеет полное право завлекать в свой альков кого ей вздумается, это не очень интересно или интересно с определенной точки зрения; общеинтересна, однако, способность государства воспринимать, как катаклизм, смену хорошего любовника отличным. Вернее, неспособность государства не реагировать на физиологические нужды государыни. А коли так, ничего не поделаешь: быт женщины, оказавшейся на виду истории, — часть исторического бытия, он не освещен интимным ночником, а высвечен лучом резким и беспристрастным.

«Введен был в вечеру Александр Матвеевич Мамонов на поклон, — добросовестно и буднично записывает в своем «Дневнике» статс-секретарь Екатерины Храповицкий, и не слишком хитрый механизм дворцовых перемен открывается нашему взору. — Чрез Китайскую введен был Мамонов в вечеру... Притворили дверь. Мамонов был после обеда и по обыкновению — пудра... Возвратился князь Григорий Александрович, коему Александр Матвеевич подарил золотой чайник с надписью: plus unis par le coeur que par le sang»[1].

Так вводится в историческое бытие полубезвестный красавец Дмитриев-Мамонов (между прочим, родственник Фонвизина по материнской линии: мать Денниса Ивановича была той же фамилии), и вводят его по накатанной дорожке; всё почти ритуально, от пути в покои императрицы до выражения благодарственных чувств Потемкину, уже пребывающему в роли «почетного фаворита».

Это год 1786-й; двумя годами позже Храповицкий запишет слова императрицы о Мамонове, который пожалован в генерал-адъютанты с чином генерал-поручика: «Он верный друг, имею опыты его скромности. Мой ответ, что новые милости потщится он заслужить новыми заслугами».

Тоже — обыкновенно, привычно, заведено.

Правда, год спустя идиллия шестидесятилетней Хлои и тридцатилетнего Дафниса будет нарушена: «После обеда ссора с графом Александром Матвеевичем. Слезы. Вечер проводили в постеле... Сказывал З. К. Зотов, что парнек считает житье свое тюрьмою, очень скучает, и будто после всякого публичного собрания, где есть дамы, к нему привязываются и ревнуют».

Захару Зотову как не верить? Он камердинер императрицы и нагляделся

---

[1] Более едины сердцем, чем кровью *(фр.)*.

на «пареньков», — это, конечно, его словцо, его служебный лексикон, его безупречная осведомленность:

«С утра не веселы... Слезы. Зотов сказал мне, что паренька отпускают и он женится на кн. Дарье Федоровне Щербатовой».

А еще через деиь, 20 июня 1789 года, состоится такой разговор.

Екатерина завершает утренний туалет; верней сказать, горничные завершают его, хлопоча иад сложной прической царицы, а она, как и всегда за «волосочесанием», процедурой ох какой некраткой, занимается делом. Порою пишет, даже сочиняет, порою читает или слушает чтение; сейчас отдает распоряжения Храповицкому.

На ней белый пудромант, накидка, охраняющая платье от въедливой французской пудры, и из туалетного зеркала в золотой раме на нее испытующе глядит дама — она удовлетворенно отмечает это — приятная, в меру полная, умеющая, как никто, обворожить величавостью и одновременно простотою обращения... но, увы, уже не умеющая скрывать своего возраста. Что делать, об эту пору Екатерине, как сказано, шестьдесят, а в восемнадцатом веке еще и представить себе не могут не только косметические чудеса, которые двумя столетиями позже станут превращать безнадежных старух в юных прелестниц, но даже искусство рядового нынешнего дантиста.

Лев Николаевич Толстой попробует увидеть внешность немолодой Екатерины как бы глазами Александра Павловича и даже ему, любимому внуку императрицы, сообщит не то что нелюбовь к бабке, но — физическое омерзение. Расскажет о мутных, усталых, почти мертвых глазах, о склизких пальцах с неестественно обнаженными ногтями, больше того, о дурном запахе, пробивающемся сквозь стойкий аромат духов, и все это — сердитый толстовский домысел, кроме одного. «Улыбающийся беззубый рот», — скажет Толстой. Да, Екатерина беззуба, и сама улыбка, которой она привыкла смолоду чаровать людей, сейчас даже подчеркивает этот изъян. Она стара.

Слева от нее, чуть поодаль, почтительно отражаясь в зеркале и ловя при посредстве венецианского стекла царицын взгляд, стоит Александр Васильевич Храповицкий... из добросовестности и для полноты картины опишем и его. Он тучен, отчего не в меру потлив, но тем не менее весьма скор на ногу, ежели надобно срочно исполнить повеление императрицы; оба эти качества, и огорчительное и похвальное, ею не раз отмечены. От первого она советует лечиться обливаниями, относительно же второго любит пошучивать, что должна Храповицкому за сношенные им башмаки... Екатерина, кстати, вообще благодушна с окружающим ее низшим людом: терпит скверного повара, сквозь пальцы глядит на вороватость дворни, да и Храповицкому извиняет его стыдноватый грешок: Александр Васильевич пьет горькую, отчего, если императрице случится потревожить его в ночное время, спешит пользоваться ее советом, правда, с целью особой: обливается водою, дабы сбить хмель.

Итак, императрица сидит за туалетом, статс-секретарь стоит с бумагами для докладу, и между ними беседа.

— Слышал ли ты, Александр Васильич, историю здешнюю? — спрашивает Екатерина.

Храповицкому незачем чиниться, он знает не только то, о чем идет речь, ио и то, что отныне сей предмет уже дозволен для разговору, и отвечает

с едва приметным деликатным вздохом; вздох как бы и есть, но его как бы и нету, то ли секретарь сочувствует госпоже, то ли, на случай, если сочувствия не ждут и могут осердиться, он просто задержал из почтительности дыхание, — понимай как знаешь:

— Слышал, ваше величество...

— Я ведь с ним давно не в короткой связи. — В словах императрицы и гордая уязвленность и бабья обида. — Он уж восемь месяцев как от всех отдалялся. А примечать в нем перемену стала, как завел свою карету.

— Да, ваше величество, придворная непокойна, — уклончиво отвечает Храповицкий. Екатерина в упор ловит в зеркале его ускользающий взгляд. Ей уже не до экивоков:

— Он сам на сих днях проговорился, что совесть мучит! Его душит эта его любовь... его двуличие... Но когда не мог себя преодолеть, зачем не сказать откровенно? Ты подумай, Александр Васильевич, — год, как влюблен! Год! Буде бы сказал зимой, то полгода бы прежде сделалось то, что третьего дня. Нельзя не вообразить, сколько я терпела!..

Глаза Екатерины наполняются слезами, но она жестом удерживает едва не вырвавшееся испуганное утешение секретаря:

— Бог с ним! Пусть будут счастливы. Я простила им и дозволила жениться!

...В точности этого диалога еще меньше сомнений, чем в том, что был в Царском саду между Никитой Ивановичем Паниным и Денисом Ивановичем Фонвизиным. Тот восстанавливался десятилетия спустя, этот записан по горячему следу самим Храповицким, обстоятельным протоколистом слов императрицы... нет, на сей раз, кажется, всего только страдающей женщины.

Вернемся к первозданности документа:

«...Бог с ним! Пусть будут счастливы. Я простила их и дозволила жениться! Ils devient être extase, mais au contraire ils pleurent[1]. Тут еще замешивается и ревность. Он больше недели беспрестанно за мною примечает, на кого гляжу, с кем говорю? Cela est etrange[2]. Сперва, ты помнишь, имел до всего охоту, une grand facilité[3], а теперь мешается в речах, все ему скучно и все болит грудь. Мне князь зимой еще говорил: Матушка, плюнь на него, и намекал на кн. Щербатову, но я виновата, я сама его пред князем оправдать старалась. Приказано мне заготовить указ о пожаловании ему деревень, купленных у князя Репнина и Чебышева 2250 душ... Пред вечерним выходом сама Е[е] В[еличество] изволила обручить графа и княжну; они, стоя на колеиях, просили прощения и прощены».

23 июня:

«Подписали указы о деревнях и 100 т. из Кабинета. Я носил. Он признателен, не находит слов к изъяснению благодарности, говорил сквозь слезы. Сама мне сказывать изволила: он пришел в понедельник (18 июня), стал жаловаться на холодность мою, и начинал браниться. Я отвечала, что сам он знает, каково мне с сентября месяца и сколько я терпела. Просил совета, что делать? Советов моих давно не слушаешь, а как отойти, подумаю. Потом послала к нему записку pour une retraite brillante: il m'est venue l'idée

---

[1] Они должны быть в экстазе, однако, напротив, плачут *(фр.)*.
[2] Это странно *(фр.)*.
[3] Большую легкость *(фр.)*.

du mariage avec la fille du conte de Brusse[1]... Брюс будет дежурный, я дозволила ему привести дочь; ей 13 лет, mais est deja formée, je sais celá[2]. Вдруг отвечает дрожащей рукой, что он с год как влюблен в Щербатову и полгода как дал слово жениться».

«Мы, — писал Монтень, — гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на жену какого-то ремесленника, нежели большого вельможу, внушающего нам почтение своей осанкой и неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни».

Разумеется, так; вдобавок и время, превращающее будни в историю, набрасывает на них туманный флер, и нам сегодня трудновато представить, что блестящая княгиня Дашкова может оказаться героиней уморительной, мещанской, «коммунальной» истории:

«Сообщение Софийского Нижнего Земского суда в Управу Благочиния столичного и губернского города Святого Петра от 17 ноября, 1788 г.: Сего ноября с 3-го в оном суде производилось следственное дело о зарублении минувшего октября 28-го числа на даче Ея Сиятельства, Двора Ея Императорского Величества штатс дамы Академии Наук Директора, Императорской Российской Академии Президента и Кавалера Княгини Екатерины Романовны Дашковой, принадлежавших Его Высокопревосходительству, Ея Императорского Величества обер-шенку, сенатору действительному и кавалеру Александру Александровичу Нарышкину голландских борова и свиньи, о сем судом на месте и освидетельствовано и 16 числа по прочему определено как из оного дела явствует: Ея Сиятельство княгиня Е. Р. Дашкова, зашедших на дачу ея, принадлежавших Его Высокопревосходительству А. А. Нарышкину двух свиней, усмотренных яко-б на потраве, приказала людям своим загнав в конюшню убить, которыя и убиты были топорами...» — и т. п.

Как ни утверждала Дашкова, что свиньи потравили цветов стоимостью в шесть рублей, правый суд ее-таки оштрафовал. А Нарышкин, не утихомирясь, кричал, тыча пальцем в сторону краснолицей княгини: «Она еще в крови после убийства моих свиней!»

Но, с другой стороны, цари и их приближенные настолько в наших, нынешних глазах утратили ореол избранников бога, что чаще приходится делать над собою усилие, чтобы видеть их обыденную жизнь не более предвзято, чем быт человека простого, просто человека. Так и в истории с Мамоновым. Нужно с неохотою миновать ряд вопросов, естественно возникающих у нашего современника и не возникавших у людей восемнадцатого века: отчего, например, влюбившийся в княжну фаворит должен просить прощения у императрицы? Отчего ее прощение нам рисуют как милость? (Подобным вопросом заинтересуется позже и Щедрин: почему орел простил мышь? Почему не мышь простила орла?) И, лишь миновав эти вопросы, призвав на помощь всю свою объективность, мы увидим в любовной хронике Екатерины немало по-своему трогательного.

Понятного по крайней мере.

Что говорить, скверно покупать любовь, всегда было скверно, но царица

---

[1] Для блестящего отступления: мне пришла мысль о браке с дочерью графа Брюса *(фр.)*

[2] Но она уже созрела, я это знаю *(фр.)*.

и сама ведь влюбляется, сама ведет себя как женщина ревнующая и страдающая, з а в и с я щ а я о т л ю б в и. Не был же, в конце концов, Денис Иванович Фонвизин суров к старухе, купившей его отца, обошел суть ее поступка достойным умолчанием, а самого родителя даже возвеличил за этот подвиг самопожертвования. Если вслушиваться в интонации Екатерины, можно и пожалеть ее. Вон как она по-женски самоутверждается, уверяя, что Мамонов изменил из ревности к ней, стало быть, все-таки из любви. Как лукавит, делая будто бы широкий жест: предлагает разлюбившему любимцу жениться на дочери графа Брюса, а той пока всего только тринадцать, — не надежда ли это до времени удержать Мамонова при себе?

Сравнительно невинно выглядит пока то, что Фонвизин проклял в «Рассуждении» как порабощение государя его любимцем. И если поэты призывают: «Будь на троне человек!» — то, казалось бы, отчего и царям не воззвать к поэтам: дозвольте уж нам, господа сочинители, о с т а в а т ь с я на троне людьми! Дозвольте иметь свои человеческие слабости.

Нет. Не имеют владыки права на это. Именно они-то и не имеют. Пока не взнузданы законом.

Между прочим, трогательное прощание Екатерины с Мамоновым вдруг оказывается не таким уж и трогательным. 18 июня паренька решено отпустить, 20-го он обручен с княжной Щербатовой, а, оказывается, претендент уж не только высмотрен, но и известен всеведущему камердинеру:

«19. Захар подозревает караульного секунд-ротмистра Пл. Ал. Зубова и что дело идет через Анну Никитишну, которая и сегодня была с 3-х часов после обеда».

Дело и пошлó — тем же заведенным порядком и с непременным участием Анны Никитишны Нарышкиной, статс-дамы, которая была поверенной личных тайн Екатерины. Сводней, проще говоря. «Потребовали перстни и из Кабинета 10 т. рублей... Десять тысяч я положил на подушку на диване. Отданы Зубову и перстень с портретом, а другой в 1000 р. он подарил Захару» (знает, кому дарить: умен).

И тут уже становится не до сочувствия слабостям влюбленной старухи.

Октябрь 1789 года. «Пожалованы: Суворов Графом Рымникским, Платон Ал. Зубов в Корнеты Кавалергардов и в Генерал-Майоры».

Соседство хоть куда...

Февраль 1790-го. «Надет орден Св. Анны на Пл. А. Зубова».

1793, июль. «Пред обеденным столом пожалован графу (он уж и граф! И куда скорее Суворова. — *Ст. Р.*) Пл. Зубову портрет Ея Величества и орден Св. Андрея... Подписаны у Самойлова указы: о бытии графу П. Зубову в должности Генерал-Губернатора Екатеринославского и Таврического».

Хозяином огромного края сделан паренек двадцати шести лет (на тридцать восемь лет моложе императрицы), отнюдь не отличающийся познаниями; «дуралеюшкою Зубовым» именует его сдержанный Храповицкий. Разумеется, не менее стремительно сыплются милости и на все зубовское гнездо, на братьев его Валериана, Дмитрия, Николая (это он, Николай, в роковую ночь первым ударит императора Павла золотою табакеркою в висок). И любовное безумие Екатерины становится все опаснее для государства — всего лишь потому, что на место легкомысленного и

галантного Мамонова, занятого искусствами и не претендующего на занятия государственными делами, пришел «Платоша», дико невежественный, властолюбивый и жестокий.

(Занятно, что при этом Екатерина продолжает думать, будто, меняя в постели пареньков, благодетельствует государству. Елизавета, та была простодушнее; она жарко молилась богу, прося его указать, в каком из гвардейских полков найдет она наиболее талантливого любовника; эта корит предшествовавшую императрицу за то, что любимец ее Разумовский был не из дворян и, значит, недостаточно готов для государственного дела. Платона же Зубова искренне считает гением.

Летописец Храповицкий записал остроту императрицы: «За туалетом зашла шутка о Юпитеровых превращениях; замечено, что это была удачная отговорка для погрешивших девок».

Шутка хорошая, любимая — через четыре года в записях Храповицкого она появится вновь — и коварная: Екатерине тоже слишком часто приходилось прикрывать высшими оправданиями низменные поступки.)

Одним словом, северная Минерва оказалась беспомощной перед пустым случаем.

«Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? — спрашивали авторы «Рассуждения», нелицемерно пекущиеся о независимости монарха. — Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди?»

Самодержец, коего самого держат, — как каламбур это слишком дешево перед ценою, которой он обходится стране. Фонвизин и Панин обнаруживают здесь редкостную проницательность относительно серьезнейшей болезни русского общества: нет привычки к вольности, нет традиций уважения к ней, даже к собственной. Они зовут государя к самоуважению как к форме духовной и политической независимости.

Отсутствие боязни общественного мнения (а Екатерина прошла путь от потребности считаться с тем, что скажут о ней подданные или иностранцы, до этой самой безбоязненности) — лишь видимость полной освобожденности. На самом деле это проявление психологии рабства, которая никогда не бывает достоянием одних только низов. Ею непременно заражены и верхи. Государь, властвующий над рабами и весьма тем довольный, сам легко становится рабом — страстей своих, подозрений или любимцев. Он даже и не перестает им быть: его рабское сознание, то есть неуменне видеть в человеке существо, рожденное, дабы быть свободным, лишь ищет формы проявления. И находит, конечно: случаев для того много.

«Развратная государыня развратила свое государство» — так; но и государство, построенное на неуважении к свободе, развратило свою государыню, не умея сдержать уздою закона ее страсти, в жизни частной если и не похвальные, то далеко не столь разрушительные.

Сетовать ли: уж таков государь? Отчего бы и не посетовать, но главное — то, что он имеет возможность быть таковым; вот беда государства, беда общая и общественная.

— Я родился свободным и хочу умереть свободным!

Кто способен изречь пылкую эту тираду? Конечно, не менее пылкий римский республиканец, карбонарий или поклонник Жан-Жака Руссо, стоящий на том, что всякий человек, без разбору, родится свободным и для свободы? А

изрек ее некий полузабытый монарх — и в назидание собственному министру, который уговаривал его подписать закон, монарху не угодивший.

Самодержавный якобинизм, — заметил на сей счет Герцен, и можно только добавить, что такая свобода сама по себе обращает в рабство. Не только всех и всякого, кроме возжелавшего ее венценосца, — нет, и его самого также.

Когда говорят, что полубезумный Павел сеял в отечестве смятение и ужас, это правда — такая же, как пушкинские слова о Екатерине, развращавшей свое государство. Но, как сказано, это оно, несчастное отечество, лишенное непременных законов, сперва позволило ненавидящей самовластительной матери не допустить к трону наследника устраненного ею отца, неутихающей своей неприязнью и вполне материальной угрозой его жизни вызвать в нем душевную болезнь, а уж после потакало его воспаленному нраву. Потакало поневоле, тем, что не умело, не имело силы, не привыкло противостоять.

Да, тираны сами оказываются жертвами тиранического порядка, не ими установленного, — вот беда истории, в частности и российской.

Государь может быть по натуре жесток, злопамятен, мстителен — это худо. Развратен — худо и это. Даже безумен — что может быть хуже? Но все это если не полбеды, то хотя бы еще не вся беда, когда находятся силы взнуздать твердыми общими установлениями частную злобность, частную распущенность или — что, понятно, труднее — оградить от разрушительных последствий поврежденные частные нрав и ум.

Когда же этого нет, безнадежно взывать: «Будь на троне человек!», как ни понятно-прекрасен этот пиитический порыв. Ибо если самодержец и послушается, если чаша его добра опустится до земли, а чаша зла взовьется до поднебесья, то и на этой легчайшей чаше найдется ядовитая крупинка, которая, не имея вовне противодействия и противоядия, может причинить несчастие подданным.

Впрочем, и это «если послушается» утопично не менее, чем державинский призыв к младенцу Александру.

Плутарх рассказывал:

«Когда царь Эвмен прибыл в Рим и сенат принимал его с чрезвычайным радушием, а первые люди государства наперебой искали его дружбы, Катон не скрыл недоверчивого и подозрительного отношения к нему. Кто-то ему сказал: «Это прекрасный человек и друг римлян». «Возможно, — возразил Катон, — но по самой своей природе царь — животное плотоядное»...

Все взаимоопределено, здоровье души и здоровье политического тела, и недаром панинско-фонвизинское «Рассуждение» венчается великолепным и обширным периодом, изображающим, в каком плачевном состоянии государство достанется Павлу, — таким и достанется, в этом авторы, на Екатерину не надеющиеся, были убеждены. И в каком оно досталось не только Павлу, но и преемнику его Александру; Никита Муравьев оттого и мог смело использовать сочинение Панина и Фонвизина для своей декабристской конституции.

«Теперь представим себе государство, объемлющее пространство, какового ни одно на всем известном земном шаре не объемлет и которого по мере его обширности нет в свете малолюднее; государство, раздробленное с лишком на тридцать больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди большею частию по нужде, в

другом большею частью по прихоти; государство, многочисленным и храбрым своим воинством страшное и которого положение таково, что потерянием одной баталии может иногда бытие его вовсе истребиться; государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели...».

Даже презрительные слова о душевном скотоподобии бунтовщика Пугачева напоены ядом, назначенным Екатерине: это под ее началом страна чуть не оказалась беззащитною в отношении внутренней безопасности. Что до самого Пугачева, то нельзя сомневаться, что Панины и Фонвизин равно ненавидели его; но можно усомниться в их презрении к нему. Когда Петр Панин, приказав доставить к себе пленного самозванца, сурово спросил его: «Как же смел ты, вор, назваться государем?» — тот, играя словами, отвечал ему дерзко: «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то летает». И «спаситель отечества» не погнушался ударить Емельку по лицу до крови и вырвать клок бороды — у беззащитного!

Пушкин, пересказав этот эпизод, замечает: Панин сделал это, «заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора». То есть это удар от бессилия, ибо расправа всегда бессильна перед словом. У них силы разного характера, одна другой неподвластна.

Еще одно неизбежное противоречие человека восемнадцатого века, даже из числа лучших; одно из множества противоречий, которые здесь, в картине, крупно написанной создателями «Рассуждения», доведены до масштаба государственного, российского, «от Белых вод до Черных».

Дочитаем длинную эту цитату:

«...Государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царския особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где никоторое не имеет никаких преимуществ и одно от другого пустым только именем различается; государство, движимое вседневными и часто друг другу противуречащими указами, но не имеющее никакого твердого законоположения...»

Вспомним: «При чересчур обильном законодательстве полное отсутствие закона».

«...Государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьею над человеком другого состояния, где каждый, следственно, может быть завсегда или тиран, или жертва; государство, в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборонять отечество купно с государем и корпусом своим представлять нацию, руководствуемое одною честию, *дворянство*, уже именем только существует и продается всякому подлецу, ограбившему отечество; где знатность, сия единственная цель благородныя души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавером, поглотившим всю пищу истинного любочестия...».

Когда записываются эти слова, сочинен уже (только-только) «Недоросль» и Стародум успел изложить мысли Фонвизина о звании и долге дворянина.

«...Государство не деспотическое: ибо нация никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление и всегда имела трибуналы

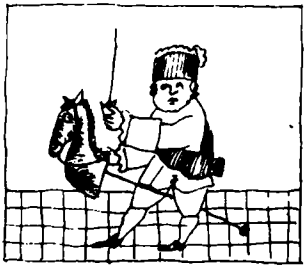
гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое: ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия: ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаяся во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства».

Все это укор Екатерине, именно ей, — но только ли ей? Нет, конечно; речь о государственной системе, в которой частные достоинства монарха (добродушие Елизаветы или Екатеринин ум) не могут играть решающей роли, а частные пороки могут оказаться бедствием национальным. Бедственность положения вопиюща; радикальность предлагаемых мер очевидна.

Титул «спасителя отечества», коего домогался Петр Иванович Панин, носил всего лишь казенный характер. Брат его Никита Иванович и вернейший из его сотрудников, «мой фон-Визин», хотели стать спасителями отечества в нанреальнейшем смысле.

Как помним, Денис Иванович и прямо претендовал на негласное это звание:

«Человек с дарованием может в своей комнате, с пером в руках, быть полезным советодателем государю, а иногда и спасителем сограждан своих и отечества».



ТВОЕ СОЗДАНЬЕ Я, СОЗДАТЕЛЬ (II)

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех...
Радищев. «Осьмнадцатое столетие»

Можно сказать, милостивый государь, что история нашего века будет интересна для потомков. Сколько великих перемен! Сколько страиных приключений! Сей век есть прямое поучение царям и подданным!
Фонвизин—Петру Панину

ДОМ НА ГАЛЕРНОЙ

Фонвизин и Панин. Панин и Фонвизин. «Рассуждение», сочинение панинско-фонвизинское или фонвизинско-панинское. Одно сердце, одна душа, но не один талант...

И совсем не одна сила.

Даже та сфера жизни Дениса Ивановича, которую мы зовем личной, зависела от воли Панина. По счастью, доброй воли.

Итак, в 1774 году на Фонвизина свалилось богатство. Патрон подарил ему имение в Витебской губернии в 1180 душ — состояние очень не малое, почти огромное, в особенности ежели припомнить, что Иван Андреевич Фонвизин владел всего-то пятьюстами крепостных, однако вырастил и воспитал восьмерых детей.

Правда, хорошим хозяином сын не оказался; в конце концов это привело к разорению, а пока, на первых порах, ограничилось тем, что Денис Иванович никак не мог отказаться от привычной безалаберной жизни.

«Ежели б я знал, что ты живешь домом, — писал ему тогда же из Мадрида приятель, — то я б тебе прислал вина шампанского, но думаю, что живешь *по-калмыцки*, даром что знатный помещик. Отпиши, хочешь ли пить наше вино хорошее?»

От вина Фонвизин был не прочь, однако и полукибиточное житье надоело. Он обзавелся наконец домом.

В эту пору он как раз вел дело молодой вдовы Катерины Ивановны Хлоповой. Рожденная в купеческом состоянии, в девичестве Роговикова, она рано осиротела и воспитывалась дядею, который и ведал безраздельно ее имуществом. Влюбившись в Хлопова, адъютанта графа Захара Чернышева, и не получив от дяди согласия на брак с ним, Катерина Ивановна тайно бежала из дому и обвенчалась с избранником. Рай в шалаше, однако, ее никак не устраивал, она попыталась получить свою долю наследства (ни много ни мало, около 300 тысяч рублей), но купец уперся и денег племянницы из рук выпускать не хотел.

Она уж успела овдоветь, а тяжба все тянулась. Хлопова подала челобитную императрице, та поручила рассмотреть дело начальнику ее покойного мужа, Чернышеву, и двум начальникам Фонвизина, прежнему и новому, Елагину и Панину. Они же перепоручили его Денису Ивановичу.

Он приложил много сил, дабы выиграть дело, но преуспел лишь наполовину. Кончилось мировой сделкой, согласно которой Катерина Ивановна получала только часть своей денежной доли и дом на Галерной, после проданный за 20 тысяч. В ходе разбирательства, однако, с нею произошло нечто более важное: тяжебщица влюбилась в поверенного.

Полюбил ли ее он? И насколько страстно? Трудно сказать: мы помним, что незадолго перед кончиной Фонвизин публично — ибо сделал это в литературной исповеди — не скрыл, что пронес через всю жизнь, как святыню, не образ жены, а образ Приклонской.

Может быть, женитьба была вызвана и расчетом — не грубо корыстным, разумеется: «знатный помещик» не слишком нуждался в наследстве Катерины Ивановны; просто устал от холостой жизни. Может, причиною было и следование правилам чести. Рассказывали, что кто-то из важных господ, державших сторону дяди Роговикова, попробовал уличить Дениса Ивановича в недобросовестности:

— Охота верить показаниям Фон-Визина, который хлопочет о выгодах своей любовницы!

И тот будто бы, прослышав об этом, решил жениться на Хлоповой.

Мы вообще немногое знаем об интимной жизни Фонвизина, которой, впрочем, и полагается быть скрытой от посторонних глаз. В своей всенародной исповеди он и откровенен и уклончив одновременно, что понятно: исповедь существует, чтобы на ней каялись, но не все скажешь прилюдно.

«В университете, — возвращался Денис Иванович к юношеским своим годам, — был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Голберговы басни; за труды обещал чужестранных книг на пятьдесят рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово и книги на условленные деньги мне отдал. Но какие книги! Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою. И кто знает, не от сего ли времени началась скапливаться та болезнь, которою я столько лет стражду?»

И, воззвав патетически к тем, кто обязан надзирать над поведением юношества, не повторять дурных поступков книгопродавца и его собственного непримерного опыта, Фонвизин продолжает свое повествование. Надо сказать, не без игривости, не слишком приличествующей покаянию, — едкий юмор не оставляет полумертвеца:

«Узнав в теории все то, что мне знать было еще рано, искал я жадно случая теоретические мои знания привесть в практику. К сему показалась мне годною одна девушка, о которой можно сказать: толста, толста! проста, проста! Она имела мать, которую ближние и дальние, — словом, целая Москва признала и огласила набитою дурою. Я привязался к ней, и сей привязанности была причиною одна разность полов: ибо в другое влюбиться было не во что. Умом была она в матушку; я начал к ней ездить, казал ей книги мои, изъяснял эстампы, и она в теории получила равное со мною просвещение. Желал бы я преподать ей и физические эксперименты, но не было удобности: ибо двери в доме матушки ее, будучи сделаны национальными художниками, ни одна не только не затворялась, но и не притворялась».

Были, стало быть, по Митрофановой терминологии, покамест существительными.

«Я пользовался маленькими вольностями, но как она мне уже надоела, то часто вызывали мы к нам матушку ее от скуки для поговорки, которая, признаю грех мой, послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли; по крайней мере из всего моего приключения родилась роль Бригадирши. Все сие повествование доказывает, что я тогда не имел истинного понятия ни о тяжести греха, ни об истинной чести, ни о добром поведении...

Остеречь меня было некому, и вступление мое в юношеский возраст было, так сказать, вступление в пороки».

Немного рассказано, да и приключение это всего только обычное пробуждение юношеской чувственности; как можно от этого погрязнуть в грехе и даже расстроить здоровье — решительно не ясно. Фонвизин уклоняется от самообнажения в духе Руссо, хотя и взывает к его тени в начале своего «Чистосердечного признания», и если что невольно откровенно в его исповеди, так это гривуазная и, не станем скрывать, циническая интонация в суждениях о женщине, так и не истребленная до самой смерти его.

Согласимся, что, как бы ни был толст и прост первый фонвизинский «предмет», мало чести так вспомнить, умирая, о юношеской привязанности. И слишком сурово судить Дениса Ивановича не стоит разве оттого, что это скорее навеяно нестрогими нравами века, нежели личными душевными качествами. Ведь рядом с проявлением неблагодарной памяти («в другое влюбиться было не во что»), рядом с нечистою шуткой («желал бы я преподать ей и физические эксперименты»), здесь же, в той самой исповеди — монолог пылкой любви, бесконечной нежности, безграничного обожания, обращенный к А. И. Приклонской.

Уж тут-то не имело нн малейшего значения, что влюбиться тоже было как будто не во что; вспомним: «длинная, сухая, с лицом, искаженным оспою...»

«...Зрение умного человека имеет свою оптику». Может быть, вернее сказать: зренне любящего человека? Полюбившего, преображенного?

В своем циническом воспомннании, превратившем полудетский опыт чувственности в нечто искушенно-нескромное, Фонвизин снова как все. Не лучше многих и многих. Это общий взгляд, общнй обычай.

В памяти о единственной своей любвн и он — единственный. Только он. Никто, кроме него.

«Сей привязанности была причиною одна разность полов» — вот признание заурядного волокиты.

«Страсть моя основана на почтении и не зависела от разности полов». Сказанное о Приклонской выходит из ряда обыкновенности. Неважно, что слова эти не слишком удачно выражают самую сущность любви; важнее, что на такое способен не всякий.

И не всегда: сам Фонвизин признался, что т а к о е с ним было лишь однажды. Более не повторялось. А «разность полов» притягивала его, как можно понять, не единожды.

«Сие самое соглашается и с изустными преданиями...» — замечает Вяземский, обратившийся к интимной биографии Дениса Ивановича: то есть порасспросил, узнал кое-что, выяснил, что каяться грешнику было в чем. Но и Вяземский не стал делиться с нами добытым изустно, согласившись со словами Пушкина, обращенными к нему же и осуждающими жажду толпы видеть великого человека «на судне».

Биограф Фонвизина ограничился лишь намеком, что и в пору, когда его герой был ударен параличом, жена «была несколько в праве быть им недовольною» и даже сбиралась просить императрицу о разводе. Да еще поделиться своими полувыводами-полудогадками о семейной жизни Дениса Ивановича:

«Брачное небо не всегда бывает безоблачно: нет согласия совершенного, то есть неразрывного; но счастливыми могут почесться те браки, в которых

виноват бывает один муж: тогда в размолвке всегда есть слово к миру, а равно и в приговоре светского самовластия (писанном, мимоходом будь сказано, мужчинами) и еще более в сердце жены. Женщины великодушнее или смиреннее нас, что, впрочем, одно и то же, потому что злопамятно и неумолимо одно малодушие. В этом отношении брачный союз Фон-Визина был счастлив».

Сомнительное суждение и уж очень личное: так и видно, что это небезгрешный князь Петр Андреевич после очередной проказы взывает к разуму и великодушию княгини Веры Федоровны. Тем не менее если не супружеская жизнь Фонвизина, то его мысли о супружестве с этим не расходятся.

В его позднем и неосуществленном журнале «Друг честных людей, или Стародум» идеальная Софья обратится к идеальному дядюшке с горькой жалобой на идеального... увы, идеального в прошлом, в рамках «Недоросля», Милона: он, став ее мужем, спутался с недостойною женщиной. И пафос Стародумова ответа (а значит, и мнения Дениса Ивановича, который со своим любимым героем ни в чем решительно не расходится) будет не гневным, но увещевающим. Он, конечно, пожалеет о слабости Милона, однако прежде всего обратится к Софьину благоразумию.

«Остерегись, друг мой! Ты неблагоразумно поступаешь. Добродетель жены не в том состоит, чтоб быть на страже у своего мужа, а в том, чтоб быть соучастницею судьбы его, и добродетельная жена должна сносить терпеливо безумие мужа своего. Он ищет забавы в объятиях любовницы, но по прошествии первого безумия будет он искать в жене своей прежнего друга» — и т. д.; в общем, обычные доводы рассудка, наивно пытающегося воцариться там, где он как раз наиболее бессилен.

И все-таки, как видно, надо согласиться с Вяземским: если брак Дениса Ивановича и Катерины Ивановны состоялся и не по взаимной страсти, то был счастлив. Или хоть не был несчастливым. Тоже немало.

Нет сомнения, что первая причина того — супруга, а не супруг.

Фонвизин не раз оказывался и заботлив и нежен, но, к несчастью, у жены было куда более случаев доказать свои достоинства. И нелегкий нрав мужа, не легчавший с годами и наступлением болезней, и самн хворобы, требовавшие терпения и ухода, и постигшая в конце концов бедность — вот та печальная почва, на которой богато раскрылся отменный ее характер. Была она и добра и гостеприимна, любила и понимала искусство, показала себя стойкой в годы беды, — одним словом, Фонвизин в выборе не ошибся и ему стоило вступаться за свою невесту перед отцом, который не в первый раз был недоволен поступком сына.

Может быть, коренного москвича раздражало, что сын женится на неизвестной ему петербуржке (нетрудно представить, как косо смотрели московские медведи на столичных невест, в каждой подозревая вертихвостку, — ревнивая гордость своими барышнями прозвучит еще у Фамусова, в Москве, куда более цивилизовавшейся); может быть, смущало купеческое происхождение Катерины Ивановны (запрещал же Иван Андреевич сыну дружить с простолюдином Дмитревским); может быть, дело было просто в том, что всякому родителю любая партия кажется недостойной его детища; так или иначе, отец браку противился. Да и сестра Федосья, сердечный друг и постоянный корреспондент Дениса Ивановича, от радости не прыгала. Впрочем, она-то, не обладая батюшкиным крутонравием, а равно зная братний нрав, поступила хитро: отправила брату два письмеца. В одном

выражала свое сомнение, в другом, уже готовая смириться и не желавшая ссориться с возможной невесткой, поздравляла брачащихся и желала им счастья.

Получив все эти письма, и Фонвизин показал, что недаром служит по дипломатической части:

«Матушка сестрица Ф. И., ты меня не разумела, когда писала ответное письмо свое на мое, написанное без всякого умысла. Я тогда был огорчен батюшкиной записочкой. Теперь все прошло, да и твое последнее письмо меня утешило. Записочку твою о твоем неверии я изодрал; а другое, где ты желаешь счастья мне и К. И., послал к ней тотчас показать, и она мне возвратила с записочкой, которую я, не изодрав, к тебе посылаю, в уверение, что она тем же тебе отвечает».

В самом деле, Катерина Ивановна была растрогана:

«Возвращаю вам, батюшка Денис Иванович, письмо вашей сестрицы. Уверяю вас, что мне обещание дружбы ее очень приятно и что я все употреблю к снисканию ее любви и дружбы».

Основы семейного согласия были заложены, и когда молодые, обвенчавшись в конце 1774 года, отправились в Москву, Катерину Ивановну, надо полагать, там встретили мирно и ласково. Вероятно, Федосья, Феня, добрый дух семейства, сумела утихомирить крутого Ивана Андреевича.

Отдав долг почтения родителям, молодые воротились в Петербург и поселились в доме, который Фонвизин получил в приданое, — на Галерной. В ее адмиралтейской части.

Выйдите нынче на Галерную — теперь она Красная: протяженный островок скуки между стихнями красоты — от Сенатской до Ново-Адмиралтейской набережной, от Сената, средоточия государственности, до загородной усадьбы, построенной Луиджи Руска.

Впрочем, Сената еще не было.

Нам сегодня трудновато вообразить себе Санкт-Петербург того времени, когда по нему ходил и ездил Денис Иванович. Ни нынешнего Исаакия, ни теперешнего Адмиралтейства, нн ростральных, ни Александрийского столпа, ни Публичной библиотеки, ни Театральной улицы — она же улица Росси. Почти ничего, что ярче всего встает в воспоминаниях о великом городе, может быть, потому, что тянет его ввысь, вспарывая своими шпилями и подпирая куполами и колоннами его низкое небо. Пока что это приземистый, линейный, деловой Петербург Петра, в котором, как каменные сады, цветут в отдалении друг от друга нездешние чудеса Растрелли — Зимний дворец, Смольный собор, Строгановский дом...

Но Галерная примерно такою же и была: скучно, каменно, голо.

Фонвизины среди этой суши устроились уютно. Жили широко, безбедно, даже богато — о том говорят описи имущества четы, до нас дошедшие.

По этим описям с женской основательностью меблировала дом на Галерной (словно обжила) Л. Кулакова, автор небольшой книгн «Деннс Иванович Фонвизин»; у нее я и заимствую зарисовку домашнего быта, правда, относящуюся к времени чуть более позднему:

«Среди мебели красного дерева стояли клавикорды, на которых играла жена писателя. Были и скрипка, и флейта, принадлежавшие самому Фонвизину. Стены украшены большими, средними, малыми зеркалами в золоченых рамах и маленькими зеркальцами, в которых отражался свет прикрепленных к ним свечей. И на стенах же было бесчисленное количество

картин и гравюр. Мы не имеем, к сожалению, их перечня. Одно достоверно: со стен смотрели тридцать портретов лучших французских актеров... и более двадцати эстампов «с лицами в русских платьях». Были в доме и три карточных столика, за которыми собирались друзья в часы досуга. И было множество шкафов для книг, комод для бумаг, пюпитр для фолиантов. В кабинете стояло бюро, обитое тонким зеленым сукном, большие кожаные кресла».

Денис Иванович вновь погрузился в дела, которых было довольно: его супружеское благоденствие скромно сияло на мрачном фоне расправы с остатками пугачевского бунта, Петр Панин оставался пока что у власти, и надежды братьев на усиление своего влияния еще не вовсе умерли. Конечно, Фонвизин не был в стороне от деятельных, хотя и обреченных, попыток Паниных удержаться на гребне.

Тому способствовали и дела внешние: Никита Иванович имел основания считать себя незаменимым в настоящий момент. Во многом его усилиями заключен был наконец в 1774 году мир с турками, и, едва отошли эти заботы, в Северной Америке началась война за независимость английских колоний. Дело было дальнее, но близко касалось России: перекраивался мир и, главное, ослабление грозило давней сопернице, Англии.

Не только самодержавной Екатерине, но и конституционалисту Никите Панину никак не мог понравиться мятеж против короны, хотя бы чужеземной, однако интересы политические поставлены были выше легитимистских, и на свет явилось то, что можно признать дипломатическим шедевром Панина: «вооруженный неутралитет».

Россия оставалась нейтральной, в отличие от Франции и Испании, принявших сторону Американских Штатов и поставлявших им войска, вооружение и боеприпасы. Но Екатерина отказала и Георгу Третьему, обратившемуся с просьбою помочь блокаде мятежных Штатов, предоставив русский флот для борьбы с французскими и испанскими кораблями, пробивающимися к берегам Америки сквозь английские морские заставы. И более того: хотя не вдруг и не скоро, лишь к марту 1780 года, но нейтралитет, по плану Панина, стал вооруженным. Шесть нейтральных правительств с участием и по предложению России объявили, что отныне станут торговать со всеми воюющими государствами и защищать свои торговые суда силою оружия.

Блокада была сорвана. Это весьма поспособствовало американской независимости, а ежели вернуться к внутригосударственным делам, поддержало силу и авторитет Никиты Ивановича.

Что было нелишне, тем более что и вокруг вооруженного нейтралитета у Панина состоялась жестокая схватка с Потемкиным, который с первых дней своего воцарения в Екатерининой сердце норовил свалить того, в ком справедливо видел своего злейшего врага. Потемкин держал руку Англии, сошелся с ее послом в России Гаррисом — тем самым, что дал нелестную характеристику Панину, — и дело решилось так, что разгневанный Никита Иванович написал императрице письмо «в сильных выражениях и с пламенною любовию к России», где и высказал всю невыгоду союза с Англией.

Доводы его, а возможно, и сильные выражения убедили Екатерину, и она даже, как рассказывают, решила Панина задобрить. Приехала к нему в час, когда он дремал в креслах, не велела будить, смиренно пождала в соседней комнате его пробуждения и сказала ему:

— Граф, ты на меня сердился; я сама была тобою недовольна, но, видя

твою преданность государству и мне, я приехала тебя благодарить; будем по-прежнему друзьями.

Слишком красиво, чтобы быть правдою? Вероятно. Или лучше сказать: слишком красиво, чтобы можно было поверить в искренность императрицы. Так или иначе, однако соображения политической выгоды победили, Потемкин это сражение проиграл, Панин на какое-то время укрепился.

Естественно, что в годы дипломатических боев чиновник Коллегии иностранных дел Фонвизин был основательио погружен в служебные занятия. И все же в 1777 году ему пришлось иа время от дел отойти. Вернее, отъехать: предстояло путешествие во Францию. К счастью, для того объявилась наконец удобная возможность, ибо денежные дела Дениса Ивановича впервые были хороши; к несчастью, кроме возможности объявилась и невеселая необходимость: у Катерины Ивановны обнаружилась серьезная желудочная болезнь, которая, по приговору медиков, могла быть излечена наилучшим образом на водах во Франции. Именно — в Монпелье.

Других причин, быть может, и не было, но отъезд Фонвизина показался столь неожидан, что, как водится, родились слухи. Митрополит Евгений, автор известного «Словаря русских светских писателей», поддержал их и много лет спустя:

«Сатирическая острота заставляла всех уважать его и бояться. Но один случай острого слова, насчет князя Потемкина, навлек и самому ему беспокойство, от которого выпросил он себе отпуск и, в 1777 г. отправясь путешествовать по Европе, около года провел в сем странствовании».

Считают также, что то был даже и не отпуск, а нечто вроде служебной командировки: например, Г. П. Макогоненко со смелостью и страстью настаивает, что в своем путешествии Фонвизин исполнял тайные политические поручения. Это увлекательно, но гипотетично, и даже лаконичное замечание одного из фонвизинских друзей, что он находился во Франции «по делам», не проливает свет на полудетективную сторону его поездки.

СЛАВНЫ БУБНЫ ЗА ГОРАМИ

Так или иначе, в августе 1777 года начат был путь, маршрут которого мы с точностью можем восстановить, ибо на протяжении дороги Фонвизин не переставал вести «журнал нашего вояжа», то есть попросту отправлял письма двум близким, хотя и по-разному, людям: все той же сестре Фене и Петру Ивановичу Панину.

Сперва супруги заехали в собственное витебское имение — окинуть его хозяйским глазом. Потом через Смоленск, Оршу, Борисов и Минск тронулись к Варшаве, в которую и приехали спустя шестнадцать дней тряски по скверным дорогам с остановками в скверных трактирах (тем и другим разгневанный Денис Иванович воздал должное, а может быть,н сверх должного). Зато в Варшаве ждал их прием более чем радушный, — конечно, не потому, что автора «Бригадира» встречали восторженные читатели: чествовали сотрудника Никиты Панина. Эта рекомендация и далее открывала вход в знатные дома и даже в княжеские и герцогские дворы.

«Журнал» чертит путь супругов по Германии. Дрезден. Лейпциг.

Франкфурт-на-Майне. О каждом городе сказано слово, похвальное или не слишком, а о многих и ничего не сказано, ибо они мелькают, как спицы колес дорожной кареты: «Что ни шаг, то новое государство. Саксен-Готу, Саксен-Эйзенах, Майнц, Генау и многие немецкие дворы мы проехали, не представляясь...»

Наконец, Франция: Ландо, Страсбург, Безансон, Бур-ан-Бресс, Лион, Ним, Монпелье — цель путешествия. После Фонвизины посетят еще и юг Франции и Париж.

Завидный маршрут, не так ли? К тому ж надежды на целительные свойства вод, климата и лекарей французских счастливо сбываются.

«Благодарю бога, жена очевидно оправляется. Я имею причины ласкаться, что привезу ее к вам здоровую. Лечить ее взялся первый здешний доктор Деламюр. Он здесь в превеликой славе... Здешнего климата в свете нет лучше... Видно, что господь возлюбил этот край особенно».

Это из одного письма. Вот другое:

«Мы изрядно поживаем, и жена моя, кажется, в гораздо лучшем состоянии, нежели была».

Третье:

«Мы здесь живем полтора месяца. Благодаря бога, не было еще ни одного такого дня, в который бы я с женою, за болезнию, со двора не выходили».

Наконец:

«Теперь вы уже знаете, что в Монпелье житье наше было не тщетно».

Чего же лучше? Стало быть, путешествие удалось: знай подсчитывай прибытки и благодушествуй! Но у путешественника словно зубы болят.

Вот он пересек границу Франции. Вот внимание любопытствующего иностранца привлечено непривычным зрелищем — на лучшей лионской улице среди бела дня пылают факелы: «Вообрази же, что я увидел? Господа французы изволят обжигать свинью!» Вот уж негодующий странник взывает к родным порядкам, не в пример лучшим: «Подумай, какое нашли место, и попустила ли б наша полиция среди Миллионной улицы опаливать свинью?» И вот готов сокрушительный приговор — не улице, не Лиону, всей стране:

«Словом сказать, господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что в ней много доброго; но не знаю, не больше ли худого».

«Словом сказать» — это венец, конец, усталый итог, и трудно поверить, что автор всего несколько дней во Франции и до Парижа ему ехать и ехать. Да его это и не смущает, он знает все наперед:

«Мы не видели Парижа, это правда; посмотрим и его; но ежели и в нем так же ошибемся, как в провинциях французских, то в другой раз во Францию не поеду. Коли что здесь прекрасно, то разве климат...» (Немного же.)

Не сдержал зарока, поехал и в другой раз — не во Францию, так в Италию, — но велика первоначальная настороженность, и в том же самом письме он не страшится однообразного повтора:

«Остается нам видеть Париж, и если мы в нем так же ошибемся, как во мнении о Франции, то, повторяю тебе, что из России в другой раз за семь верст киселя есть не поеду».

Это первое письмо из Франции; в третьем с назойливостью повторится то же самое:

«Остается нам видеть Париж, чтоб формировать совершенное заключение наше о Франции; но кажется, что найдем то же...»

Одним словом:

«Славны бубны за горами...»

Ясное дело, если настроиться так с первого разу, то найдешь то, что ищешь. Ищущий — обрящет.

Через двадцать с небольшим лет в своих «Письмах русского путешественника» Карамзин расскажет такую историю. Возле курляндской корчмы он записывает свои дорожные впечатления и слышит, как два путешествующих немца бранят от скуки русский народ. «Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги?

— Нет, — отвечали они.

— А когда так, государи мои, — сказал я, — то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе.

Они не рассудили за благо спорить...».

Этого простого резона Фонвизин признавать не хочет, суждения его скороспелы и окончательны, и прав, увы, Вяземский, заметивший, что «анекдот путешественника, который, проезжая через один немецкий город, нашел в гостинице рыжую женщину, бившую мальчика, и записал в своих путевых записках: здесь все женщины рыжи и сердиты, — может совершенно быть применен к большей части наблюдений Фон-Визина». Да и кто не отмечал, по-разному ее объясняя или оправдывая, редкостную предвзятость путешествующего Дениса Ивановича...

Категоричность вояжера-неофита не поубавилась с накоплением запаса наблюдений; опыт, пожалуй, даже прибавил уверенности, и характер целой нации предстал перед любопытствующим Петром Паниным в таком виде:

«Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроту, которою его природа одарила... Обман почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей (заметим, по в с е о б щ е м у. — *Ст. Р.*), обмануть не стыдно; но не обмануть — глупо. Смело скажу, что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его — деньги».

И много позже, когда Денис Иванович поедет в Италию и Германию, все то же самое генеральное неприятие не только французского, вообще чужого не оставит его, человека умного, доброго и проницательного (тем все это и удивительнее):

«Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных съестных припасах — словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы».

Вообще Фонвизин недалеко ушагал от своего кучера, который считал немцев не людьми, а «наравне с гадиною» и бранил их нещадно, что заставляло его хозяина покатываться со смеху, — хотя что ж смешного в национальной кичливости, оборачивающейся шовинистической ненавистью?

Так трактована Германия. Так позже будет отщелкана Италия:

«Образ жизни итальянский, то есть весьма много свинства».

«И комары итальянские похожи на самих итальянцев: так же вероломны и так же изменнически кусают».

«Итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие...».

«Я до Италии не мог себе вообразить, чтоб можно было в такой несносной скуке проводить свое время, как живут итальянцы»; заметим, что по-итальянски Денис Иванович не выучился, итальянцы, по его же признанию, плохо знают французский, — откуда ж такая уверенность?

И даже:

«Вообще сказать можно, что скучнее Италии нет земли на свете: никакого общества и скупость прескаредная».

Я сознаю, какое испытание в глазах читателя проходит сейчас облик Фонвизина и как звучит вся эта хула для человека современного, на плечах которого горестнейшие опыты национальной разобщенности и ненависти; но призовем на помощь свою способность воспринимать явления прошлого исторически, а репутация самого Фонвизина, слава богу, и не такое выдержит; так что не будем стесняться правды.

Вот черта, в любом случае и при любых объяснениях несимпатичная: потешаться над тем, что непохоже на свое, привычное, коренное. Допустим, обоснованно предпочтение, отданное петербургской полиции, которая не дозволила бы палить свинью посреди Миллионной или Галерной, — но знаменитый итальянский карнавал, тысячекратно описанный и воспетый, он-то неужто тоже способен не угодить?

Способен, оказывается:

«Карнавал мы застали и четыре дня были свидетелями всех народных дурачеств, а особливо последний день, то есть погребение масленницы. Весь народ ее со свечами хоронил. Такой глупости и вообразить себе нельзя».

То же — в Страсбурге, где непривычною показалась панихида: «...я с женою от смеха насилу удержался». Французская музыка тоже не хороша: «Этаких козлов я не слыхивал... Жена всегда носит с собою хлопчатую бумагу: как скоро заблеют хором, то уши и затыкает». Кукольный театр, кочующий по улицам (чего лучше, кажется?), и тот не угодил: «Часто найдешь на площадях людей около бабы или мужика, которые, поставя на землю род шкапа с растворенными дверцами, кажут в шкапу куколок. Баба во все горло поет духовные стихи, а мужчина играет на скрипке...» — пока все описано хоть и без восторга, с тем чужедальним остранением, с каким Наташа Ростова смотрела оперу, раздражавшую великого автора, и все же достаточно спокойно... ан нет! Тут же следует непременный вывод: «...словом, народ праздный и зазевывается охотно, а притом и весьма грубый». И еще решительнее: «Правду сказать, народ здешний с природы весьма скотиноват. Я думаю, что таких ротозей мало водится».

Многому неприязненно дивится наш путешественник: то тому, что некая маркиза, ежели нету у нее гостей, не смущается спуститься для обеда на собственную поварню (припомним заодно, как шокировала Фонвизина простота нравов, когда солдат, выставленный у губернаторской ложи, не побоялся войти в нее и спокойно смотреть спектакль рядом со своим командиром); то начнет хохотать уже не над чужой панихидою, но над чужим языком, между прочим, красивейшим, однако ч у ж и м:

«А propos надобно сказать тебе нечто и о польских спектаклях. Комедий видели мы с десяток, переводных и оригинальных. Играют изрядно; но польский язык в наших ушах кажется так смешон и подл, что мы помираем со смеху во всю пиесу...»

Если все же позволить себе исторически забыться и довериться лишь современному восприятию, то это — вульгарно, пошло, даже ничтожно. Да и

почему современному? Скажем, для Чехова подобное давно уже именно ничтожно, пошло, вульгарно; оно — достояние шаржа, а не анализа:

«Согласен, французы все ученые, манерные, это верно... Француз никогда не позволит себе невежества...»

Положим, Денис Иванович счел бы, что чеховский помещик Камышев излишне либерален:

«Дворянство французское по большей части в крайней бедности, и невежество его ни с чем не сравненно».

«...Вовремя даме стул подаст, — продолжает Камышев великодушно признавать достоинства ненавистного француза, — раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол...».

Пожалуй, Фонвизин и тут бы воспротивился. Его самого манеры и обеденный обычай французов раздражали:

«Белье столовое во всей Франции так мерзко, что у знатных праздничное несравненно хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается. Оно так толсто и так скверно вымыто, что гадко рот утереть». Дыры на салфетках голубыми нитками зашиты, лакеи за столом прислуживают дурно. И, главное, не по-нашему: «...блюд кругом не обносят, а надобно окинуть глазами стол и что полюбится, того спросить чрез своего лакея... Рассуди же: коли нет слуги, кому принести напиться, кому переменить тарелки, кого послать спросить своего блюда?»

Но воротимся к чеховскому бурбону.

Итак:

«Француз... раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! Духу того в нем нет! Я не могу только вам объяснить, но, как бы выразиться, во французе не хватает чего-то такого, этакого... чего-то такого... юридического».

Как помним, Денис-то Иванович объяснить мог: «Рассудка француз не имеет... Обман почитается у них правом разума... Честных людей во всей Италии, поистине сказать, так мало...» И, стыдно признаться, как добросовестное эхо, отзывается из чеховской прозы ему, умнице, болван Камышев:

«Безнравственный народ! Наружностью словно как бы и на людей походят, а живут, как собаки...»

Может быть, даже отзовется как эхо слабое: фонвизинский кучер, не опровергнутый хозяином, шел дальше — гадина гаже собаки.

Снова Чехов:

«Взять хоть, например, брак. У нас коли женился, так прилепись к жене и никаких разговоров, а у вас черт знает что. Муж целый день в кафе сидит, а жена напустит полный дом французов и давай с ними канканировать».

Фонвизин:

«Вообще тебе скажу, что я морально жизнию парижских французов очень недоволен... Пустой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в женщинах, другого, право, ничего не вижу... Весь растрепан, побежит au Palaus-Royal, где, нашед целую пропасть девок, возьмет одну или нескольких с собою домой обедать».

И — канканирует...

Что же все-таки произошло? Как такое мог почувствовать, подумать и, больше того, написать человек не вульгарный, не пошлый, не ничтожный? Напротив того, весьма утонченный, ново и остро мыслящий, в е л и к и й?

Может быть, случился какой-то необъяснимый, хоть и затяжной, припадок мизантропии?

Последний вопрос риторичен, однако для полной ясности ответим и на него. Нет, разумеется; Фонвизин не утратил в путешествии отличных своих добродетелей. Ума-то уж во всяком случае. Да и признательности тоже: не все он хулит, многое хвалит, если без особого жару (жар пополам не делится, он отдан чему-то одному, и мы еще попробуем понять, чему же и отчего), то с полной искренностью. Одобряет архитектуру, климат, врачей (еще бы, подняли на ноги Катерину Ивановну), гостеприимство, кухню, в которой, как выученик гастронома Панина, толк знает. И меж городами делает различие: Лион, хотя и палили в нем безобразно и публично свинью, все же заслужил одобрение, а Марсель и того более: «Вот город, в котором можно жить с превеликим удовольствием и который мне несравненно лучше и веселее Лиона показался».

При всей национальной щепетильности добросовестно отметил Фонвизин и то, в чем Россия явно проигрывала: «Если что во Франции нашел я в цветущем состоянии, то, конечно, фабрики и мануфактуры. Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, как французы, в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся».

Отмечена была и любовь к отечеству: «Сие похвальное чувство вкоренено, можно сказать, во всем французском народе. Последний трубочист вне себя от радости, коли увидит короля своего; он кряхтит от подати, ропщет, однако последнюю копейку платит, во мнении, что тем пособляет своему отечеству. Коли что здесь действительно почтенно и коли что всем перенимать здесь надобно, то, конечно, любовь к отечеству и государю своему».

Тут, правда, Денис Иванович отчасти дал маху: очень скоро, всего-то через несколько лет, трубочист докажет, что не объединяет отечества с государем, и будет рукоплескать, когда первое отправит на плаху второго.

Короче говоря, Фонвизин не очень похож на маньяка с взглядом, устремленным в одну роковую точку: он путешественник весьма деятельный и любопытный, он добросовестно объезжает все достославные места, не стыдится даже признать чужого ума: в Монпелье берет уроки юриспруденции и философии, дивясь, как дешева во Франции философия, предмет не роскоши, а необходимости: всего по нашему два рубля сорок копеек; в Париже, не отставая от энциклопедического века, учится экспериментальной физике (Катерина Ивановна, как положено нежному полу, предпочитает музыку и французский язык). Он бывает на собраниях Академии наук: «Волтер присутствовал; я сидел от него очень близко и не спускал глаз с его мощей». Был приглашен и в общество, именуемое Собранием писателей, где в присутствии нескольких славных французов, а также знаменитого английского физика Магеллана и посла молодой американской республики Франклина, «имел удачу понравиться рассказыванием о свойстве нашего языка».

Тем более интересуется он областью, ставшей для него, чего он сам еще до конца не понимает, главной. Как ни смешил его в Варшаве «подлый» чужой язык, все ж он посетил не менее десяти спектаклей, — немало, если учесть, что Фонвизины в Варшаве проездом; в письмах из Монпелье повествует подробнейшим манером о тамошнем театре, а уж театр парижский, особенно комедия, его просто поразил: «Кто не видал комедии в Париже, тот не имеет прямого понятия, что есть комедия. Кто же видал здесь коме-

дию, тот нигде в спектакль не поедет охотно, потому что после парижского смотреть другого не захочет».

Нет, не заковался он на время путешествий в застылую маску скептицизма, в письмах его есть и благодарность добрым хозяевам, хотя сдержанная, и тоска по оставленным, несдержанная и несдерживаемая:

«В чужих краях то по крайней мере утешительно, что если своих редко встречаешь, то часто находишь сходство на людей, с коими в отечестве был в некоторой связи».

Взрыв элегической нежности — и отчего? Оказывается, Денис Иванович встретил в Карлсбаде ненароком какую-то майоршу, «которая лицом походит на А. И. Бутурлину». Только и всего, но — рассиропился...

И еще, и еще:

«Мы все ввечеру ездили в сад к мадам Геллер, которая лицом похожа как две капли воды на княгиню Д. А. Грузинскую... В Лионе я был очень рад, увидя в спектакле женщину, которая на тебя очень походит... Мы все на нее смотрели. Странно, что, кого ни видим, редкий не походит на кого-нибудь из русских знакомых».

Не упражнения в физиономистике, а проявления нежного, другим и не перестающего быть сердца. Брюзга? Возможно. Но не человеконенавистник, нет!

И уж, разумеется, что бы там ни было, в фонвизинских письмах есть и то, истинность чего никакая национальная пристрастность не исказит; напротив, случается, и обнажит ее.

«...Здесь за все про все аплодируют, даже до того, что если казнят какого-нибудь несчастного и палач хорошо повесит, то вся публика аплодирует битьем в ладоши палачу точно так, как в комедии актеру», — схожее чувство поразит лет через сто еще одну русскую душу: Тургенев заметит с ужасом и отвращением, что публичная казнь, свидетелем которой он был в Париже, — это театрализованное зрелище, где палач чувствует себя премьером труппы, а толпа себя ведет, как зрители партера или райка. И для него преступник, даже заслуживающий кары, в момент расставания души с телом тоже покажется «несчастным»: «Я не мог отвести взора от этих, некогда обагренных невинной кровью, теперь беспомощно друг на дружке лежащих рук — и особенно от этой тонкой, юношеской шеи...»

Даже к выводам они придут одинаковым. Тургенев: «Мы рассуждали о ненужном, о бессмысленном варварстве всей этой средневековой процедуры...» Фонвизин: «Не могу никак сообразить того, как нация, чувствительнейшая и человеколюбивая, может быть так близка к варварству».

(Вероятно, не случайно и Гоголь, описывая в «Тарасе Бульбе» казнь Остапа, со злою обстоятельностью расскажет, как любопытствует публика, как заключают пари, дерутся за местечко получше, даже торгуют съестным и напитками, — с такой наблюдательностью рассказывают только о чужом, чуждом.)

Европейское пристрастие к декоративности вообще неприятно удивит Дениса Ивановича, даже когда речь не идет о действах столь ужасных. Позже, в Италии, ему, православному, не понравится театральность католического обряда, и он сквозь нее даже ощутит характернейшую черту католицизма:

«Я видел более государя, нежели первосвященника, более придворных, нежели духовных учеников».

Не раз наблюдательность Фонвизина цепко ухватит открытые и скрытые истинные пороки: от нечистоты улиц до распущенности в быту, от проявлений индивидуализма («Сколько идея *отечества* и *короля* здесь твердо в сердца вкоренена, столь много изгнано из сердец всякое сострадание к своему ближнему») до общего бедственного состояния страны и народа:

«Французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве. Король, будучи не ограничен законами, имеет в руках всю силу попирать законы... Каждый министр есть деспот в своем департаменте... Налоги, безрезонные, частые, тяжки и служащие к одному обогащению ненасытимых начальников...» — и т. д., и т. п. Не зря Белинский отметил прежде всего д е л ь н о с т ь писем к вельможе, то есть к Петру Панину: «...читая их, вы чувствуете уже начало французской революции в этой страшной картине французского общества, так мастерски нарисованной нашим путешественником...»

Так, может, в этом все дело? В том крайнем состоянии страны, которое и привело ее к взрыву? Может, краски-то сгустил не Денис Иванович, а история? Может, сами инвективы его в адрес нации говорят о бедственном состоянии ее нравов в эти трагические годы — и ни о чем более?

РУССКИЙ НА ЧУЖБИНЕ

На любой из этих вопросов можно ответить: да, дело и в этом. Хотя бы в какой-то мере. Но желаиной разгадки все равно не будет. Ибо с т р а с т н а я хула европейской жизни порождена не объективностью. Напротив, тенденцией субъективнейшей, упрямой.

Слова о французах, имеющих право вольности, но живущих в рабстве, — это полуфраза, полумысль, намеренно мною переполовиненная. Потому что Фонвизин сталкивает один народ с другим, чужеземный порядок примеряет к отечественному:

«Рассматривая состояния французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею во многом наслаждается. Напротив того, французы...» — тут-то и следует пассаж о вольности, оборачивающейся тягчайшим рабством.

Вот двигатель мысли: наблюдая чужое, Фонвизин думает о родном. Он и тут писатель в н у т р е н н и й. Все внешнее, «ихнее» — материал для сравнений, споров, патриотической ревности.

Материал не выдуманный. Через пять лет по Европе проедут еще двое русских путешественников — граф и графиня Северные (под таким псевдонимом, взятым не для тайны, а из этикета, полускроются Павел Петрович и Мария Федоровна); и изрядно повзрослевший ученик напишет своему бывшему законоучителю Платону так, словно начитался фонвизинских писем: «Мы протекаем разные земли и правления, но в сих странах кроме картин и тому подобного нечего смотреть, разве плакать над развалинами древних, показывающими, что человек может, когда хорошо управляем, и сколь он от того удаляется, когда управляем, как теперь...»

Добавит благородного негодования и великая княгиня: «Отсутствие личной безопасности страшно для жителей и постыдно для века, который,

будучи во многих отношениях просвещенным, должен был бы бороться со всем, что порождает расстройство и тьму».

Так удивляются и негодуют лишь тогда, когда глазу открывается нечто новое, в своем отечестве не наблюденное...

Это напишут люди, России не знавшие, во всяком случае, той, с которою только и можно сравнить протекающую мимо Италию, — России народной, крестьянской, разоренной.

А Фонвизин? Он-то ведь не так изолирован, как наследник? Разумеется. Однако, как увидим после, и ему недостало заботливого интереса даже к тем душам, что волею Панина попали под его помещичье покровительство. Так что и он с крепостными не накоротке, — а они, те россияне, которые одни могли бы сравнить свое положение с общественным низом Европы, не путешествовали. Разве в качестве слуг. И, случалось, голосовали ногами; от добродушного Дениса Ивановича, в Карлсбаде, удрал слуга Сёмка.

Что говорить, бедность европейского крестьянина могла ужаснуть. В значительной части Германии повинности крестьян были тяжелее, чем у нас, а в Италии и во Франции — не легче нашего. Зато не было барщины. Зато не было того произвола, в котором русский крепостной, «в законе мертвый», и голоса не мог подать — в наибуквальнейшем смысле, под страхом Сибири и кнутобойства.

Фонвизин «имел в виду только *экономическое* положение крестьян, забывая об *юридическом*», — заметил Плеханов.

А это важно.

Да, «вольность по праву» может быть дарована широким жестом закона и тут же отъята жадными лапами землевладельца, чиновника или судейского крючка; это так, и трудно не согласиться с блистательным умозаключением Фонвизина:

«Первое право каждого француза есть вольность; но истинное, настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою, а если захочет пользоваться своею вольностию, то должен будет умереть с голоду. Словом, вольность есть пустое имя и право сильного остается правом превыше всех законов».

Но в России не было даже жалкой вольности помереть с голоду, хоть таким образом распорядившись своей жизнью, — что в правовом отношении не шутка и не пустяк; как же не хочет понять этого тот, кто вот-вот станет автором «Рассуждения о непременных законах», где будет сказано, что два главнейших пункта законодательства — «*вольность и собственность*» (а ведь и жизнь — собственная)?

Да, революция в Европе рождена была нехваткой свободы — подлинной, а не словесной. Но она родилась, пришла и стала всенародной, чего в России не было. И покуда быть не могло.

Несвободный француз основал республику, а свободный Фонвизин (не говоря уж о российском крепостном) о ней и помыслить не в состоянии. Вот и ответ, где более было вольности...

А ко всему прочему отвращение Дениса Ивановича вызвали не только те, что довели страну до беды, но те, что искали путей к спасению, к национальному возрождению, к свету.

В своей книге Петр Андреевич Вяземский больше всего негодовал на Фонвизина именно за них:

«Даламберта, Дидерота, Мармонтеля описывает он шарлатанами, обманывающими народ за деньги, побродягами, таскающимися по передним вельмож для испрашивания милостыни, — Даламберта, коего бескорыстие обратило на него внимание всей Европы, когда он отказался от обольстительного приглашения Екатерины!...»

Вяземский ведет речь о 1762 годе, когда едва воцарившаяся Екатерина предложила Д'Аламберу взять на себя воспитание Павла, обещав огромное жалованье — 50 тысяч. Но, как выразился один историк, «по примеру Диогена философ отказался покинуть свою бочку», хотя был ненамного богаче древнего киника. Императрице Д'Аламбер ответствовал в выражениях благодарственных, сказав, что мог бы сделать из наследника разве что порядочного геометра, а отсюда далеко до великого императора; в письме к Вольтеру был откровеннее, написав, что побаивается за свой геморрой, коим в России болеть опасно (намек на официальную версию смерти Петра Третьего). Словом, уж он-то, кажется, заслужил право быть защищенным от упреков в корыстолюбии, но Фонвизина это ничуть не смутило, и в письмах его язвительно рассказано, как Д'Аламбер с «вралем» Мармонтелем явились в переднюю к русскому полковнику Неранчичу, путешествующему брату отставного царицына фаворита Зорича: «...они сею низостью ласкались чрез Неранчича достать подарки от нашего двора».

«Искательства его и других энциклопедистов, — защищал Д'Аламбера Вяземский, — были не подлость, а политические домогательства: им нужен был союз дворов и вельмож, чтобы утвердить свое положение: тем более что во Франции они угрожаемы были правительством». И, казалось, кому, если не Фонвизину, преотличнейше знавшему, как литератору его века (особенно русскому) нужен союз двора или хоть влиятельного вельможи, Елагина либо Панина, внять этой истине, не дожидаясь поправки из века девятнадцатого? Но — не внемлет, быть может, не прощая Вольтеру и энциклопедистам обожествления Екатерины, которую сам он уже возненавидел, и полагая, что столь неблагонравную императрицу можно хвалить только из ласкательства и корысти.

(Конечно, он не прав; надежды просветителей на нее связаны с воплощением их идеала, и Вольтер не только льстит ей в глаза, но и за глаза пишет о ней, обращаясь к Дидро: «Ну вот, прославленный философ, что скажете вы о русской императрице?.. В какое время живем мы! Франция преследует философию, скифы ей покровительствуют».)

Как бы то ни было, у Вяземского находились основания упрекать Фонвизина в недоброжелательстве; характер претензий Дениса Ивановича к великим людям Франции вообще поразителен:

«Из всех ученых удивил меня д'Аламберт. Я воображал лицо важное, почтенное, а нашел премерзкую фигуру и преподленькую физиономию... Д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видел я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие».

Только один Тома, «Томас», заслужил благоволение сурового россиянина; не оттого ли, что Фонвизину случилось быть его переводчиком?

«Исключая Томаса, который кажется мне кротким и честным человеком, почти все прочие таковы, что гораздо приятнее читать их сочинения, нежели слышать их разговоры».

Не удостоился хулы и Руссо, но кто знает, может, только потому, что Фонвизин, весьма желавший его повидать, удовлетворить желания, к несчастью, не смог: Жан-Жак внезапно умер, и фонвизинские письма этих дней полны слухов о причине смерти, поспешных и оттого разноречивых и таинственных. Будь иначе, глядишь, и сам Руссо чем-нибудь раздосадовал бы его и вновь последовало бы заключение, что приятнее его читать, чем видеть и слышать.

Если что и поразило разочарованного, так это немыслимое для России чествование, которое парижский люд устроил Вольтеру: великий изгнанник получил наконец разрешение вернуться на родину. Подробнейше излагает Денис Иванович все виденное: и то, как актеры увенчали своего кумира лавровым венком, и то, как толпы народа с факелами провожали его карету, кучеру которой было приказано ехать шагом, и кричали непрестанно: «Vive Voltaire!» Не позабыл он поведать и о том, что Катерине Ивановне посчастливилось даже получить от прославленного старца комплимент:

«Оглянувшись на жену мою, приметил он, что мы нарочно для него остановились, и для того имел аттенцию, к ней подойдя, сказать с видом удовольствия и почтения: «Madame! Je suis bien votre serviteur très humble»[1]. При сих словах сделал он такой жест, который показывал, будто он сам дивится своей славе».

Все тут есть: и любопытство человека, непривычного к подобным зрелищам, и почтительное восхищение, тщательно сдерживаемое, однако выдающее себя; есть и суд не слишком благожелательный. Пожалуй, Вяземский и тут не был не прав, пожалевши, что Фонвизин не нашел в душе должного умиления и сочувствия знаменитому собрату, — хотя этого еще трудно было ждать от писателя, на чьей родине его должность пока не окружена таким почетом. Это и слышится в упреке публике, которая на спектакле бешено приветствует Вольтера, «потеряв всякую благопристойность»; это и делает озадаченными строки письма к Петру Панину:

«Прибытие Волтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Почтение, ему оказываемое, ничем не разнствует от обожания. Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился».

Для России все это впереди: обожание молодого Пушкина и толпы возле дома на Мойке, где он доживает последние часы, похороны Некрасова или Достоевского, взоры всей страны, обращенные в Ясную Поляну...

Нет, что ни говори, взгляд Фонвизина не искал нетерпеливо французской вольности, не слишком огорчился, не найдя, и, главное, не стал от этого пристрастнее взирать на отечественное рабство.

Уже в николаевскую эпоху совершит свое удивительное путешествие в Россию маркиз де Кюстин. Роялист, внук и сын слуг короля, посланных Робеспьером на гильотину, он станет искать на самодержавном Севере своего политического идеала и будет принят Николаем с радушием, которое подкреплено расчетом: как и бабке его, царю нужны европейские восхвалители. Но покинет Кюстин империю в полном смысле другим человеком.

Он не станет врагом страны и народа. «Теплое начало его души, — ска-

---

[1] Мадам! Я ваш покорнейший слуга *(фр.)*

жет о Кюстине Герцен, во многом с ним не соглашаясь, — сделало особенно важной эту книгу; она вовсе не враждебна России. Напротив, он более с любовью изучал нас и, любя, не мог не бичевать того, что нас бичует». То есть — самовластия.

С последней страницы своей книги Кюстин обратится к соотечественникам:

«Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы».

А вот рассуждения возвращающегося на родину Дениса Ивановича:

«Словом, сравнивая и то и другое, осмелюсь вашему сиятельству чистосердечно признаться, что если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во *Францию*. Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом».

Один посылает ропщущего в Россию; другой — во Францию. Болезни разные, разные и лекарства, но схож способ лечения.

Пожалуй, общий и недостаток подобных рецептов, как ни различны между собою острая ненависть Кюстина к отсутствию свободы и готовность Фонвизина признать, что русские крестьяне наслаждаются действительной вольностью. Дурной пример любой чужой страны — сомнительный повод для успокоения отечественного ропота; по крайней мере Дениса Ивановича трудно поздравить с таким приобретением:

«Много приобрел я пользы от путешествия. Кроме поправления здоровья, научился я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве...» Хотя и тут не стоит спешить с окончательным приговором: как-никак, этот благодушествующий господин вскоре возьмет да и напишет «Недоросля».

Вообще происходит какое-то странное отчуждение от собственных произведений. Ну, хорошо, «Недоросля» он еще только напишет, однако «Бригадира» ведь уже написал. Откуда же тут, рядом, в этом самом письме, еще и такое признание: «Со всем тем, я очень рад, что видел чужие краи. По крайней мере не могут мне импозировать наши Jean de France»?

Но эти Жаны-де-Франс, Иоганны из Франции, дурни Иванушки, петиметры, отчуждающиеся от отчизны в сердце своем, ему давно уж не импозируют — именно с «Бригадира»!

За противоречиями дело не станет и далее, и они не из тех, на которых стоит ликующе ловить автора. Конечно, много в его письмах неприятно поражающего, даже смешного (откуда иначе взялась бы непочтительная аналогия с чеховским Камышевым?), но наше-то дело — не осудить и не вознести, а понять. И тут даже летучая фраза, оговорка, случайность может

обнажить значительность размышлений, таких, казалось бы, наивных. «Логика противоречий», — выразился однажды Тургенев.

Уж как порицает Фонвизин безрассудного и безнравственного француза, и вдруг:

«Достойные люди, какой бы нации ни были, составляют между собою одну нацию. Выключа их из французской, примечал я вообще ее свойство».

Мысль замечательная, достойная, вечная, и как неожиданно корректирует она ворчливую фонвизинскую предвзятость...

Итак, попробуем п о н я т ь. Даже эту саму предвзятость, черту в любом случае не отменную.

Она прежде всего имеет корни исторические.

«Стольник, например, Лихачев, — писал Аполлон Григорьев, вспоминая события давнего 1659 года, — ездивший от царя Алексея Михайловича править посольство во град Флоренск к дуку Фердинандусу, носил в душе крепко сложившиеся , вековые типы, в которых он никогда не сомневался и дальше которых он ничего не видел. Его непосредственное отношение к жизни, вовсе ему чуждой, так дорого, что нельзя без искреннего умиления читать у него хотя бы вот это: «В Ливорне церковь Греческая во имя Николая Чудотворца и протопоп Афанасий... да в Венеции церковь же Греческая, *а больше того от Рима до Кольского острова нигде нет благочестия*»... Вы понимаете всю неразорванность этого взгляда, всю цельность и известную красоту типа, лежащего в его основании. Тип этот, наследованный от предков, — завещанный предками, — ни разу еще не сличал себя с другими жизненно-историческими типами. Он есть до того простое и наивное верование, что скажется скорее комическим взглядом на все другие типы, чем сомнением в себе и в своей исключительной законности...».

Замечено будто бы непосредственно о Денисе Ивановиче, да он и впрямь появляется рядом с послами Алексея Михайловича:

«...и будет ли это Лихачев во Флоренции, Чемоданов в Венеции... наконец, в эпоху позднейшую, даже Денис Фонвизин в разных иностранных землях, — вы в них верите, вы их понимаете, вы их любите, — разумеется, если вы — кровный русский».

Категоричность Григорьева порождена его страстным почвенничеством, а не исторической объективностью (и тут страсть оказывается выше очевидности). Даже будучи кровным русским, вовсе не обязательно умиляться допетровской российской неподвижности, — тем более что тип, отказывающийся сличать себя с иноземными типами, не был единственным в России, не стоявшей на месте.

Уже при сыне Алексея Петре посланники его воспринимают европейский обычай с изумлением, однако не без почтения: «...венециане, — пишет Петр Андреевич Толстой, — живут весело, никто ни от кого ни в чем страха не имеет, всякий делает по своей воле, кто что хочет». А побывавший во Франции Артамон Матвеев сообщает: «Король, кроме общих податей, хотя самодержавный государь, никаких насилований не может, особливо ни с кого взять ничего, разве по самой вине, по истине, рассужденной от парламента... Дети их (знати. — *Ст. Р.*) никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют, но в прямой воле и смелости воспитываются и без всякой трудности обучаются своим наукам».

Посланник Алексея Михайловича не заметил в чужих краях никакого благочестия (не мог и не хотел); послы Петра Алексеевича смогли, захо-

тели и увидели то, что не понравиться при всей своей непривычности не могло.

В фонвизинской России, уже давно стакнувшейся с Европою, дело переменилось тем более, и его настроения были вовсе не общеприняты. Покровитель его Никита Иванович впадал при случае даже в иную крайность.

«Как между протчим, — записывает Порошин, — разговорились о езде Его Превосходительства из Швеции сюда, и дошла речь до города Торнео, то спросил Его Высочество, *каков этот город?* Его превосходительство ответствовал, что дурен. Государь Великий Князь изволил на то еще спросить: *хуже нашего Клину или лутче?* Никита Иванович изволил ему на то сказать: «Уж Клину-то нашего конечно лутче. Нам, батюшка, нельзя еще, о чем бы то ни было, рассуждать в сравнении с собою. Можно рассуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к тому не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы верно всегда потеряем».

Одним словом, не то чтобы Фонвизин, подобно стародавнему стольнику, «носил в душе крепко сложившиеся, вековые типы», не то чтобы некуда было ему податься из этой традиции, — были и другие примеры и другие традиции. И хотя Вяземский называл ум Дениса Ивановича «слишком заматерелым, от оригинальности своей или самобытности односторонним», не способным к восприятию чужих стихий; хотя и говорил, что ум этот — «коренной русский, он на чужбине был как-то не у места и связан»; хотя есть в этом несомненная истина, однако не вся. Вероятно, даже не главная.

Предвзятость Дениса Ивановича — главным образом не наследие прошлого, а предвосхищение будущего.

Она еще не отложилась в стереотип, как бывает со всем традиционным. Она индивидуальна, как все новое. Тем более — преждевременное. Потом, гораздо позже, и она станет общей добычей, достанется даже чеховскому уроду Камышеву (потом, позже, — вот отчего неспособна унизить Фонвизина эта комическая аналогия); пока же она говорит о крупности и значительности — души, ума, взгляда.

«Словом сказать, господа вояжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем»... Как помним, именно эту мысль вызвала у Фонвизина злосчастная свинья, палимая на главной улице Лиона. Повод ничтожен, да его, кажется, и вообще не нужно. Мысль эта постоянно на уме у путешественника.

«Правду ты пишешь, что у нас в России обманывают без милосердия Кары, Машковы и прочие, говоря о здешней земле, как о земном рае».

«Я думал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, но ошибся жестоко».

Жестоко? Так ли? Кажется, что не особенно:

«Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам видел и что не может уже никто рассказами своими мне импозировать. Мы все, сколько ни на есть нас, русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с тем, о чем мы, развеся уши, слушивали. Славны бубны за горами — вот прямая истина!»

«Радуюсь сердечно» — это мало похоже на разочарование, да еще жестокое. Удивительное дело: впечатление таково, что, представляя Францию земным раем, Фонвизин все время хотел обмануться. Оттого и обрадовался. Как говорится сошлось с ответом, — но ответ-то был заготовлен заранее.

Позже французский историк Моран, повествуя о посещении своей родины великокняжеской четой, Павлом и Марией, и отнюдь не приукрасив тогдашнего бедственного положения Франции, скажет вскользь и, кажется, не без иронии:

«Один русский поэт, посетивший Францию в 1778 г., фон-Визин, заметил, что крестьяне были по уши в грязи. Разумеется, они мало походили на добрых поселян, тихих, скромных, признательных, простота сердца которых, по книгам Руссо, приводила в умиление Марию Федоровну».

Конечно, Фонвизин не был так глуп, чтобы путать литературу и реальность: законы словесности были отлично ему известны, да и доверчивости не было. Напротив, была наперед заданная недоверчивость. Ему непременно надобно было, чтобы Франция не оказалась земным раем, а когда так и вышло, то он возликовал, как человек, опытным путем подтвердивший свое великое открытие.

Что же он открывал?

Он открывал, сам того ясно не понимая, нечто новое в общественном российском сознании...

Пришла наконец пора вернуться к словам Достоевского о «французском кафтане», неожиданно написавшем «Бригадира»; к разговору, который мы, едва начав, оборвали.

«Рассудка француз не имеет, — писал Федор Михайлович в «Зимних заметках о летних впечатлениях», слегка вольно пересказывая Фонвизина, — да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фонвизина, три-четыре поколенья сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное».

Достоевский тут же оговаривается и отговаривается: «Пожалуй, это чувство и нехорошее...» — а все же перекличка с Аполлоном Григорьевым, с его уверенностью, что надобно любить неспособность к восприятию чужого, очевидна. Да и не удивительна: сам Достоевский весьма сочувствовал почвенничеству и не сочувствовал западничеству.

Удивительно другое — то, что Достоевский предположил, будто фонвизинская мысль не была чужда и одному из врагов славянофильства:

«Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция — это было в сорок шестом году... И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский... Так вот, кто знает, может быть, это словцо Фонвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то нравится».

Можно поверить, что о Белинском здесь сказана чистая правда. Сам он косвенно ее и подтвердил — тем, что, высоко оценив «письма к вельможе»,

скандальной фразе и, главное, всему непримиримому тону отпора не дал. Не поддержал, но и не отверг, будто бы не заметил... может быть, именно оттого, что эта соломинка не в чужом глазу, а и в своем тоже?

То, что могло быть с Белинским, с Фонвизиным не могло не быть. В его время как раз начинался мощный рост национального самосознания (самоосознания!), и слова Вяземского о том, что государыня-немка «хотела переделать нас в русских», ежели и не вполне точны, то разве потому, что дело не в немкином хотении, а в ходе истории, в центростремительной тяге Российского государства, по-плотницки сколоченного Петром, разваливавшегося при Аннах и Биронах, собирающегося в еще нескладное, но уже неразложимое целое при Екатерине.

Даже враги, Панин и Потемкин, ревностно делают одно дело, одному служат; повышенное государственное сознание — вот отличие русского человека восемнадцатого столетия, о чем мы еще поговорим. Чуть позже. Еще далеко до времен, когда станет возможным и естественным декабристское сознание, и лучшие люди России, стремящиеся служить общему благу, пока что идут вместе с властью. Или хотя бы стараются идти — как Панин, Фонвизин.

Другого пути еще нет. Разве что для белых ворон — для Радищева...

После-то возникнет и центробежность, и во имя любви к стране (опять-таки к ней) человек станет отпадать от государства: возникнет ненавидящая любовь Чаадаева, трезвая горечь пылкого Белинского, нетерпеливый гнев Чернышевского, — это о нем, подытоживая, скажет в 1914 году Ленин:

«Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения».

Здесь — признание преемственности, не только непосредственной; нет, ее корни протяженны и глубоки. Ленин обращался к Чернышевскому, который, в свою очередь, тоже не начинал, а продолжал путь, идущий издалека. Тоскующая любовь, — сказал Ленин; что ж странного, если мы находим аналог для его слов в глубине времен?

«Что есть любовь к Отечеству в нашем быту? — спрашивал еще Вяземский. И сам отвечал: — Ненависть настоящего положения. В этой любви патриот может сказать с Жуковским:

В любви я знал одни мученья.

Какая же тут любовь, спросят, когда не за что любить? Спросите разрешения загадки этой у строителя сердца человеческого. За что любим мы с нежностью, с пристрастием брата недостойного, сына, за которого часто краснеем?»

Это почувствовано независимо от Чаадаева, но вместе с ним: слова Вяземского относятся к 1829 году. Примерно тогда же он напишет в книге «Фон-Визин»: «Просвещенная любовь может негодовать и ненавидеть», презрительно осмеяв любовь невежественную, подобную страсти Простаковой к Митрофанушке. Так что как ни необычна чаадаевская фигура, ее самовыявление естественно для эпохи, а идеи по-своему даже традиционны.

По крайней мере та из них, что в нашем разговоре идет к делу.

Естественный парадокс: само непримиримое западничество Чаадаева, сопряженное с уничижительной критикой России и ее истории, с призывом к духовному единению с католической Европою, неотрывно от осознания российского мессианства:

«Мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей... ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество».

Вот оно, русское уничижение паче гордости!

Тут человек чем далее отчуждается от отчизны, тем ближе к ней оказывается. Чем яростнее клянет, тем яростнее любит. И когда один из людей чаадаевской породы, Печерин, эмигрант, принявший католичество, ставший монахом-иезуитом, после и оттуда ушедший, писатель, исповедальным характером своей книги «Замогильные записки» и даже ее капризно-естественным стилем предвосхитивший литературу двадцатого века, чуть ли не Розанова, — словом, когда этот по-новому странный чудак заявляет: «Как сладостно — отчизну ненавидеть!» — в его кощунстве все тот же комплекс любви-ненависти, уничижения-гордости.

Вот эти строки:

Как сладостно — отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья!
Я этим набожных господ обидеть
Не думал: всяк свое имеет мненье.
Любить? — любить умеет всякий нищий,
А ненависть — сердец могучих пища.

Всемирная денница — никак не мельче! Конечно, по Печерину, возрождение должно произойти под знаменем католицизма, а все ж и тут не обойтись без России. Без нее, вставшей из-под родных развалин, миру не выйти на дорогу истины.

Так странно ли, скажите, если ревностный западник Белинский окажется «тайным славянофилом»?

Есть нечто общее между русским западничеством и русским славянофильством: то, прежде всего, что они русские. Кем-то было замечено, что наше западничество — явление чисто восточное, ибо только для человека стороннего Запад мог быть идеальной мечтою. Для самого европейца он лишь реальность, нередко ненавистная.

Между прочим, и с географически противоположной стороны возможна подобная же иллюзия: Дидро, совсем не знавший России и издалека очарованный ее императрицею, считал, что преимущество северного колосса в его исторической запоздалости:

«Как счастлив народ, у которого ничего не сделано».

(Что и способствовало надеждам на Екатерину, в чьей власти было якобы по-архимедовски, рычагом разума повернуть подданную ей землю...)

Может быть, эта легко проходимая грань между еще не осознавшим себя славянофильством и еще не оформившимся западничеством (не осознавшим, не оформившимся, но уже живущими, как живет в семечке яблоня), — может быть, эта грань впервые стала столь заметна именно в Денисе Ивановиче Фонвизине.

И для него Запад, Франция были образцом, мечтой, «земным раем»; и

ему наскучило, говоря словами Достоевского, ходить на помочах; и он совершил резкий переход к горделиво-национальному самоощущению, к определению избраннической роли России (как полагал Плеханов, не без подсказки Дидро):

«Если здесь прежде нас жить начинали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous commençons ils finissent. Я думаю, что тот, кто родился, посчастливее того, кто умирает».

«Nous commençons et ils finissent». «Мы начинаем, а они кончают»... Много десятилетий эта мысль еще будет тешить русское сердце.

Я сказал: он совершил переход. Но где этот переход? Он так стремителен, что не уследить глазу: словно его и не было.

Только-только что вольтерьянствовавший «французский кафтан» чуть ли не в самый разгар своего галльского вольнодумства пишет «Бригадира», уже в нем начиная отчуждаться от помочей, а затем перечеркивает Францию в своих тенденциознейших письмах. Но это хоть и быстролетно, однако ж по крайней мере совершено в очень определенном, одном направлении.

И вдруг воды идут вспять. Едва Фонвизин, наглядевшись на чужеземные пороки, соглашается примириться с домашними: «Научился я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве...»; едва он начнет осваивать эту мысль, способную тешить Простаковых и воспитывать Митрофанов, как уже соучаствует в безыллюзорном «Рассуждении о непременных законах» и пишет беспощадного «Недоросля», где высмеивает их же, Простаковых и Митрофана, и осуждает непросвещенную любовь, плодящую одно злонравие.

Снова — переход? Переворот? Пересмотр? Нет, тут как бы всё в одном, противоречия в цельном, остроугольность в плавно замкнутом кругу; и патриотическая гордость, снижающаяся до тщеславия, и патриотический гнев, возвышающийся до «тоскующей любви»; и Простакова и Чаадаев.

Непоследовательность? Смутность? Неразборчивость? Это — куда ни шло. Но из этой непоследовательной и смутной неразборчивости, не одному Фонвизину свойственной, потом выкристаллизуются отчетливо идеи, которые надолго овладеют русскими умами, идеи противоборствующие, но и родственные, а пока иначе и быть не может: любое предвосхищение и слитно и смутно.

К тому ж дело и в характере века. Крутом, крупном, центростремительном...

ФИЗИОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Когда Денис Иванович в 1788 году напечатал в «Санкт-Петербургских ведомостях» проспект собственного собрания сочинений, в нем предполагались и «записки первого путешествия».

Собрание в свет не вышло, но никто не сомневается, что записки составились бы из дорожных писем; недаром в том же проспекте были объявлены и «разные письма»: препятствий к тому, чтобы публиковать частную переписку, автор не видел. Да и сбереженные черновики «журнала нашего вояжа», испещренные следами литературной отделки, говорят о том же.

А вскоре жанр и вовсе будет узаконен в России: появятся «Письма русского путешественника» Карамзина. «После письма, пересланного через

Лафатера, не получал я от вас ни одной строки, — станет сетовать их сочинитель. — Не совестно ли вам так долго молчать? Вы знаете, что я только посредством вас сообщаюсь с любезным моим отечеством». И тут уж не будет иметь ни малейшего значения, что на самом деле он ответа не ждет, что у него нет корреспондентов, только читатели, что эпистолярная форма — стилизация.

Много раз говорилось, что в карамзинских «Письмах», образце сентименталистской прозы, личность автора резко выдвинута на первый план и все окрашено в ее любимые цвета. Но то же самое и в письмах Фонвизина; он также заявляет о себе с предельной отчетливостью, и именно откровенный субъективизм обоих сочинителей делает броским их контрастное различие.

Фонвизин обнажается, сбрасывает с себя лишнее, производит решительный отсев мелочей ради оголенной мысли, — это заметно, если сравнить повествующие об одном и том же письма к сестрице Федосье и к Петру Ивановичу Панину; последние, как полагают, наиболее близки к возможному окончательному тексту, назначенному для публикации в собрании сочинений. Брат, семьянин, частный человек, освобождаясь от мелочей, интересных для домашнего кружка, на глазах превращается в государственного мужа.

С Карамзиным — наоборот! Он не обнажается, а облачается, собирает вокруг себя милые мелочи, чрезвычайно дорожа своим личным вкусом, частными пристрастиями:

«У прекрасной девушки купил я корзину черной вишни, хотя мелкой, однако ж отменно сладкой и вкусной, которая прохладила внутренний жар мой. Теперь, сидя в трактире за большим столом, дожидаюсь ужина».

И это не потакание собственным слабостям, но — позиция:

«Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцев! Оно через 20 лет (если столько проживу на свете) будет для меня еще приятно — пусть для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь сказано) занимательиее самого себя?.. Почему знать? Может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах; может быть, и другие... но это их, а не мое дело».

В мнимой беспечности — обдуманность и твердо прочерченная мысль; в рассеянной погруженности в себя, такой, словно забот окружающего мира вовсе и не существует, — рождение нового литературного сознания, начало нового века.

Русский сентиментализм сделал литературу делом частным, по внешности аполитичным, а по сути оппозиционным государственному строю.

«И крестьянки любить умеют» — экое открытие, скажите на милость! Кто ж этого не знал прежде? Но, оказывается, в самом деле не знали. По крайней мере не ощущали столь остро сердцем, — и вот влюбленные начинают ездить к Симонову монастырю, дабы поплакать над «Лизиным прудом», не только потому, что не читали прежде ничего более трогательного. Вернее, сама-то беспримерная в русской литературе трогательность «Бедной Лизы» — не оттого ли, что Карамзин вывел героиню из того сословного круга, в котором, как полагали, только и возможны чувства утонченные и просвещенные?

Совсем не в том дело, что он призвал читателя взглянуть на язвы нищего брата; нет, ему в голову не приходит селить Лизу в курной избе, делать скотницею или пряхой, водить на барщину, либо заниматься исчислением оброчных ее обязанностей, он, повторяю, вообще не вводит, а в ы в о д и т, извлекает из быта, помещает, так сказать, в лабораторную колбу (прием испытанный: какой-нибудь необитаемый остров, куда на двадцать восемь лет Дефо ссылает своего Робинзона, та же колба, та же искусственная атмосфера, в которую помещают героя, вынутого из обыденности, чтобы узнать о нем некую истину).

И этого довольно: Лизе надобно сочувствовать не за то, что она существо «нашего» круга, и не за то, что она, в отличие от благородных читательниц, страдает под ярмом рабства, — ни за то, ни за другое. Она — человек, вот и всё, она любить умеет, как все люди; чего еще потребно для сострадания?

Дело не в сословной приближенности или удаленности, а во всечеловеческом родстве.

«И крестьянки любить умеют» — это ново, это даже смело, потому что вот оно, обыденное сознание.

— Палашка где? — неистовствует госпожа Простакова.

— Захворала, матушка, — докладывает Еремеевна, — лежит с утра.

— Лежит! — подает свою чуть ли не самую знаменитую реплику фонвизинская фурия. — Ах, она бестия! Лежит! Как будто она благородная!

Еремеевна тянет свою нить, жалостливую:

— Такой жар разнял, матушка; без умолку бредит...

Простакова — свою, неуступчивую:

— Бредит, бестия! Как будто благородная!

Палашка — это бедная Лиза, за которой не признают права чувствовать и страдать по-человечески. То, что Фонвизин утверждал от противного, Карамзин сказал прямо.

Его смелость была и в том еще, что открытие насчет умения чувствовать, встречаемого и среди крестьянок, наводило на мысль, будто у крестьян, у народа есть какие-то личные функции, неподнадзорные, неподвластные монарху и не имеющие прямого отношения к исполнению своего долга в феодальном обществе. А программное, спорящее с классицизмом озаглавливание поэтического сборника «Мои безделки» («И мои безделки», — подхватит вслед за Карамзиным Дмитриев) — на мысль, что литератор тоже есть лицо хоть в какой-то степени частное, использующее досуг на сочинение безделок вместо того, чтоб денно и нощно восхвалять в одах государя или непосредственного начальника, то есть служить в поэзии, как в департаменте.

Вот этому сознанию Фонвизин чужд. Он пока в том веке, который спешит оставить Карамзин.

В заглавии «Мои безделки» важно не только второе слово. Важно и первое, «мои». Мои — ничьи более! Карамзин и в «Письмах» своих не устает повторять: «...пусть для меня одного... это их, а не мое дело... между нами будь сказано...» — словно и вправду не заботится о тираже своих сочинений и довольствуется интимным перешептыванием.

Фонвизин — иной. И он субъективен предельно, настойчиво, но для него литература — дело не частное.

Вяземский отдавал предпочтение «Письмам» Карамзина:

«Писанные без педантства, без догматической важности, они содержат больше истин и тонких наблюдений о Франции и французах, нежели письма Фон-Визина, которые писаны будто с кафедры, во услышание и трепет грешников. В одном только Карамзин сходится с ним, — во мнении о физической нечистоте Парижа».

Это суждение человека девятнадцатого столетия; точно так же и Пушкин резко корил Радищева за то, что его «Путешествие из Петербурга в Москву» слишком тенденциозно, отбор впечатлений слишком подчинен мысли[1], — и по-своему они были правы: странно выглядели дорожные записки Радищева и Фонвизина после «Писем» Карамзина, явления совершенно нового. Но и не правы - тоже. Ибо и Денис Иванович и Александр Николаевич, оба гиганта восемнадцатого века, ему и были верны. Его и выразили.

Сама субъективность Карамзина, казалось, даже подчеркивала его всесторонность и обстоятельность: она ограничивалась эмоциональной окраской впечатлений, даваемой к тому же душою благожелательной и мягкой. Фонвизин и Радищев были тенденциозны в отборе впечатлений и в оценке их. Разница велика.

Мысль, страсть, концепция царили в журналах их вояжей — по заграницам и по отечеству.

По-разному объясняли чрезвычайную мрачность фонвизинской Франции. Утверждали, что он смотрел на нее глазами сатирика, и в этом все дело (академик Н. С. Тихонравов). Писали, что разгадка не в нем, а в тамошней бедственности, сам же он вне подозрений в субъективизме: «Во Францию Фонвизин приехал совершенно непредубежденным человеком... В своих суждениях Фонвизин объективен» (Г. П. Макогоненко).

Увы! А может быть, и ура! — как посмотреть.

Монтень говорил о некоем вельможе, который совершил изрядное путешествие, но воротился из него, нимало не поумнев. Это оттого, добавлял великий скептик, что тот всюду возил с собою самого себя.

Закон этот не становится менее абсолютным, когда речь идет отнюдь не о глупце. Оставаться собою — дело самое естественное. Хотя и нелегкое.

Вяземский однажды, в записной книжке, высказался таким образом: «Я сегодня перечитывал Ф-Визина, письма его к родным, журнал: весело читать, ибо есть индивидуальность, физиономия времени». Лучше не скажешь, и в зарубежных записках Дениса Ивановича вряд ли нужно искать общую картину Европы, сколь много ни было бы в них проницательных замечаний. Надо искать его самого, его индивидуальность.

И — физиономию восемнадцатого века.

Фонвизин всюду возил с собою себя самого, свой государствостроительный ум, и даже новые, незнакомые прежде, чужие впечатления, как кирпичики, ложились в обдуманное здание. Им заранее уготована была роль строительного материала. И выводы соответствовали масштабу строительства: «Итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие... По всеобщему их образу мыслей обмануть не стыдно... Здесь во всем генерально хуже нашего...» — так он рубит сплеча, не размениваясь на мелочи. Но и хвалит сплеча, также не мелочась:

---

[1] Правда, Пушкин не соглашался с Вяземским в отношении его к фонвизинским письмам. Это разговор особый; несогласие гораздо более говорит о взглядах и настроениях самого Пушкина, чем о Фонвизине, потому я и пишу об этом подробно не здесь, а в моей книге «Драматург Пушкин» (М.: Искусство, 1977).

«Сие похвальное чувство вкоренено, можно сказать, во всем французском народе... Нет в свете нации, которая...» и т. д.

Все мощно, крупно, гипертрофированно.

Люди девятнадцатого века не без зависти поглядывали из своего времени на эту особенность века восемнадцатого. «Первенствующие лица, явившиеся на сцене его, — писал о царствовании Екатерины Вяземский, в общем-то не расположенный идеализировать прошлое, — были размера исполинского, героического: они рисуются пред глазами нашими, озаренные какой-то чудесности, баснословности, напоминающих нам действующие лица гомеровские. Это живые выходцы из Илиады». Сказано патетически. На самом деле за огромностью фасада, ставшего величественнее с течением времени, есть всякое, но это правда: размах — иной. Размах и хорошего и дурного.

Это во многом оттого, что человек мерит себя мерками, принятыми и утвержденными в масштабах государства. «Твое созданье я, создатель» — вот его самоощущение, выраженное Державиным в обращении к богу, но и государство тоже созидает гражданина по своему образу и подобию.

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.
Так! — весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

Ежели б Державин говорил не о себе и не о своих заслугах; ежели б он прямо взялся вычеканить не собственное лицо, а физиономию времени, он не мог бы сделать этого лучше... хотя ведь так всегда и бывает с поэтами: выражая себя, они выражают эпоху.

Не будь у Гаврилы Романовича столь звучного родового имени, он мог бы, по обычаю, уже распространяющемуся, взять его псевдонимом; оно звучит в духе значимых фамилий классицизма, Стародума или Правдина, Правдулюбова или Нельстецова (так однажды подписался Денис Иванович Фонвизин). Потому что Державин — певец державы и державности.

«Славянов род» — вот что дает надежду на личное бессмертие, вот величественная единица счета в пору национального самоосознания и самоутверждения. Не человек, не человечество, а нечто больше (и выше) первого и меньше второго: государство, народ, род. Нечто, объединенное политически, географически, этнически.

Меньше второго, сказал я; меньше человечества. Да, количественно меньше. Однако — не ниже! Напротив, интересы государства главнее интересов человечества, правота — правее, нравственность — нравственнее...

Вот еще эпизод из духовной жизни девятнадцатого века, спор Пушкина с Вяземским, — правда, односторонний.

«О чем шумите вы, народные витии?» — начал в 1831 году стихотворение «Клеветникам России» Пушкин, обращаясь к общественному мнению Европы, возмущенному расправой царского правительства с польским восстанием, а конкретнее — к депутатам французской палаты, призвавшим к вооруженной помощи полякам. «Вам непонятна, вам чужда сия старинная вражда», — урезонивал он, кончая угрозами.

Вяземский иначе смотрел на польский вопрос, и тем не менее он поставил другу в вину даже не политические убеждения; его поразило, что Пушкин вмешался в эти события как п о э т:

«Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою...» — это пишет душевладелец, для которого исправление крепостных нравов на конюшне дело, завещанное отцами и дедами; однако вот подает голос литератор новейшего времени: «...но все же нет тут вдохновений для поэта».

Собственно, этот упрек, содержавщийся в не отправленном Пушкину письме, Вяземский адресовал не ему самому, а Жуковскому. Но «шинельные» стихи того («Старая песня на новый лад») помещены в брошюре «На взятие Варшавы», вторым автором которой был Пушкин. Так что стрела метила в две мишени.

В записной книжке Пушкин и Жуковский оказались и вовсе объединены, как две равные жертвы шовинистического угара:

«Впрочем, Жуковский слишком под игом обстоятельств, слишком под влиянием лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли во всей чистоте и девственности их... Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича...» И — уже об одном Пушкине: «После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские... Когда решишься быть поэтом *событий,* а не *соображений,* то нечего робеть и жеманиться. — Пой да и только».

(Старорусская победа — жестокая и коварная расправа с мятежом в Старой Руссе.)

Попробуй Вяземский тогда обнародовать эту запись, его, вероятно, обвинили бы в призыве к тому, что позже прочно окрестят чистым искусством, к свободе поэта от «общественности». Но он это словно предвидел:

«Как можно в наше время видеть поэзию в *бомбах*... Может быть поэзия в мысли, которая направляет эти бомбы, и таковы были бомбы Наваринские, но здесь, по совести, где была *мысль* у нас или против нас? Мало ли что политика может и должна делать? Ей нужны палачи, но разве вы их будете петь».

Дело ясное: Вяземский хотел, чтобы Пушкин, любя отечество и блюдя интересы его, не поступался бы совестью поэта. Чтобы сохранял независимость, имея силу сказать государственной власти, что она не права и жестока — с точки зрения человека, человечества и человечности.

Этот совет и в то, уже расковавшееся, время был еще опасен. В восемнадцатом веке, во время Державина и Фонвизина, он немыслим. Нелеп.

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Изумительные державинские строки снабжены наивно-неуклюжим, как детский почерк, авторским примечанием: «Гиена, злейший африканский зверь, под коей здесь разумеется революционный дух Франции», — и кто бросит Державину упрек, столь же заслуженный, как заслужен упрек Вяземского Пушкину?

Суворов, конвоировавший пленного Пугачева и сбирающийся в поход на революционную Францию, — герой Державина, и неисторично было бы корить не только полководца, но и поэта. Для Гаврилы Романовича все просто, понятно; на Европу ему, разумеется, начхать, и интересы России, государственные и политические, никто в ту пору не вздумает обсуждать с нравственных, общечеловеческих позиций. Да и с религиозных тоже: каждая сторона надеется, что бог держит ее руку.

Во времена Пушкина человек начал вступать в непосредственные отношения с человечеством; если придется, то даже минуя неправедные государственные ограничения. И это пойдет дальше, гораздо дальше...

Известны слова Достоевского, записанные собеседником его, Сувориным.

«Представьте себе, — говорит Достоевский, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволили бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает».

Важно, к т о об этом говорит: не Желябов, а Достоевский. И надобно еще учесть, что разговор будто нарочно произошел в тот самый день, когда Млодецкий стрелял в Лорис-Меликова; собеседники этого знать не могли. Совпадение? Да, но не такое уж случайное: подобные вещи ожидались, казались возможными; недаром Достоевский задумался о заговоре серьезно и надолго.

Вспомним и о его воображении художника: если он в таких оттолкнувших его подробностях заранее нарисовал свой визит в полицию, надо думать, и взрыв встал перед ним в ужасающей реальности: огонь, кровь, стоны...

И все-таки: «я бы не пошел».

Да и Суворин, когда покушение на бархатного диктатора свершилось-таки, был, по его же словам, смущен тем, как бы правительство теперь не «повернуло на старую дорогу». Разумеется, это опасение не пришло вдруг, оно жило в нем раньше, — значит, не донося, он соглашался жертвовать даже общественной пользою!

Так как же, значит, антипатична им обоим государственная машина самодержавия. И как переменилось отношение к врагам ее — за срок, исторически не чересчур долгий, менее чем за сто лет. Петр Панин с радо-

стною готовностью идет против Пугачева, и Денис Иванович Фонвизин, естественно, радуется вместе с ним. Больше того, Панин выдирает клок из бороды беззащитного бунтовщика, не теряя при этом ни самоуважеиия, ни, конечно, глубочайшего уважения Фонвизина. Пушкин пересказывает этот эпизод, сохраняя бесстрастность историка, хотя и заметно, что Петр Иванович ему в этот миг героем не кажется, — а можно ли представить себе в той же ситуации сдержанность Достоевского?

«Просто — боязнь прослыть доиосчиком». Какая «ничтожная» чепуха, а нельзя перешагнуть через нее. Невозможно. Государственные — да и вообще немаловажные — интересы отступают перед просто моралью. Таков путь, пройденный к этому времени русским сознанием.

Но вспомним о «Памятнике» Державина.

«Доколь Славянов род вселенна будет чтить», дотоле будет славен и поэт. В другом «Памятнике», пушкинском, надежда уже совсем на иное:

> ...И славен буду я, доколь в подлунном мире
> Жив будет хоть один пиит.

Как изменилась единица счета: не слитная масса, не «род», державно осеняющий собственным почетом своего певца, а индивидуальность; так ведь и сказано — «хоть один». Не вселенское признание, окружившее сообщество людей, а способность хоть одной души к сочувствию, голос избранного родства.

Для Пушкина очень важно, что рѐчь не просто об одной душе, но о душе пиита, именно его, собрата и совнимателя, — однако мы сейчас имеем право сосредоточиться не на личном, а на общем, тем более что и говорим не о лично-тайном, а об обще-открытом. О стихотворении не «Я вас любил...», а «Я памятник воздвиг...». Любят вдвоем, без посторонних; памятник стоит на скрещении народных троп.

Пушкинский «Памятник» — построфный ответ державинскому[1], и этот осознанный параллелизм способен многое сказать о том, как изменилось в последующем веке самоощущение поэта, да и просто человека. «Поправки» Пушкина весомы, даже если сделаны легким и невольным взмахом пера.

Итак, «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...». Пушкин исправляет: «нерукотворный». И добавляет, что его памятник выше имперского Александрийского столпа.

Далее: «Славянов род» — и «хоть один пиит».

Тут все разнится: даже самое начало второй строфы, хотя это уж наверняка поправка именно невольная. «Так! — весь я не умру...» и «Нет, весь я не умру...». Восклицательиое «так!», то есть «да!» по-тогдашнему, и спокойное «нет».

Насколько увереннее Державин — не оттого ли, что за ним и над ним целый славяиский род, в бесконечности которого и в праве на всеобщее уважение он ничуть не сомневается? Пушкин, тот не то чтобы пессимистичнее, но ведь пиит может родиться или не родиться, подать или не подать голос, это от многого зависит, даже от случайностей, а неспроста добавленное «жив

---

[1] Эту непосредственную связь, проливающую свет на смысл пушкинского стихотворения, отметил С. М. Бонди. Его работа (О Пушкине. М.: Худож. лит., 1978) вышла в свет, когда моя книга готовилась к печати; поэтому, успев указать на факт сходства подхода к двум «Памятникам», я лишен был возможности высказать наши — немалые — расхождения. Да и спор вышел бы литературоведческим, здесь неуместным.

будет хоть один» вообще приближает существование поэзии к роковому пределу: этот «один» может и сгинуть...

Перейдем к строфе третьей. Вот державинская:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал...

Оборвем цитату на полуфразе. Здесь пушкинское вмешательство наименьшее: и у него — великая Русь и населяющие ее языки; полемики, хотя бы и негаданной, нет. Это понятно: сам Пушкин — человек в высшем смысле государственный, а кроме того, в третьей строфе — лишь приступ к ответу, ч е м будет славен поэт, Державин или Пушкин, в ней только указание на размах славы.

Вернее, разница все-таки есть: у Державина — географические границы и м п е р и и, у Пушкина — населяющие ее народы, люди, д у ш и. Но мы и это можем миновать. Главное — впереди.

Державин:

...Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге,
И истину царям с улыбкой говорить.

Пушкин:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Вот в чем дело! Вот что подняло Державина из безвестности: прикосновенность к царям, небесному и земным, к добродетелям воспетой им Екатерины (нет, Фелицы, — путать реальную российскую императрицу с ее идеальным образом, с киргиз-кайсацкой царевной, все-таки не стоит) и к богу, о коем и с коим ведет он сердечные беседы. В космосе восемнадцатого века они, бог и царь, равно необходимы человеку для самоуважения и самоутверждения; вне их, вне религии и государства, он — н и ч т о.

В этом смысле откровенен Державин, в оде «Бог» самоутверждающийся благодаря своему создателю: «Ты есть — и я уж не ничто». Самостоятельностью, отдельностью он не дорожит — не то что гордец Пушкин, полукощунственно приравнивающий голос вдохновения к божьему гласу.

Вот Державин:

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Так ощущает себя человек этой эпохи: он часть, а не целое, и горд этим. Он входит кирпичом в общую кладку и боками удовлетворенно ощущает сплоченность ее, прочность и тесноту. Он сам себе интересен именно прикосновенностью к плотной громаде, увенчанной на небе государем небесным, на земле — земным (при этом, разумеется, персона царя может его не устраивать, однако необходимость в непременной персонификации государства он ощущает постоянно). Сама истина, цель, к которой извечно стремят-

ся разум и сердце, становится особенно дорогой оттого, что ее внушают государям:

И истину царям с улыбкой говорить.

Улыбка — это и та доля независимости, которую себе может позволить принципиально зависимый человек, и граница своеволия: улыбайся, шути, но не восставай. И напротив: не восставай, но улыбайся.

Улыбка, в отличие от дерзкого хохота, — знак домашности, союзничества, внутреннего мира.

Так у Державина. Что же у Пушкина?

Совсем иное: «чувства добрые», «свобода», «милость к падшим призывал...» Правда, царскую милость, но к тем, кто восстал против царя.

Пушкин, государственник, в «Медном всаднике» мучительно ищущий равновесия между Петром Великим и маленьким Евгением, а в оде «Клеветникам России» по-державински становящийся на сторону государства против человечества, — он, Пушкин, все-таки уходит если не из-под власти, то из-под обаяния самодержавной государственности. Нерукотворный памятник, воздвигаемый поэтом самому себе, выше столпа, воздвигнутого царем царю, и, главное, разницу не измерить погонными метрами, тут не меньше-больше, не ниже-выше; разница нерукотворна, как сам памятник, она выше вышины, то есть неподвластна официально установленным меркам почета и славы: кому Андрея Первозванного, а кому достанет и Владимира в петлицу.

И поэт — неподвластен. Он сам по себе. «Ты царь: живи один».

Сравнивая, я не хвалю и не хулю, да исторические закономерности вообще мало подходят для оценок: «это хорошо, а это дурно». Иногда хорошо, иногда дурно, не только в этом дело; отношения человека и общества эволюционируют, и если в восемнадцатом веке ответ на вопрос: «общество или я?» безапелляционен: «только общество» (что прозвучало в классицизме), то век девятнадцатый отвечает иначе: «общество и я», «я и общество», как угодно, даже романтически-бунтарски: «только я, ежели общество невыносимо». Это даже в некотором смысле вопрос второстепенный; главное: «человечество и я». Личность выделилась, вычленилась, в то же время еще не стремясь вовсе обособиться и оторваться... Говорю «еще», ибо, как показало искусство двадцатого века, ныне уже возник и окреп опасный соблазн ответить: «только я», возник прежде всего на Западе, где культивирование личности всегда было отчетливее. А за этим следует духовное одиночество, распад, разрыв всех связей, начиная с общечеловеческих, что остро и бедственно ощутили художники и философы.

Пушкин от этого далек. У него-то — не призыв к одиночеству, горечь которого слишком была ему известна. И, разумеется, не самодовольное олимпийство, — об этом говорит и «Памятник», где уверенность в заслуженности своей незабвенности печально скорректирована условием бессмертия, тем самым: «жив будет хоть один пиит». «Хоть один» — это не державинский канат, сплетенный сообща, а ниточка.

Пушкин утверждает духовную независимость, которая поэту в конечном счете нужна для зависимости — от людей, от долга перед ними. Так что сама мечта уйти «в обитель дальную трудов и чистых нег» — не попытка удрать от полноты бытия и борьбы. Недаром в строке «На свете счастья нет, но есть покой и воля» рядом с «покоем» — «воля», то, без чего сам желанный покой не нужен.

Державин поднимал очи горе́, возглашал тем, кто выше его: богу, царям; с богом беседовал, царям улыбался, порою смело. Пушкин — вне власти царя, по крайней мере земного (конечно, не физической власти: тут все беспомощны равно). «Чувства добрые» существуют помимо царей, они не ими определены; «свобода» существует вопреки им и уж, во всяком случае, не благодаря; «падшие» оттого и пали, что, подобно падшим ангелам, восставшим на царя небесного и им сверженным в ад, восстали на земного царя и сосланы в ад земной. В «каторжные норы».

Об этом четвертая строфа пушкинского «Памятника».

Что касается пятой, то она давно вызывает недоумения и споры:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

«Загадочная, волнующая своей непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф», — сказал о ней Вересаев, а Гершензона загадочность подвигнула на создание полускандальной версии, согласно которой все, сказанное Пушкиным прежде, и чувства добрые, и милость к падшим, есть изложение чужого, пошлого мнения, того, за что ценит поэта «бессмысленный народ», — сам же он себя ценит за заслуги не столь утилитарные...

Однако смысл и этой строфы зависит от державинского «Памятника», да и как иначе? Пушкин писал для читателя, у которого знаменитый и недавний завет Державина был на слуху:

О Муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.

«Возгордись... Презирай...» — рядом с этими призывами Пушкин и вправду словно бы скептически покорен: «будь послушна... не оспоривай...» Но и это — продолжение все того же различия. Только после того, как Державин обозначил свою прикосновенность к царям, небесному и земному; только после того, как он ощутил себя наинужнейшей частью и мироздания и здания государственного, он готов принять венец бессмертия. Он даже требует его; «венчай», — повелительно разрешает он своей музе, а непринужденность и неторопливость, с которыми она должна себя увенчать, как раз и говорят об ощущении заслуженности. Незачем торопиться: заслугу никто не отнимет. И принудить не смеет никто: заслуга, в ы с л у г а дали ему право на венец — по законам, принятым в державе.

Это как выслуженное дворянство, как «патент на благородство», добытый трудами и врученный по трудам: не случайно незнатный Державин уязвленно и гордо отметил свое возвышение «из безвестности».

«Венчай», — требует Гаврила Романович; «не требуя венца», — говорит Пушкин. Даже не «не требуй», а именно «не требуя», вскользь, в деепричастном обороте. Но отчего же не требовать? Сам же только что, нимало не скромничая, перечислил свои заслуги, для которых понадобились и мужество и гений.

Оттого, что — у кого же требовать? У царя? У толпы? «Зависеть от царя, зависеть от народа?» К чему? «Ты сам свой высший суд».

Нерукотворный памятник выше способности самовластия оценить заслуги поэта, как оценило оно победу Александра над Наполеоном поста-

новлением столпа. И суд высший не потому, что главнее императорского. Он просто другой, особый, царям непонятный и неподвластный. Оии тут ни при чем.

«Ты царь» в своем царстве, а не они.

Надеюсь, что меня не заподозрят в ледяном объективизме, если скажу еще раз: я не хулю, не хвалю, я всего лишь — в данном случае — сравниваю. В Фонвизине или Державине уже Пушкину многое казалось неблаговидным (или, точнее, еще Пушкину, ибо тут было полемическое отталкивание ближайшего потомка): Державина он прямо укорял в льстивости, о фонвизинском характере отзывался, что тот «нуждается в оправдании». В черновике же, нередко более откровенном, чем беловик, сказано резче:

«...Характер коего не очень достоин уважения».

Даже так!

Однако оба, и Фонвизин и Державин, уважения более чем достойны: просто их — по-своему высокое — представление о личной чести и внутреннем достоинстве существует в условиях века и сообразуется с его понятиями. Другие-то — откуда взять?

...У Державина есть два послания, адресованные одинаково: «Храповицкому». И оба являются ответами на обращения адресата.

Одно из обращений, более позднее, содержало в себе полусовет-полуупрек Державину:

Достойны громкой славы звуков
Пожарский, Минин, Долгоруков
И за Дунаем храбрый Петр;
Но Зубовых дела не громки,
И спрячь Потемкиных в потемки:
Как пузырей их свеет ветр.

Что можно возразить? За Храповицким как будто правота, и самоочевидная: стоит ли, в самом деле, гордиться тем, что ты воспевал ничтожнейшего Платошу, а кряду и братьев его? Да и Потемкин... восхищение ли только водило державинским пером? Не иные ли соображения?

Тем не менее Державин не желает отказаться от своих од. Дружески и твердо он отвечает:

Извини ж, мой друг, коль лестно
Я кого где воспевал;
Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалял.

И в этом случае им можно только восхититься.

Дело в том, что и совет и ответ написаны в 1797 году, когда у власти был уже Павел, и Храповицкий, статс-секретарь покойной Екатерины и помощник в ее литературных занятиях, сам весьма ловкий льстец, проявлял обыкновеннейшую и заботливую осмотрительность. Он остерегал Гаврилу Романовича от императорского гнева, который мог бы разразиться, если б Державин не выбросил из собрания сочинений похвалы бывшим баловням судьбы и государыни.

Остереженне было тем более нелишним, а ответ Державина тем более смел, что сам Павел именно распорядился спрятать Потемкина в потемки: вышибал «потемкинский дух», подозревая его чуть не в каждом офицере, приказал заделать могилу светлейшего, взыскал с наследников его долги.

А Зубову повелел вернуть полмиллиона, обнаружив недостачу в казенных суммах. В чем, конечно, был прав.

Понятно, не стоит впадать в иную крайность и рисовать Гаврилу Романовича рыцарем прямодушия: и лукавил, и жаждал высочайшей ласки, и менять хвалу на хулу приходилось (посвящал императору Павлу оды, а едва того убрали, возрадовался: «умолк рев Норда сиповатый»); но, если учесть Павлов нрав, то в небезопасном диалоге с Храповицким смел Державин, а не более гибкий оппонент.

Прежде-то статс-секретарь звал великого собрата совсем к другому: четырьмя годами ранее уговаривал его бросить «чужую песню», оставить сатиры и заняться делом, во всех отношениях более благодарным:

Оставь при ябеде вдовицу,
Судей со взятками оставь;
Воспой еще, воспой Фелицу,
Хвалы к хвалам ее прибавь.

А Державин и в тот раз отвечал отказом, отлично понимая, впрочем, от чего отказывается:

Так, так, — за средственны стишки
Монисты, гривны, ожерелья,
Бесценны перстни, камешки
Я брал с нее бы за безделья...

И заключал: нет, теперь не до того, теперь его занимает другое, и отказаться от сражений за справедливость невозможно: «Богов певец не будет никогда подлец».

Снова он вел себя с отменной смелостью, тем более что Храповицкий чутко уловил желание императрицы. Да и как можно было не уловить? Она, после «Фелицы» сделавшая и Державина своим секретарем, конечно, полагала, что близость к натуре вдохновит одописца на новые восторги.

Но у этого «льстеца» были, оказывается, свои творческие — то есть тем самым свободные, не внушенные никем — законы. Своя пиитическая этика.

«Случалось, — вспоминал он в своих «Записках», говоря, как обыкновенно, о себе в третьем лице, — что императрица заводила речь и о стихах докладчика и неоднократно прашивала его, чтоб он писал в роде оды Фелице. Он ей обещал и несколько раз принимался, запираясь по неделе дома, но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом... Видя дворские хитрости и беспрестанные себе толчки, не собрался с духом и не мог писать похвал, каковы в оде Фелице и тому подобных сочинениях, которые им писаны не в бытность его еще при дворе; ибо издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему при приближении к двору весьма человеческими и даже низкими и недостойными Великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу ее».

Не то чтоб он упирался: нет, не стану писать, не хочу; брался и пробовал, но что-то сдерживало его перо. Впрочем, он объяснил, что именно.

Когда во втором, уже припавловском, послании Храповицкому Державин сказал гордые слова:

Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить... —

это могло показаться красным словцом. Теперь видим, что он был прав в

своем самоощущении: ни рабом, ни льстецом он себя не считал. Да и не был, по главной сути.

У Антона Дельвига есть строчки, в которых он говорит о своей скромной и несомненной независимости: «Так певал без принужденья, как на ветке соловей...» Державин, как и прочие стихотворцы восемнадцатого века, певал не на ветке. Не на воле. Не вне общего здания. Он пел внутри, в строго ограниченном пространстве, в золотой клетке. И был все-таки по-своему свободен — таков феномен его эпохи.

Разумеется, речь идет о свободе внутренней, но ведь о ней поэты и мечтают, она и была необходима Пушкину, именно ее у него и отняли, тем самым убив его; по словам Блока, «не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу».

Таковым был — по-своему, конечно, — и Денис Иванович Фонвизин; позже его унижали тем, что он будто бы не гнушался шутовством у Потемкина, занимался искательством перед Паниным, — что ж, пороки есть у всех людей и, конечно, он не был отчаянным храбрецом вроде Радищева; однако тот же Пушкин имел все основания окрестить его «другом свободы», что для фонвизинского века было заслугою чрезвычайной.

Нигде так не опасна внеисторичность, как в нравственных оценках, и наивно было бы с нынешних высот, завоеванных, между прочим, не нами самими, а протекшим временем, осудить «рабские» фразы в письмах из Франции, не сообразив, отчего же они явились под пером замечательного человека (еще хуже сделать вид, что их не существует, а то и одобрить). Или, скажем, заподозрить в отношении к Никите Ивановичу Панину не только искренние любовь и благодарность, но корыстную расчетливость. Или... и так далее.

«Безумным и мудрым» окрестил свое столетие Радищев; приметим, что в те времена слово «безумный» вовсе еще не звучало с той горделивостью, какою после наделил ее романтизм: дескать, не такой, как пошлая толпа, благородно одержимый, озаренный нездешним светом... нет, оно значило: глупый, дурацкий, сумасшедший — одним словом, без-умный. И как же надо нам чтить людей, которые, быв созданьями своего создателя, от крови и плоти его, предпочтительно приняли на себя ношу его мудрости. И вынесли эту ношу.

А как это было трудно, о том и говорят их срывы в без-умие...

ОТСТАВНОЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК

Однако ж, пока Денис Иванович путешествовал, служебные дела его покровителя, а стало быть, и его самого помаленьку, но неуклонно ухудшались. С момента же возвращения конец стал приближаться все стремительнее и неотвратимее.

До чрезвычайности возвысившийся «почетный фаворит» Потемкин и подпиравший его Безбородко всё делали, чтоб свалить врага опасного, хотя и теряющего силы (придворные, да и физические). Главное же, Екатерине давно не терпелось очистить от Панина уже не только дом наследника, но и Коллегию иностранных дел.

Наконец наступил удобный момент. В конце апреля 1781 года Никита

Иванович уехал на три месяца в отпуск, и явилась возможность прибрать его дела к рукам.

Англнйский посол Гаррис удовлетворенно доносил начальству о шаткости положения того, кто со своей идеей вооруженного нейтралитета наделал его родине столько хлопот:

«Невероятно, чтобы граф Панин снова вступил в управление делами. Он хочет приехать сюда ко времени привития оспы великим князьям. Это в особенности не нравится императрице, которая с гневом сказала, что не понимает, зачем будет Панин при этом случае; что он всегда вел себя, как будто был членом семьи, и ее дети и внучата столько же принадлежали ему, как и ей...»

Тут, разумеется, снова ревность не матери и бабки, а императрицы; на всем отсвет политики, интриг, борьбы за власть, и трогательная семейная троица, которую Фонвизин нарисовал в «Слове на выздоровление Павла», также была, как помним, вызовом и дерзостью.

Однако вернемся к Гаррису:

«...но, прибавила государыня, если Панин думает, что когда-нибудь вступит в должность первого министра, он жестоко ошибается. При дворе моем он не будет иметь другой должности, кроме обязаниости сиделки».

В сентябре Никита Иванович возвращается — увы, только в Петербург, но не к делам. Екатерина приказала вице-канцлеру прямо докладывать ей, минуя Панина, помимо него предоставлять дипломатическую переписку, без него вести корреспонденцию с иностранцами. За этим следует естественный исход: полная отставка.

Любопытно, что окончательной увереиности в победе над Паниным и сейчас еще нет, и Потемкин говорит все тому же Гаррису:

«Вы знаете изменчивость нашего двора, Панин может снова занять свои места, и если вы будете внимательны к нему во время немилости, ему будет стыдно действовать против вас, как он до сих пор действовал».

Что это, сочувствие Панину? Конечно, нет: скорее трезвое и боязливое предположение, что дипломатические таланты отставника еще могут пригодиться и перевесить ненависть к нему Екатерины. И расчет: чем черт не шутит, вдруг судьба повернется, а союз с Англией дело важное.

Нет, не повернулась. К тому ж спроважен в заграничное путешествие Павел, и решение исключить самую возможность его стачки с бывшим воспитателем было тут не последней причиной. Мария Федоровна никак не хотела ехать без детей, — Потемкин тут же донес царице, что и это козни Никиты Панина, — но Екатерина настояла на своем: граф и графиня Северные отбыли. В ужасном состоянии; словно едут в вечное изгнание, говорит очевидец. С Марией Федоровной был даже обморок отчаяния.

В этот день Екатериа в последний раз встретилась с Никитою Ивановичем и уж постаралась его унизить: «... она явно выразила ему свое презрение, что необыкновенно смутило спокойную и неподвижную физиономию Панина».

Вслед за тем — физическое расстройство, вызванное, без сомнения, потрясением душевным, и, в марте 1783 года, смерть. Бывший ученик, Павел, в последние годы от Панина удалившийся, все же приехал к нему в прощальный час его жизни и рыдал над его одром. Бывший секретарь, Фонвизин, не расставался с покровителем и другом до конца.

Правда, историк, не благоволивший ни к Никите Панину, ни к Денису

Фонвизину, его «созданию и преданнейшему слуге», сообщает не без злорадного удовольствия, что Фонвизин около 1780 года часто и своекорыстно бывал у побеждающего врага своего патрона, Потемкина, «и, во время утреннего туалета, веселил его рассказами о придворных и городских сплетнях. Потемкин смеялся, но дело не подвигалось вперед, и скоро посещения Фонвизина прекратились — они никогда не нравились императрице, считавшей их способом выведывания о том, что делалось при большом дворе...»

Конечно, нам, сегодняшним, хотелось бы с негодованием опровергнуть то, что Денис Иванович не только посещал, но и веселил недруга Никиты Ивановича; лучше б этого не было, даже если заразиться Екатерининой подозрительностью и поверить, что он бывал у Потемкина с шпионскими поручениями от Панина. Но вот документ; вот записка императрицы, адресованная вечному фавориту. Для документальности сохраняю орфографию:

«Сто леть, как я тебя не видала; как хочеш, но очисти горница, как приеду из комедии, чтоб приити могла, а то ден несносен будет и так ведь грусен проходил; черт Фанвизина к вам привел. Дабро, душенка, он забавнее меня знатно; однако я тебя люблю, а он, кроме себя, никого».

(К слову сказать, беспомощность Екатерины в российской орфографии — вплоть до легендарного «исчо» — покажется вовсе не такой исключительной на тогдашнем фоне. Она-то хоть иноземка, но и у образованнейшей княгини Дашковой, урожденной Воронцовой, русское правописание коряво. И не удивительно: в юности читавшая Беля, Монтескье, Буало, Вольтера, Гельвеция, уже знавшая четыре языка, она сообщает как о некоей редкости и почти прихоти: «...а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев». Да что говорить, если пушкинская Татьяна и та по-русски почти не читала и вовсе не писала.)

Одним словом, нам с вами, читатель, придется утешиться только что испытанным способом: размышлениями о характере века, в коем всего, даже и добра общественного, трудно добиться без сильного покровительства. И еще тем, что Денис Иванович, как истинный друг, не оставлял Панина до смерти и чтил по смерти. Больше того, написал по его плану «Рассуждение о непременных законах». Можно сказать, воздвиг ему памятник — выше того, что, воцарившись, поставил воспитателю Павел в церкви святой Магдалины, в Павловске. Выше, ибо также нерукотворный.

Добавим, что после он, исполняя долг верности и любви, сочинил жизнеописание покровителя, а это было поступком весьма опасным, почти даже недозволенным: недаром «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина» вышла анонимно и — вероятно, для анонимности пущей — сперва на французском языке.

Опасность, стало быть, сознавалась ясно, и сокрытие имени — тому подтверждение. Не то чтоб полиция не могла разыскать сочинителя, но... на всякий случай...

И больше того. Фонвизин немедля последовал за своим высоким другом — еще не в могилу, но в отставку.

Вот финал его служебной карьеры.

«Всемилостивейшая государыня!

В действительной службе Вашего Императорского Величества нахожусь блнз двадцати лет. В 1762 году вступил я из гвардии сержантов в Коллегию иностранных дел переводчнком. В 1764-м по именному Вашего Императорского Величества указу определен я при Кабинете титулярным советником. В 1769-м по именному же высочайшему указу взят я в ту же коллегию и находился при канцелярии господина тайного действительного советника графа Никиты Ивановича Панина надворным советником близ десяти лет. При торжестве мира всемилостивейше награжден я прибавкою пятисот рублев в год к настоящему окладу. В 1779-м пожалован я канцелярии советником, а в прошлом году определен на место статского советиика, члена почтовой экспедиции.

Жестокая головная болезнь, которою стражду я с самых детских лет, так возросла с моими летами, что составляет теперь несчастье жизни моей. Оно тем для меня тягостнее, что отъемлет у меня силу продолжать усерднейшую службу Вашему Императорскому Величеству. В сей крайности состояния моего принужденным иахожусь, припадая к священным стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше просить моего от службы увольнения.

Денис Фон-Визин

7 марта 1782 года».

Головная болезнь — не пустая отговорка, однако за всеми обязательными фразами: «...отъемлет у меня силу продолжать усерднейшую службу... припадая к священным стопам...» — горчайшие разочарования, крушение надежд свершить нечто на поприще д е л а.

Остается с л о в о.

Да и о самой болезни Фонвизин некогда писал Елагину не без осмысленного сарказма: «Все медики единогласно утверждают, что стихотворец паче всех людей на свете должен апоплексии опасаться. Бедная жизнь, тяжкая работа и скоропостижная смерть — вот чем пиит от прочих тварей отличается».

В именном указе об увольнении тем более не будет ни радости по поводу окончательного свержения Панина, ни недоброжелательства к его «созданию». Все пристойно и более того, так что приятель Дениса Ивановича Герман Клостерман вполне сможет сказать: Фонвизин получил отставку «на лестных для него условиях».

«Нашему генерал-майору Безбородко.

Находившемуся членом в главном почтовых дел правлении статскому советнику Денису Фон-Визину, уволенному по его прошению, от всех дел, повелеваем производить по смерть от почтовых доходов половинное его жалованье с прибавочным окладом, пожалованным от нас ему в 1 день июня 1779 г.

Екатерина

В Санкт Петербурге
Марта 10 дня 1782 г.»

Если перевести это на рубли, условия действительно довольно лестные — 3000 в год.

Итак, отныне Денис Иванович — отставной статский советник. И — сочинитель «Недоросля». Ибо пока происходило все вышеописанное, он успел сочинить обессмертившую его комедию.

Я ПРАВДУ О ТЕБЕ ПОРАССКАЖУ ТАКУЮ...

УМРИ, ДЕНИС!

Ипполит Богданович, будущий автор прославленной «Душеньки», так отрецензировал представление «Недоросля»:

Почтенный Стародум,
Услышав подлый шум,
Где баба непригоже
С ногтями лезет к роже,
Ушел скорей домой.
Писатель дорогой!
Прости, я сделал то же.

Неизвестно, точно ли насмешник ушел недосмотрев или погрозился погодя; второе — вероятнее. Известно зато, что публика с Богдановичем не согласилась.

«Представлена в первой раз, — сообщал о комедии «Недоросль» современный Драматический словарь, — в Санктпетербурге, Сентября 24 дня 1782 года, на щот перваго придворнаго актера г. Дмитревскаго, в которое время несравненно театр был наполнен и публика аплодировала пиесу метанием кошельков. Характер Мамы играл бывшей придворной актер г. Шумской к несравненному удовольствию зрителей... Сия комедия, наполненная замысловатыми изражениями, множеством действующих лиц, где каждой в своем характере изречениями различается, заслужила внимание от публики».

«По окончании пьесы, — прибавляет другой источник, — зрители бросили на сцену г. Дмитревскому кошелек, наполненный золотом и серебром. ...Дмитревский, подняв его, говорил речь к зрителям, в которой благодарил публику и прощался с ней».

Что известно еще? Ну, разумеется, фраза Потемкина, ставшая столь крылатой, что не все уже соотносят ее с Фонвизиным, порою просто не помня, какой это Денис должен вдруг помирать, ибо лучшего уж не напишет; известно и то, что путь к представлению был не совсем ладок.

28 мая 1782 года из Петербурга за границу отправлено письмо.

Адресат — князь Александр Борисович Куракин (между прочим, племянник Никиты Панина, назначенный им в товарищи маленькому Павлу и оставшийся таковым), автор — гувернер и друг князя Пикар.

«Мы не увидим здесь, — сожалеет француз, — новую комедию г-на Фон-Визина под названием «Недоросль», на что мы прежде надеялись, потому что актеры не знают своих ролей и не в состоянии сыграть ее в назначенное время. Автор уезжает через несколько дней в Москву и, говорят, поставит свою комедию на московском театре; при настоящем недостатке в удовольствиях и театрах это действительно лишение для публики, которая уже давно отдает должную справедливость превосходному таланту г-на Фон-Визина; несколько просвещенных особ, прослушавшие чтение этой комедии, уверяют, что это лучшая из русских театральных пиес в комическом роде; действие ведено умно и искусно и развязка весьма удачна».

Правда, комически славный стихотворец граф Хвостов сообщает нечто иное:

Лишь «Недоросля» нам Фон-Визин написал,
Надменнин автора исподтишка кусал.
Тут стрелы злобные отвсюду полетели,
Комедию играть актеры не хотели...

«Не хотели» — не значит «лодырничали»; Хвостов подтверждает это своим примечанием к стихам:

«Недоросль» Фон-Визина вытерпел большое гонение, что известно современникам и театральной архиве».

Фонвизин с Дмитревским кинулись в Москву, там читали комедию по домам, вели переговоры о постановке, но дело и тут не спорилось: возникли препятствия цензурные. Управа благочиния — попросту говоря, полиция — не спешила разрешать неблагочинную пьесу. Старая столица осторожно уступала первенство новой.

Уже после того, как петербургская публика в полном смысле щедро вознаградила старания Дмитревского и Шумского, Денис Иванович все еще тревожно писал московскому антрепренеру Медоксу:

«Брат мой, я надеюсь, передал вам, любезный Медокс, известный пакет и объяснил принятое мною решение для уничтожения толков, возбужденных упорством вашего цензора. Продолжительное ваше молчание слишком ясно доказывает мне неуспех ваших стараний, чтобы получить позволение. Я положил конец интриге и, кажется, тем достаточно доказал прямое согласие на представление моей пьесы, потому что 24 числа этого месяца придворные актеры Е. И. В. играли ее на публичном театре по письменному дозволению от правительства. Успех был полный».

Тут уж дрогнула и консервативная Москва, хотя не сразу: ее публика увидела «Недоросля» только в мае следующего, 1783 года. Зато в течение сезона комедия прошла восемь раз — по нынешним понятиям, смехотворно малое число, по тогдашним — значительное. Ставилась она и на домашних сценах, притом из письма все к тому же князю Александру Куракину, правда, писанного уже не Пикаром, а братом Алексеем, мы узнаём, что в начале 1784 года сам автор в московском доме Апраксиных играл Скотинина.

Появилось и издание комедии — к сожалению, все-таки с цензурными изъятиями. Да и на сцене ее играли, вымарывая реплики и целые сцены.

Богдановича, покоробленного нечистотою языка «Недоросля», можно было понять. Ежели сам ты предпочитаешь такой род:

О! когда б я был пастушка
Вместо участи моей,
Я бы Клоии был подружка
И всегда играл бы с ней... —

то можно ли спокойно усидеть в партере, слушая, как на подмостках дико орет Простакова:

— Пусти! Пусти, батюшка! Дай мне до рожи, до рожи...

Или восхищаться угрозами Еремеевны:

— Издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю... У меня и свои зацепы вострые!

Хотя, если бы дорожил натуральностью изображения, мог бы и восхититься.

«Пересказывают со слов самого автора, — передавал Вяземский, — что, приступая к упомянутому явлению, пошел он гулять, чтобы в прогулке обду-

мать его. У Мясницких ворот набрел он на драку двух баб, остановился и начал сторожить природу. Возвратясь домой с добычею наблюдений, начертал он явление свое и вместил в него слово *зацепы,* подслушанное им на поле битвы».

Богданович не был одинок, но, в общем-то, грубость выражений в тот век не слишком смущала. Это в следующем столетии ужаснутся реплике: «Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала?» — заменят «суку» бесполою «собакой», потом же и на этом не успокоятся: «...чтоб курица цыплят своих выдавала?» Но и того будет мало. Курица — oh, c'est mauvais ton! Не благозвучнее ли «наседка»?

То есть с запозданием учтут замечания певца Клои.

Недаром Пушкин, защищая от чопорной критики свое право на вольное словцо, взывал к тени Фонвизина:

«Если б *Недоросль* явился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей дочерью,* а себя сравнивает с *сукою* (!!). «Что скажут дамы! — воскликнул бы критик, — ведь эта комедия может попасться дамам!»

Дамы восемнадцатого века, в отличие от их угодника-пиита, и не такое могли снести, и из «Недоросля» изымали не брань, а слова обличительно-увещевающие, что Фонвизина весьма терзало. После, задумывая журнал «Друг честных людей», он напишет к Стародуму письмо от сочинителя «Недоросля», где попробует восстановить в памяти публики свой первозданный текст:

«В том, что выпущено, много есть нравоучительного».

Но нравоучений-то и не хотели. Прежде всего — наверху. «Недоросля» разыграли актеры Е. И. В. — Ее Императорского Величества, но выступали они на подмостках Вольного российского театра, выстроенного на Царицыном лугу, нынешнем Марсовом поле. На придворную сцену комедию не допускали.

Кончилась пора высочайшего снисхождения. К автору «Бригадира» и сотруднику задушевного друга Перфильича Екатерина благоволила; союзника Паниных и сочинителя «Недоросля» уже ненавидит. Пока — молча. Но придет время и гнева сокрушительного.

Правда, не все считали, что и в эту пору дело ограничивалось презрительным молчанием.

БАБЬЕ ЦАРСТВО

Ровно через сорок лет после рождения «Недоросля» Кондратий Рылеев сочинит стихотворное послание к Гнедичу, в коем печально обозрит судьбу строителей нашего театра.

Любимца первого российской Мельпомены
Яд низкой зависти спокойствия лишил
И, сердце отравив, дни жизни сократил.

Нет, это еще не о Фонвизине: муза комиков — Талия, а не Мельпомена; речь о бедах трагика Озерова. Но они отнесены и к любимцу Талии: «Судьбу подобную ж Фонвизин претерпел...» А главное, названа та, которая, по слуху, прошедшему через четыре десятилетия, имела реальную силу сократить фонвизинские дни.

Итак:

Судьбу подобную ж Фонвизин претерпел,
И Змейкина, себя узнавши в Простаковой,
Сулила автору жизнь скучную в удел
В стране далекой и суровой.

Трудно ли понять, о ком речь? В России была только одна Змейкина, способная не мелко или даже крупно напакостить зловредному комику, но сослать его, подобно Радищеву, в далекую и суровую Сибирь. Значит, это она, всемогущая императрица, сочла себя прототипом фурии Простаковой?

Отчего бы и нет, в конце концов? Разумеется, вслух она бы в том не призналась, чему есть пример. Когда московский главнокомандующий Брюс запретил трагедию Николева «Сорена и Замир», написанную тремя годами позже «Недоросля», и донес императрице об антитираническом ее смысле, та отвечала хладнокровно и величественно:

— Смысл таких стихов, которые вы заметили, никакого не имеет отношения к вашей государыне. Автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью.

Однако ум умом, выдержка выдержкой, но могла же Екатерина хоть втайне заподозрить — кого? панинского выкормыша! — в намерении очернить ее в карикатуре. И неужто не было среди зрителей, заполнивших деревянный театр на Царицыном лугу, ни одного, который не шепнул бы приятелю, удалясь на безопасное расстояние от толпы:

— А родительница-то Митрофанова... Разумеешь, в кого метит сочинитель?

И многозначительно повел бы взглядом в театральный потолок...

Конечно, был; такие всегда находятся.

Весьма вероятно, что и царица заподозрила-таки Фонвизина в злом против нее умысле: подобное было в ту пору принято. Николай Новиков с одобрением писал о Владимире Лукине:

«Сочинитель ввел в свою комедию два смешные подлинника, которых представлявшие актеры весьма искусным и живым подражанием, выговором, ужимками и телодвижениями, также и сходственным к тому платьем, зрителей весьма смешили».

А Вяземский заключил:

«Сей отзыв просвещенного Новикова доказывает, что подобные личности были не только терпимы на театре нашем и угодны публике, но и не оскорбляли нравственного чувства, за которое в противном случае он бы вступился».

Новиков не вступился, напротив; зато вступилась Екатерина.

В журнале «Всякая всячина» (1769 год) она как раз упорно воевала с самим Новиковым, доказывая, что его привычка бичевать «подлинники» — это по-тогдашнему, а по выражению, которое будет принято в следующем веке, «личности», — есть привычка опасная и дурная. Следует же обличать только пороки общие. Пороки вообще. Просто — пороки.

Правда, осуждая неблагопристойность такой откровенности, она сознавала и соблазн ее; в дневнике Храповицкого есть запись:

«Получил, для переписки, на российском языке пословицу «За мухой с обухом». Тут очень ясно между Постреловой и Дурындином описана тяжба кн. Дашковой с А. А. Нарышкиным».

В конце концов соблазн был побежден принципами: свою комедию-пос-

ловицу Екатерина воспретила ставить в Эрмитажном театре, устыдясь обилия резкостей в адрес Дашковой, — но что это доказывает? То, насколько постоянны были ее размышления относительно намеков и аллюзий в словесных сочинениях. И мудрено, чтобы она вдруг сделала исключение для «Недоросля», комедии, вышедшей из враждебного лагеря.

А, не сделав, не подумала бы, по всеобщему обычаю, прежде всего о себе самой.

Слава богу, к этому приучил ее тот же Новиков, бесстрашно и не всегда пристойно издевавшийся то над «пожилой дамою нерусского происхождения, упражнявшейся в сочинении книг под названием «Всякий вздор» (в виду имелась, конечно, «Всякая всячина»), то даже над старухою, которая «щедро платит за купленные ласки, истощает старинные редкости для подарков, опустошает мешки казенные».

Можно ли быть откровеннее?

Словом, утверждать трудно, а предположить можно. Тем более что очень уж много совпадений.

Начать с того, что полной хозяйкой поместья оказывается почему-то не помещик, а помещица. Не Простаков, а Простакова. И она истинно самовластительна по отношению не только к крепостным душам, но и к домочадцам. Как настоящий деспот, она есть средоточие всего и всех, абсолютная точка отсчета.

— Это я, сестрин брат.

— Я женин муж.

— А я матушкин сынок.

Так трактуют свое положение Скотинин, Простаков и Митрофанушка, становясь при госпоже дома не единицами, а дробью, обретая значение всего лишь относительное, даже полуреальное:

— При твоих глазах мои ничего не видят.

Простакову гневит это признание супруга, но его робкая слепота — ее рук дело, она сама восхотела иметь подле себя безгласного и незрячего, чем и уподобила себя тому неразумному государю, который хочет править единовластно, не доверяя своим ушам и глазам, то есть министрам, и которому Никита Панин и Денис Фонвизин в «Рассуждении о непременных государственных законах» сулят незавидную участь:

«Буде презирает она (душа политического тела, иносказательное изображение государя. — *Ст. Р.)* их служение, буде возмечтает о себе столько, что захочет сама зажмурясь видеть и заткнув уши слышать, какой правильной разрешимости тогда ожидать от нее можно и в какие напасти она сама себя завлекает!»

Что касается госпожи Простаковой, то и завлекла.

Далее.

Совершив переворот, Екатерина объявила в манифесте подданным, что супруг ее Петр был негоден для управления государством. А о чем объявляет еще одна жена придурковатого мужа?

— Как теленок, мой батюшка, — говорит Простакова в ответ на утешение Правдина, что муж ее по крайней мере смирен: — оттого-то у нас в доме все и избаловано. Вить у него нет того смыслу, чтобы в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешена, рук не покладаю: то бранюсь, то дерусь; тем и дом держится, мой батюшка!

— Скоро будет он держаться иным образом, — говорит «в сторону» Правдин; и опять-таки не намек ли это на желанные для Панина и Фонвизина перемены, на ту пору, когда Павел, все еще пребывающий в «матушкиных сынках», перестанет быть дробью и вступит во владение государством?

Конечно, с Митрофаном тут никаких аналогий быть не может, — по крайней мере в этом смысле; а в другом — отчего бы и нет?

«Подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному *любимцу*... Пороки любимца не только входят в обычай, но бывают почти единым средством к возвышению... Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди?»

Эти строки «Рассуждения» применимы и к Простаковой. И она исступленно — до прямой порабощенности — любит Митрофанушку; и она потакает его порокам, лености, обжорству и самодурству, почитая их достоинствами дворянина; и ее «самодержавство» оказывается кабальной зависимостью: раба собственной страсти к сыну воочию видит жалкость своего рабства, когда любимец от нее отворачивается.

Да мало ли какие соображения еще возникнут, если глядеть на «Недоросля» с желанием обнаружить за копиями подлинники?..

Комедия и начинается-то с весьма знаменательных препирательств Простаковой и доморощенного портняжки Тришки, обузившего Митрофанов кафтан:

— Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: ну, да извольте отдавать портному.

— Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить хорошенько? Экое скотское рассуждение!

Неуча-дворового пожаловали в портные, не озаботясь выучить ремеслу; не так ли и при дворе сочли бы скотским или хотя бы дерзким рассуждение, что нельзя жаловать графством певчего Разумовского или камердинера Кутайсова из одного каприза государя? И когда на грозно-ехидный вопрос госпожи: «Портной учился у другого, другой у третьего, да первоет портной у кого же учился? Говори, скот», — Тришка отвечает то ли с простодушием, то ли также с ехидством: «Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего», — нет ли тут прозрачного намека на то, что у дел должны находиться люди, прошедшие исторический о т б о р, дворяне, чье сословие выработало в себе понятие долга и навыки службы, перенимаемые одним у другого, другим у третьего, сыном у отца, отцом у деда?

Во всяком случае, мысль эта весьма занимала Дениса Ивановича — как и многих. Несколькими годами позже, сожалея, что знаки почестей свидетельствуют ныне вовсе не об истинных заслугах перед отечеством, ибо вручаются кому попало, вплоть до шутов и балагуров, он спросит горестно:

«Чем можно возвысить упадшие души дворянства? Каким образом выгнать из сердец нечувственность к достоинству благородного звания? Как сделать, чтоб почтенное титло дворянина было несумненным доказательством душевного благородства?»

То есть — как сделать, чтобы нравственные и гражданские достоинства отвечали высокой исторической роли, состоящей в исполнении долга перед отечеством?

В комедии «Недоросль» этот разрыв между правом и долгом резко оценит Стародум:

— Дворянин, недостойный быть дворянином! Подлее его ничего на свете не знаю.

Ибо — кому много дано...

Десятилетия спустя мысль о дворянском праве и долге (о праве, дающем возможности наилучшим образом долг исполнить) подхватит Пушкин:

«Что такое дворянство? потомственное сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? Народом или его представителями. С какой целию? С целию иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей. Какие люди составляют сие сословие? Люди, которые имеют время заниматься чужими делами...»

Дворянская щепетильность обоим, Фонвизину и Пушкину, была свойственна, порою проявляясь в формах огорчительных; Пушкин смеялся над поповичем Надеждиным: «Никодим Невеждин, молодой человек из честного сословия слуг», а Фонвизин готов был корить низким происхождением сына придворного лакея Лукина. Однако за этим — ущемленность не только личная, но сословная. Обида не за себя, обделенного чинами, но в конечном счете за государство.

Именно потому в «Моей родословной» Пушкина звучала гордость, что предки его служили России на протяжении веков, и негодование, что ныне берут верх наскоро пожалованные:

У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.

Сама родовитость казалась Александру Сергеевичу не только цензом, подтверждающим право править, но гарантией независимости от государя, ибо старинный дворянин, в отличие от новой знати, обязан не лично монарху. Он обязан — отечеству.

В пушкинское время многое из того, что закипало в недрах восемнадцатого века, вырвалось на поверхность, но эта мысль и в Екатеринину эпоху прочно владела умами; сама императрица, жаловавшая щедро и не всегда разумно, с нею считалась. О том говорит хотя бы полукомическая подробность, мною уже упомянутая: она оправдывалась и гордилась, что берет в любовники людей благородного сословия, не то что неразборчивая Елизавета, не погнушавшаяся певчим из казаков Олексой Розумом и преобразившая его в графа и генерал-фельдмаршала Алексея Григорьевича Разумовского.

Впрочем, подробность эта — именно забавная, связанная с женской слабостью; вообще же, что ни говори, царствование Екатерины по числу выдвинутых и возросших при ней государственных умов и военных талантов из всех предыдущих правлений может быть сравнено только с Петровым: Дашкова, Бецкий, Безбородко, Румянцев, Суворов, Ушаков, Щербатов, Александр Воронцов, Болтин, Елагин... мало ли их? Таковы и Панины; враги Екатерины, братья Никита и Петр все-таки были людьми ее эпохи, и у императрицы долго доставало мудрости пользоваться их дарованиями. Да и среди пресловутых фаворитов оказывались и Григорий Орлов (он, как и брат его Алексей, что угодно, но не мелюзга) и тем более Потемкин.

Это надобно постоянно сознавать, как и то, что Денис Иванович Фонвизин, упрекавший Екатерину в небрежении лучшими людьми, был и прав и не прав. Прав — ибо болел за Панина. И не прав: смена Панина Потемкиным и Безбородкой, огорчительная не только лично для Никиты Ивановича, но и

для конституционных надежд, отнюдь не означала, что лучшего меняют на худших, силу на слабость.

К несчастью, однако, поводов чувствовать себя правым у Фонвизина было немало. И чем далее, становилось больше. Ведь Екатерина обольщалась талантами не только Потемкина, но сугубых ничтожеств — Ланского, Васильчикова, наконец, Зубова.

Торжество Платоши знаменовало весьма печальные перемены в ее взгляде на людей, способных участвовать в решении судеб государства.

И в этом смысле фонвизинская помещица, невежественная Простакова, даже трезвее просвещенной императрицы. Может, потому, что ближе к элементарным заботам жизни. Екатерина, доверив хоть тому же Зубову почти неограниченную власть, им вполне довольна. Простакова, назначив Тришку портным, напротив, недовольна: худо, каналья, шьет! Видно, крепостное рукомесло нагляднее государственного дела, горькие плоды неумения тут хоть бывают и мельче, зато скорее поспевают, и узкий Гришкин кафтан трещит по швам слышнее, чем обширнейшие зубовские губернии.

Если и впрямь допустить здесь аналогию, то она живет по законам пародийного снижения, отчего особенно откровенно обнажается дурное заведение дел. От Зубова или Васильчикова мало кто ждет внутреннего соответствия внешнему их положению. Тришке — хуже; от него этого соответствия требуют, грозя выпороть за то, что он шьет не как ученый портной. И нелепое несоответствие претензий и результата выходит наружу, разоблачается в комическом виде.

Всяк не на своем месте — вот общая беда, но в жизни ее замалчивают или искренне не замечают, а комедия смеется над этим с первой минуты, всячески сочувствуя тем, кто видит дикость такого положения, от Стародума и Правдина до разумно рассуждающего Тришки. Даже — до Вральмана!

Да, жуликоватый иноземец льстиво потакает хозяйке и спесивится перед Цыфиркиным и Кутейкиным, поделом получая от них тумаки, но как же он — вмиг! — обаятельно преображается, когда, разоблаченный Стародумом, у которого служил прежде в кучерах, вновь попадает на свое место. На ко́злы.

Фонвизину не жаль даже сыскать для Адама Адамыча причину, хотя бы слегка оправдывающую его самозванство:

— Та што телать, мой патюшка? Не я перфый, не я послетний. Три месеса ф Москфе шатался пез мест, кутшер нихте не ната. Пришло мне липо с голот мереть, либо ушитель...

Возвратившийся на ко́злы своя, Вральман с благодушного позволения сочинителя даже присоединяет свой голос к обличительному хору:

— Шиучи с стешним хоспотам, касалось мне, што я фсе с лошатками.

И он прав: не только Тришка и Вральман оказались не на своем месте (первый — безвинно), но и Простаковы со Скотиниными сидят на чужом. Лошадки... нет, скоты, уверенные в своем праве управлять человеческими душами.

Итак, тиранка-помещица; отстраненный от управления супруг; любимец, поработивший госпожу; неумехи, произведенные хозяйской волею в умельцы, и хозяева, незаконно господствующие... Кажется, довольно для того, чтобы заговорить о целой системе аллюзий, намеренной и обду-

манной, — а ведь поговаривали к тому же, что прообразом Стародума был Петр Панин, злейший Екатеринин враг. Да и Правдин...

Пофантазируем немного. Вдруг да не случайно это уловимое созвучие: Панин — Правдин? Словно бы Фонвизин взял звуковую схему фамилии своего благодетеля: П — А — ИН и насытил ее смысловой значимостью, по обычаю комедиографов своего времени. Превратил же Лукин Сумарокова в Самохвалова (похоже и небессмысленно!), — вот и Денис Иванович втиснул между начальным «П» и концевыми «ин» правду, любовь к которой, по его словам, отличала Никиту Ивановича. «Всякая ложь, — сказано им в жизнеописании Панина, — клонящаяся к ослеплению очей государя и общества, и всякий подлый поступок поражали ужасом добродетельную его душу».

Так и Пушкин преобразит своего обидчика журналиста Бестужева в Бесстыдина, Надеждина — в Невеждина, так и Булгарин обратится Вяземским в Фиглярина. Та же словесная операция.

Соблазнительно. И — неверно.

Притом это касается не одного последнего предположения — о Никите Панине.

Не исчислить того, что способно взбрести в каждую отдельную зрительскую голову, начиненную и общими и собственными ассоциациями, хотя можно разведать, расположена ли вообще публика данного времени к розыскам в комедиях переодетых подлинников (эта публика, включая зрителя августейшего, Екатерину Алексеевну, — да, расположена. И весьма). Куда важнее, однако, что сам-то Фонвизин, по всей вероятности, не замышлял подобного, и если уж намеревался преподать урок царям, так преподавал открыто и внятно, устами Стародума и Правдина.

Стародум обстоятельно, хотя и без видимого повода (что вызывает особую подозрительность), размышляет о развратной матери и покинутых детях, и уж эти слова, кажется, впрямую брошены императрице:

— Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, поправшей добродетель? Как ей учить благонравию, которого в ней нет?

Прямо-таки отголосок борьбы Екатерины и Панина вокруг Павлова воспитания; недаром мать после пожалуется с раздражением:

— Все думали, что ежели он не у Панина, так пропал.

Ясно, что, каким бы путем ни пришли эти мысли в голову Фонвизина, записывая их, он, рядовой, но заинтересованный участник борьбы, просто не мог не думать о том, как они могут быть восприняты.

А Простакова — вне подозрений в потайном намеке на государыню.

Прежде всего сама ситуация: жена-деспот, помыкающая безвольным супругом, в российской словесности далеко не уникальна. Даже стереотипна (вот еще один предмет для досужего размышления).

«Митрофан. Ночь всю така дрянь в глаза лезла.

Г-жа Простакова. Какая же дрянь, Митрофанушка?

Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.

Г-жа Простакова. Как же это?

Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку.

П р о с т а к о в *(в сторону)*. Ну, беда моя! Сон в руку!»

Еще бы не в руку: сон, как и полагается, дал отпечаток сущности, эссенцию, сгусток. Грубоват комизм, бесхитростны способы оценки, даваемой автором («дрянь» он Митрофану заметно навязал), да и психологические сложности не в духе литературы того времени, а все ж есть тут своя тонкость, не говоря о точности. Будь даже «Недоросль» пьесой с мотивировками, куда более отягченными подробностью, окажись отношения Простаковой и Простакова не столь откровенно просты, все равно не было бы ничего выразительнее статуарной этой группы: бьющая жена, избиваемый супруг. Физическое действие — молекулярно простое выражение всех человеческих отношений; поцелуй и объятие — знак любви, замах и удар — ненависти.

В эту пору скульпторы еще не увлекаются бытом и жанром, а то бы можно было вылепить и эту пару. «Молочница, разбившая кувшин»... «Парень, играющий в свайку»... «Простакова, избивающая мужа».

Может, и господина Простакова лупцуют не ежедневно, но в сознании (даже в подсознании) сына он так и запечатлелся — как жалкий памятник Вечно Терпящему... да нет, не жалкий уже. Привычность сделала свое дело, и жалеть отца просто незачем, отчего не только забавно, но замечательно точно продолжение сцены.

— Так мне и жаль стало, — «разнежась», воркует Митрофан.

— Кого, Митрофанушка? — не верит Простакова ушам. Но напрасно волнуется: сынок тут же доказывает, что он матушкин, а не батюшкин:

— Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.

И мать в умилении:

— Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно мое утешение.

Такое распределение семейных сил бывало в комедиях и до Фонвизина. У Сумарокова, в «Ссоре у мужа с женою» (позднее название — «Пустая ссора»), хозяин Оронт жаловался слуге Кимару:

— Долго ли это будет? Что ни молвишь, за все бьют... Жена меня убила, да еще велела принесть розог, да как малого ребенка сечь меня хотела; да ежели б я в чем виноват был, так бы то было другое дело, а то я сегодни с нею был чиннехонек.

И имел с супругою такую беседу:

— Ты от меня бегать?

— Виноват, матушка.

— Не станешь ли ты, свинья, вперед бегать от меня?

— Не стану, сударыня. Рассеки меня, ежели я вперед это сделаю.

Конечно, уж тут никто не узрел опасных намеков, и не только оттого, что комедия явилась в годы правления безмужней Елизаветы, — это бы при случае не помешало. Просто не было в «Ссоре» того, что резко выделило из ранних комедий «Недоросля». Его — первого. Даже не «Бригадира».

Сумароков писал до Фонвизина, Пушкин — после, и недаром капитанша в «Капитанской дочке» выглядит добродушным подобием Простаковой (эта повесть вообще опирается то на одну, то на другую фонвизинскую строчку, делая себе историческую прививку). А в «Онегине» о новейшей самовластительнице старухе Лариной сперва было сказано: «Открыла тайну, как супругом, как Простакова управлять», — и если Пушкин убрал сравнение, написав: «самодержавно управлять», то не из боязни литературных реминисценций, которых в романе довольно (есть в нем и «Скотининых чета седая»), а, вероятно, спасаясь от двух «как».

Да и позже семейная модель бабьего царства предстанет у Гоголя, Тургенева, Толстого, Чернышевского, Щедрина, Островского, Лескова, Чехова... мало ли у кого еще? И, кажется, ни разу цензура не выразит по этому поводу неудовольствия. За что? Злые жены и робкие мужья равно живут во все эпохи и во всех государствах.

Зато не всегда и не везде эта тема одинаково воспринимается.

Не то важно, что простаковский дом устроен так, а не иначе. Важно, что его устройство было-таки, как говорят, принято за насмешливую копию Екатеринина государства. И еще важнее, что могло быть принято.

Повторюсь: исторический слух способен порою сказать более исторического факта. Особенно ежели этот факт не подменяет, а дополняет и объясняет, типизирует. И почва, на которой растет слух, есть история общественного мнения.

Что же породило слух о Змейкиной и ее гневе?

Прежде всего, конечно, длительность «дамского» периода русской государственности, периода, отличавшегося отнюдь не женственностью обращения с народом и не мягкостью нравов. «Пьяные и развратные женщины, — писал Герцен, — тупоумные принцы, едва умевшие говорить по-русски, немки и дети садились на престол, сходили с престола, дворцом шла самая близкая дорога в Сибирь и на каторжную работу; горсть интриганов и кондотьеров заведовала государством». «Что за житье за бабой?» — такая мысль бродила в народе еще при Анне; мысль, может быть, не совсем верная, ибо не в самой бабе было дело, а в тех условиях, при каких баба казалась наиболее удобной на троне: отсутствие крепкой, мужской руки давало волю грабить и растаскивать Россию.

Но ведь рука Екатерины оказалась крепкой не по-женски? Да и вообще, так ли велика разница, кто́ оказывается деспотом, женщина или мужчина? И то и другое дурно...

Да, конечно; однако и речь идет не о «хуже-лучше». Затяжное бабье царствование придало самодержавной форме правления некие особые черты.

Граф де Сегюр рассказывал, что наследник Павел жаловался ему на «неприятные стороны своего положения, страх, который внушал ему двор, привыкший признавать и переносить лишь правление женщин». И не только двор; Павел брал шире, и когда узнал, как императрицу обманывали во время ее поездки в Таврию, показывая несуществующие города и демонстрируя несуществующее благоденствие, воскликнул:

— О, я это хорошо знаю! Вот почему мой собачий народ хочет быть управляемым только женщиной!

Разумеется, и в данном случае слово «народ» не означало: крестьяне. Означало: дворянство.

А князь Щербатов и вовсе готов был видеть в Екатерине злокозненность не только характера, но и вообще женской породы:

«Общим образом сказать, что жены более имеют склонности к самовластию, нежели мущины; о сей же со справедливостию можно уверить, что она наипаче в сем случае есть из жен жена. Ничто ей не может быть досаднее, как то, когда, докладывая ей по каким делам, в сопротивление воли ее законы поставляют, и тотчас ответ от нее вылетает: разве я не могу, не взирая на законы, сего учредить?»

Вот уж тут, как ни отказывайся от поисков подлинника, не отмахнешься от аналогии.

Простакова:

— Разве я не властна и в своих людях?

И Скотинин:

— Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?

При желании можно отвести Павла как слишком заинтересованного свидетеля. Да и Щербатов — ненавистник Екатерины и, стало быть, пристрастен. Что ж, обратимся к уже цитированному польскому историку Валишевскому, который натуру императрицы оценивал очень высоко:

«Как ни была сильна воля Екатерины, как ни был тверд ее ум и высоко то представление, которое она составила себе и сохранила до конца жизни о своих способностях и дарованиях, она находила, что они все-таки недостаточны, и сами по себе, и для служения ее государству: она считала необходимым укрепить их силою мужского ума, мужской воли, хотя бы этот ум и воля стояли в отдельных случаях ниже ее собственных... В этом и лежит разница в исторической роли завоевателя Тавриды и его соперников н теми примерами *женского* фаворитизма, которые мы видели на Западе. Людовик Пятнадцатый только терпел влияние своих любовниц и допускал по слабоволию их вмешательство в правительственные дела, Екатерина этого вмешательства требовала и просила».

Неуверенность человека, которого природа таким и создала, ни о чем ином не говорит: каков есть, таков есть. Но ежели нетвердо вдруг начинает чувствовать себя тот, кто слывет средоточием самоуверенности, — значит, необычна и непривычна ситуация. Да и могло ли быть иначе? До времен эмансипации далековато, а предварявшие Екатерину на троне «пьяные и развратные женщины» могли ее убеждать разве лишь в том, что не бабье это дело — быть в России царем.

Денис Иванович изобразил в «Недоросле» коллизию не новую и не старую, всегдашнюю: еще Сократ был угнетаем Ксантиппою, и это ровно ничего не говорило о состоянии эллинской демократии. Но предшествовавшая и современная Фонвизину история России постаралась придать комедийному положению особый смысл. Не комик стремился втиснуть екатерининское государство в границы простаковского поместья: сама империя норовила вместиться в Простаковку, отыскать черты ее сходства с собою. Сигнал бедственной похожести подавался не столько снизу, сколько сверху. Не изнутри, а извне.

Так бывает. Николай Первый углядел в «Борисе Годунове» намек на восстание декабристов, хотя трагедия была закончена прежде событий на Сенатской площади: история сама потрудилась по части привнесения в текст негаданных аллюзий. И Змейкина тоже имела право узнать себя в Простаковой — независимо от того, узнала или не узнала. Важно, что имела. И право это было заслужено ею самой.

Первое же нарушение законности, совершенное Екатериною при восшествии на престол, было связано с тем, что она — женщина. И нарушением этим стало как раз само восшествие.

«Имея он единого богом дарованного нам сына, при самом вступлении на престол не восхотел объявить его наследником престола» — вот в чем винила она свергнутого супруга в манифесте от 6 июля, однако, оправдавшись таким образом, тут же усугубила беззаконие. Петр Третий, правитель нелепый, но законный, намеревался всего только объявить Павла не своим сыном (к чему, между прочим, имел основания); она же, сама при-

знавшая сына истинным наследником, ко власти его так и не допустила. До самой своей смерти.

Воцарение Екатерины, свергнувшей мужа и отпихнувшей сына, было, даже если отнестись к ее победе как к историческому благу, возможно лишь в обстановке отсутствия законности и потому стало стимулом и далее это беззаконие утверждать. Ничего не поделаешь, из порочного круга нету исхода: первое нарушение законности не может не породить второго, второе — третьего, сотое — тысячного... Царствование, основанное на узурпации, а не на праве, вынужденно превращало добрые посулы и даже искренние намерения в их противоположность, и, хотя Екатерина умела оценить в человеке дарование и этим своим умением гордилась, все-таки частенько место такого человека заступали люди лично преданные, те, кому монарх обязан. Или — что является еще большей гарантией преданности — те, которые обязаны монарху.

В таких случаях нравственность и способности, пожалуй, даже и мешают: человек безнравственный и бездарный знает, что находится не на своем месте, что он заменим, и, стало быть, особенно дорожит и местом и расположением начальства.

Екатерина на троне и Простакова в поместье, обе, в конце концов, дорогонько стоили государству — тем хотя бы, что царица все меньше считалась с истинными достоинствами людей и развращала сословие, призванное служить государству; помещица топтала мужа и калечила сына, а служить-то им, не ей.

Конечно, в рублях эти их пороки обходятся очень разно, но учтем, во-первых, множественность Простаковых и, во-вторых, то обстоятельство, что они, Екатерина Великая и Простакова Ничтожная, Матерь Отечества и мать Митрофана, попросту неразделимы. Урожденная Скотинина и урожденная принцесса Ангальт-Цербстская — родственницы, они — одно, и гений Фонвизина, может быть, ни в чем так не выразился, как в том, что обнаружил единую систему кровеносных сосудов, связавших их в одно, выражаясь его же словами, политическое тело.

...В радищевском «Житии Федора Васильевича Ушакова», которое будет написано в том же десятилетии, что и «Недоросль» (только комедия — в начале, жизнеописание — в конце), рассказано о стычке юных студентов с неким Бокумом, «путеводителем», сопровождавшим русских мальчиков в Лейпцигский университет. Этот Бокум мало того что обкрадывал тех, кого отдали в его попечение, мало того что заставлял их мерзнуть и недоедать, но на приволье, вдали от русского начальства, почувствовал себя маленьким самодержцем. Молодого князя Трубецкого он за маловажный проступок посадил под стражу, а студента Насакина ударил по щеке. Тогда уж общество порешило, что терпеть далее нельзя и что Насакин должен требовать от грубияна «в обиде своей удовлетворения».

Разразился бунт: обиженный отвесил обидчику две оплеухи, Бокум приказал всех запереть, что, разумеется, только накалило страсти... в конце концов вмешался русский посол и обе стороны утихомирил. Бокум отныне студентов не трогал, всю свою рьяность отдав воровству.

И эта полупобеда сыграла в жизни Радищева роль огромную:

«Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством тому служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и сама смерть мало его трогают. Не доводи его токмо

до крайности. Но сего-то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют...»

«По счастию» — это логика революционера, знаменитое: «чем хуже, тем лучше». Притеснители, простирая дальнейшие тяготы, торопят собственный свой конец.

Фонвизин — иной: ни притеснения Екатерины, ни злодейства Простаковой не кажутся ему счастием, для него чем хуже, тем хуже, пришествие «анархии» его страшит. И все же рассуждения Радищева относятся к «Недорослю» впрямую: Простакова — «частная притеснительница», в отличие от Екатерины, «притеснительницы общей». Частное входит в общее, общее из частного складывается.

А дальше Радищев уж вовсе, будто нарочно имея в виду «Недоросля», объясняет и то, откуда берутся Простаковы, и то, отчего неизбежно недовольство комедией со стороны вышней власти. Вплоть до самой Змейкиной.

Первое: откуда берутся.

«Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно, — отважно пишет Радищев, разумея ненависть любого начальства к любому противодействию. — Пример самовластия государя... побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуясь уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как и тот в общем».

То есть не Фонвизин вздумал копировать императрицу: прототипы Простаковой взяли на себя этот труд, подражая ей в самовластности.

Второе: неминуемость недовольства.

«И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется, что противоречие власти начальника есть оскорбление верховной власти».

Не в императрицу метил создатель Простаковой, но, куда бы ни метил, угодил в нее. Вернее, и в нее, в нее тоже, в нее помимо прочих, потому что стрела его, прежде чем настичь эту невольную, неизбежную и опасную цель, пронизала толщу российской жизни, задела толпу частных тиранов.

Будь иначе, целься Фонвизин именно в императрицу, норови он уколоть ее и только ее, можно было бы счесть его отменным смельчаком, но далеко не тем писателем, каким он стал и остался. Смысл «Недоросля» неизмеримо выше злорадного попадания в личность, пусть сколь угодно дурную и вышестоящую, и оттого картина, в комедии нарисованная, так крупна и горька, что не может быть исправлена мгновенным вмешательством улучшающей кисти, двумя-тремя мазками. Правда, в финале Митрофана отправляют в службу, имение Простаковой попадает в опеку к добронравному Правдину, посланному добронравным наместником, Скотинину грозят тем же; однако я думаю, не по авторской забывчивости через несколько лет в журнале «Друг честных людей» персонажи комедии явятся такими, словно ничего с ними и не произошло, словно приезд Правдина — тяжкий, но мимолетный сон.

И если «Письмо Тараса Скотинина к родной его сестре госпоже Простаковой» будет начато фразою драматической: «Матушка сестрица! я по отпуске сего письма жив, но в превеликом горе», то это прозвучит едва ли не насмешкой над теми, кто подумает, будто со Скотининым может случиться нечто всерьез бедственное:

«Лучшая моя пестрая свинья, которую из почтения к покойной нашей родительнице (ты знаешь, что я всегда был сын почтительный) прозвал я ее именем Аксинья, скончалась от заушницы».

Всего и бед.

А конец письма донельзя ясно скажет, что никто и ничто не пременны:

«Мне свет опостылел. Я чувствую, что потерял прежнюю мою к свиньям охоту; но надобно чем-нибудь заняться. Хочу прилепиться к нравоучению, то есть исправлять нравы моих крепостных людей и крестьян. Но как к достижению сего лучше взяться за кратчайшее и удобнейшее средство, то, находя, что словами я ничего сделать не могу, вознамерился нравы исправлять березой. Всегдашняя склонность моя влекла меня к строгости. Лишась моей Аксиньи, не будут знать ни пощады, ни жалости, а там пусть со мною будет, что будет. Я хочу, чтоб действие надо мною столь великой потери ощутили все те, кои от меня зависят. Ты знаешь, матушка, что всякую мою досаду, кольми паче несчастие, над людьми моими вымещаю, и если между твоими крепостными найдутся такие, коих нравы исправлять надобно моим манером, то присылай ко мне, а я на свою руку охулки не положу и всегда рад тебе доказывать, что я твой достойный брат

Тарас Скотинин».

Пишет брат неисправимый и, главное, безбоязненный — к сестре, которая осталась полною хозяйкою имения; иначе Скотинин не обратился бы к ней с такой просьбою.

А Правдин-то старался, Правдин-то выносил Простаковой приговор, казалось, уже обжалованию не подлежавший:

— Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может.

И так же старательно вразумлял Скотинина:

«Ступай к своим свиньям. Не забудь, однако ж, повестить всем Скотининым, чему они подвержены.

Скотинин. Как друзей не остеречь! Повещу им, чтоб они людей...

Правдин. Побольше любили или б по крайней мере...

Скотинин. Ну?..

Правдин. Хоть не трогали.

Скотинин *(отходя)*. Хоть не трогали».

Даже старался затвердить урок, но не вышло. Не упомнил. Да и зачем?

Может быть, Фонвизин вовсе и не задумывал горько посмеяться над бессилием собственного финала, — тем паче что он оставался писателем, намеревающимся политически, реально воздействовать на положение дел, а опека казалась ему мерой хоть и частной, однако действенной: в конце концов, усмирить хоть одного жестокого помещика — уже дело. Может быть, письмо Скотинина, помещенное в предполагавшийся к изданию журнал, было для него самостоятельной картинкой диких нравов, а не послесловием к «Недорослю». Может быть, так, может быть, и иначе. Последнее даже вероятнее. Ведь в журнале действуют и упоминаются не только монстры из «Недоросля», но герои добродетельные: Софья, Милон, сам Стародум, и жизнь их всех за семь лет, протекших со времени написания комедии (1781—1788), переменилась отнюдь не к лучшему. Софья в отчаянии жалуется дядюшке на свое «лютое положение»: ее бывший возлюбленный и нынешний супруг Милон попал в сети к нечестивой женщине, — и хотя Стародум утешает племянницу, уповая на успокоительное время и быстротечность Милоновой страсти, все же трогательные любовники обратились в несчастливых супругов, идеальность потеснена невеселой действительно-

стью. Сам Стародум, разумеется, по-прежнему неколебим в правилах чести, но он (как теперь и автор его) человек отставной, частный, неспособный вмешиваться в жизнь делом и ограничивающийся словом (для человека восемнадцатого столетия ограниченне немалое). А Правдин, государственный чиновник, если и не правая, то верная рука наместника, Правдин, верующий в силу благоучрежденного государства, — он в журнале не появляется.

Случайно ли?

К. В. Пигарев считает, что нет, не случайно: место Правдина в наместничестве заступили советник Криводушин и асессор Воров.

Так или иначе, если настроение Фонвизина, сочиняющего журнал, переменилось со времен «Недоросля», то одно только настроение, а не трезвость взгляда и не сила проницания: стало еще яснее, что нравоучительным финалом дела не поправишь, — но ведь и без того было ясно.

Да, опека выход хоть частный, но действенный. И — хоть действенный, однако частный. Не более того. То есть это вообще не выход — из положения, которое Фонвизину кажется безвыходным до той поры, пока не произойдет перемен вверху, там, где восседает «общая притеснительница», величественное подобие «притеснительницы частной».

МАСТЕРИЦА ТОЛКОВАТЬ УКАЗЫ

Как я уже сказал, сила удара по «общей» — вопреки законам физическим — не была бы столь сокрушительна, если б стрела не прошла сквозь толщу жизни. Если б эта толща жизни, люди не стали уже непосредственным объектом писательского интереса.

Лукин смеялся над Сумароковым, у которого в русский дом приходит нотарнус, чтобы на иноземный манер составить брачный контракт. Но сам Владимир Игнатьевич сумел разве что избежать столь явных несообразностей, не больше; его «прелагательные» комедии только потому русские, что не французские и не датские. По методу исключения.

Как и фонвизинский «Корион».

«Бригадир» и особенно «Недоросль» родились в России, — конечно, я имею в виду не географическое понятие.

«Французский кафтан» нежданно-негаданно сочинил «Бригадира»; в годы, когда писал «Недоросль», Денис Иванович не переменил сюртука на армяк, не перестал пудрить парик и понимать в бриллиантах, но уже и сам Достоевский, иронизировавший над «неизвестно зачем» перенятой иностранной модою, его, теперешнего, так бы, пожалуй, не окрестил. Российская жизнь тесно обступила Фонвизина — не в смысле непосредственного окружения: бывший москвич, нынешний петербуржец, он мало знает Россию поместную, хотя о ней и пишет, но не в том дело; ведь именно во Франции, на чужбине, он впервые с такой силою, даже хлеставшей через край, ощутил себя русским. Дело в пришедшем наконец-то чувстве п р и ч а с т н о с т и ко всему родному, еще мало знакомой удачливому сотруднику Елагина и юному модному литератору; в причастности, которая может обернуться то безоглядной любовью, то горькой ответственностью.

«В нравах наших первая комедия», — сказал Никита Иванович Панин о

«Бригадире». Похвала немалая, но говорящая скорее о значении относительно-историческом, чем художественно-абсолютном. Искусство не скачки, и в нем быть первым не всегда значит победить.

Между прочим, именно первенство Фонвизина невольно оспорил Николай Иванович Новиков.

В 1772 году он затеял журнал «Живописец» и, помня печальный опыт своего «Трутня», сражавшегося с самой императрицею и в борьбе обломавшего крылья, для пользы дела посвятил новое издание «неизвестному г. сочинителю комедии «О время!». Разумеется, отлично известному: Екатерине.

«Ваша комедия «О время!», — задабривал он царицу, — троекратно представлена была на Императорском придворном театре и троекратно постепенно умножала справедливую похвалу своему сочинителю. И как не быть ей хвалимой? Вы первый сочинили комедию точно в наших нравах...».

Вот оно! Но — дальше:

«Вы первый с таким искусством и остротою заставили слушать едкость сатиры с приятностию и удовольствием; вы первый с такою благородной смелостью напали на пороки, в России господствовавшие, и вы первый достойны по справедливости великой похвалы, во представлении вашей комедии оказанной».

Первый, первый, первый... Впрочем, увлекшись преследованием цели, Новиков уже не ограничивается временно́ю хвалой (она же вре́менная), но говорит о победе полной и безусловной:

«Продолжайте, государь мой, к славе России, к чести своего имени и к великому удовольствию разумных единоземцев ваших; продолжайте, говорю, прославлять себя вашими сочинениями: перо ваше достойно равенства с Мольеровым».

Ясное дело, не с Фонвизиным же сравнивать. Не с подданным. Надо думать, если бы Людовик Четырнадцатый тоже баловался комедиями, вряд ли льстецы надумали бы порадовать своего короля, что он пишет всего лишь не хуже, чем Поклен, сын обойщика; уж наверное бы приискали приятный аналог где-нибудь поодаль. Или в прошлом: в Риме, в Элладе. Во всяком случае, не у подножия французского трона.

Новиковское преувеличение так вопиюще (будь это другой век и, значит, другие нормы, можно было бы сказать: так бесстыдно), что толкает к полемике, столь же ретивой, как его хвалы. Благо, она проста: уж не говорим, кто́ первый в мастерстве, но и по срокам автор «Бригадира» опередил сочинителя «О время!» на целых три года.

Больше того, как раз и подвигнул Екатерину на сочинительство, соблазнив ее своим успехом.

Но если не считаться сроками, если остаться в пределах добросовестности и признать за Екатериной несомненное литературное дарование, отчего бы не согласиться с тем, что ее комедия тоже «в наших нравах»?

Новиков льстит, но не лжет относительно достоинств этой, да и других царицыных комедий; в них ядовито высмеивались пороки, в самом деле «в России господствовавшие», укоренившиеся: лицемерие, невежество, безделье дворян, погоня за роскошью; встречались там и петиметры с щеголихами и наброски Митрофанушек; больше того, венценосный комедиограф любил щегольнуть смелостью, желая и в этой области быть монополистом. Вяземский в записных книжках цитировал комедию

«Именины г-жи Ворчалкиной»: «Казна только что грабит, я с нею никакого дела иметь не хочу» — и замечал при этом:

«Как не узнать тут царского пера: постороннему бы не позволили сказать это».

Но картина нравов, даже самая многофигурная, еще не обязательно групповой портрет общества.

Забавный петиметр Иванушка, персонаж «Бригадира», — нонсенс, нелепость. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», но и к парижскому каштану прилепиться не сумел — так ни при чем и остался. «В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом». Увидеть эту межеумочность уже было немало, ибо листок-то, выдравшийся из живущей и шумящей кроны, был не одинок; тучами кружились эти странные отщепенцы, ни к кому не умея пристать; Фонвизин, о чем уже шла речь, своим Иванушкой ненароком задел целый рой, целый пласт, целый тип русской «исторической ненужности».

Это было уже немало. И еще мало.

Причины, породившие этот тип, сложны и для России драматичны; ни Фонвизин, однако, ни вся тогдашняя словесность еще не были готовы это осознать. «Бригадир» легкомыслен сравнительно с «Недорослем»: крючкотвор-советник или бригадир, имеющий вместо головы кулак, вовлечены в любовную интригу — и только; что касается Иванушки, то оттого автор и довольствовался хохотом, пренебрегши исследованием, что глубже н р а в о в, проступивших на поверхность, сгустившихся как сливки, он и не глядел. Если ж нечаянно заглянул все-таки, если в злой смех пробились нотки горечи и даже, как ни странно, сочувствия, то причиною тому интуиция пробуждающегося гения, а не его осмысленный взгляд.

Фонвизин тогда видел одну крону. Корней же пока не искал.

«Недоросль» — дерево целиком, с корнями и кроной. И, главное, с почвою, облепившей корни. Почвой российской, тутошней.

В главе «Митрофан Простаков, Петр Гринев, Денис Фонвизин...» шла речь про то, сколь естественным плодом для этой почвы являлся недоросль, ставший нарицанием. И он, как Иванушка, нелепость, но в отличие от того, бывшего посмешищем даже для дураков, Митрофан нелеп только в глазах разума и для души благородной. Для взрастившей его реальности он не выродок, а законнорожденный, плоть от плоти.

Трудновато понять, каким образом возник в семействе солдафона и скопидомки межеумок-петиметр, — одной поездки в Париж для этого мало, да и кучер-француз, попавший, наподобие кучера-немца Вральмана, в учителя к Иванушке, не мог бы в одиночестве пересоздать на свой манер бригадирова сынка: для этого нужна благодатная среда. Простаковщина же только Митрофанов рождать и способна.

То есть вместе с Митрофаном обличена почва, от которой он неотрывен.

Не он один. Цыфиркин, Кутейкин, Вральман — все они могли оказаться в наставниках у наиреальнейших Болотова или Державина. Об этом речь тоже шла.

А госпожу Простакову не выдерешь из создавшей ее и давшей распуститься среды, не потревожив при этом главной российской притеснительницы.

«Бригадир» был комедией в наших нравах; «Недоросль» стал, ежели не очень гнаться за изяществом выражения, комедией в наших

общественных условиях. Тут и нравы и то, что их породило.

Герои «Недоросля» дышат тем же воздухом, что и первые зрители комедии, топчут ту же землю; все они дети одной реальности, подвластные ее законам и превратностям. Фонвизин дорожит всякой возможностью это обнаружить, и если, допустим, в село Простаковых вступает военный отряд, предводительствуемый Милоном, — что с точки зрения сюжета нужно лишь для вывода на сцену Софьиного сердечного друга, — то автор заодно не упустит случая дать хоть мимоходом штришок деревенской жизни, для современного ему зрителя достаточный.

Не напрасно вбегает на сцену запыхавшийся слуга: «Барин! Барин! солдаты пришли...»; не напрасно вскрикивает Простаков: «Какая беда! Ну, разорят нас до конца!» — есть чего опасаться.

Вот — не в комедии, а в реальности — случается то же самое в Симбирской губернии у господ Левашевых в 1774 году, и староста с земским спешат оповестить находящегося в отъезде помещика о бедственном разоре, учиненном командиром отряда (письмо опубликовано в книге К. В. Пигарева):

«И такие обиды, милосердый государь, и разорение сделал, что и дом ваш господской обесчестил беззаконием, взяв Тимофея Яковлева племянницу меньшую и растлил, а овец ваших, господских, порезали про себя и собакам — 15, гусей — 7, уток — 15, индеек — 5, кур русских — 17, муки ржаной в хлебах поели 3 четверти, овсяной муки стравили и с собой взяли 12 четвертей, овса казачьими лошадями стравили 13 четвертей, крупичатой муки — 3 пуда, а по дворовым и по крестьянам так озорничали, что и стада в поля не пускали, овец и кур недовольно, что здесь ели и с собою, порезавши, брали...»

Это еще далеко не все, — так что не зря рассыпается перед Милоном Простакова: «Солдаты такие добрые. До сих пор волоска никто не тронул»; не в сюжетных интересах автора вводить в комедию солдатские бесчинства, но за благополучием частным, воспринятым как чудо, резко проступает неблагополучие общее.

Снова: в частном — общее.

И в общем — частное. Порядок, ни много ни мало, всей государственной жизни подсовывает комедии сюжет.

...У русской литературы есть одна удивительная особенность. Самые острые, самые гротескные ее фантазии нередко оказываются не то что порожденными исторической реальностью — это куда ни шло, иначе просто и не бывает, — но порожденными непосредственно. Кажется, сама жизнь, напружившись, вытолкнула их на поверхность из своего лона.

Фантастична история тыняновского подпоручика Киже, однако у нее есть и предыстория, вполне реальная:

«В одном из приказов по военному ведомству писарь, когда писал «прапорщи*ки-жъ* такие-то в подпоручики», перенес на другую сторону слог *кижъ*, написав при этом большое К. Второпях, пробегая этот приказ, государь слог этот, за которым следовали фамилии прапорщиков, принял также за фамилию одного из них и тут же написал: «Подпоручик Кижъ в поручики». На другой день он произвел Кижа в штабс-капитаны, а на третий — в капитаны. Никто не успел еще опомниться и разобрать, в чем дело, как государь произвел Кижа в полковники и сделал отметку: «Вызвать сейчас ко мне». Тогда бросились искать по приказам, где этот Киж. Он оказался в Апшерон-

ском полку на Дону, и фельдъегерь сломя голову поскакал за ним... Донесение полковника, что у него в полку никогда не было никакого Кижа, всполошило все высшее начальство. Стали искать по приказам и, когда нашли первое производство Кижа, тогда только поняли, в чем дело. Между тем государь уже спрашивал, не приехал ли полковник Кнж, желая сделать его генералом. Но ему доложили, что полковник Киж умер.

«Жаль, — сказал Павел, — был хороший офицер».

Как помним, в рассказе «Подпоручик Киже» писарская опнска не только возвышает несуществующего офицера, но и уничтожает существующего, поручика Синюхаева. И тут за фабулой далеко ходить не пришлось:

«Одного офицера драгунского полка по ошибке исключили из службы за смертью. Узнав об этой ошибке, офицер стал просить шефа своего полка выдать ему свидетельство, что он жив, а не мертв. Но шеф, по силе приказа, не смел утверждать, что тот жив, а не мертв. Офицер был поставлен в ужасное положение, лишенный всех прав, имени и не смевший называть себя живым. Тогда он подал прощение на высочайшее имя, на которое последовала такая резолюция:

«Исключенному поручику за смертью из службы, просившему принять его опять в службу, потому что жив, а не умер, отказывается по той же самой причине».

В чем тут дело? В безумствах Павла? В дикой причудливости именно его правления? Что ж, вернемся к разумнейшей Екатерине.

Не раз поминавшийся нами граф де Сегюр, бывший послом при русском дворе в 1785—1789 годах, рассказал в своих записках одну историю; рассказал не без смущения, сознавая, что читатели могут ему не поверить, и оттого спеша оговориться: «Случай, может быть, немного странный, но достоверность его мне подтвердили многие русские».

Однажды придворному банкиру Сутерланду сообщили, что дом его окружен солдатами. А затем к нему явился полицмейстер с видом весьма смущенным:

— Господин Сутерланд, я с прискорбием получил поручение от государыни императрицы исполнить приказание ее, строгость которого меня пугает; не знаю, за какой проступок, за какое преступление вы подверглись гневу ее величества.

— Я тоже ничего не знаю, — отвечал Сутерланд, — и, признаюсь, не менее вас удивлен. Но скажите же наконец, какое это наказание?

Полицмейстер замялся:

— У меня, право, недостает духу, чтоб вам объявить его.

— Неужели я потерял доверие императрицы? — обеспокоился банкир.

— Если б только это, я бы не так опечалился, — вздохнул представитель власти. — Доверие может возвратиться, и место вы можете получить снова.

— Так что же? Не хотят ли меня выслать отсюда?

— Это было б неприятно, но с вашим состоянием вам везде будет хорошо.

— Господи, — перепугался Сутерланд не на шутку, — может быть, меня хотят сослать в Сибирь?

— Увы, и оттуда возвращаются.

— В крепость меня сажают, что ли?

— Это бы еще ничего; и из крепости выходят.

Банкира уже бил озноб:

— Боже мой, уж не иду ли я под кнут?

Однако и это казалось полицмейстеру отнюдь не худшим по сравнению с тем, что он боялся выговорить:

— Истязание страшное, но от него не всегда умирают.

— Как! Моя жизнь в опасности? — зарыдал Сутерланд. — Императрица, добрая, великодушная, на днях еще говорила со мной так милостиво, неужели она захочет... но я не могу этому верить. О, говорите же скорее! Лучше смерть, чем эта неизвестность!

— Императрица приказала мне сделать из вас чучелу...

— Чучелу? Да вы с ума сошли? И как же вы могли согласиться исполнить такое приказание, не представив ей всю его жестокость и нелепость?

— Ах, любезный друг, я сделал то, что мы редко позволяем себе делать: я удивился и огорчился, я хотел даже возражать, но императрица рассердилась, упрекнула меня за непослушание, велела мне выйти и тотчас же исполнить ее приказание; вот ее слова, они мне и теперь еще слышатся: «Ступайте и не забывайте, что ваша обязанность исполнять беспрекословно все мои приказания!»

Словом, обреченному дали краткий срок на приведение дел в порядок и на приуготовление к гибели. Ему удалось умолить полицмейстера разрешить послать царице письмо, и тот сам его отвез... не к императрице, конечно, ее он беспокоить не смел, но к графу Брюсу, который в эту пору был главнокомандующим Санкт-Петербургской губернии. Тот изумился и поехал к императрице показать письмо.

Екатерина встрепенулась:

— Боже мой! Какие страсти, полицмейстер точно помешался! Граф, бегите сказать этому сумасшедшему, чтобы он сейчас поспешил утешить и освободить моего бедного банкира!

А после говорила хохоча:

— Теперь я поняла причину этого забавного и странного случая: у меня была маленькая собачка, которую я очень любила; ее звали Сутерландом, потому что я получила ее в подарок от банкира. Недавно она околела, и я приказала полицмейстеру сделать из нее чучелу, но, видя, что он не решается, я рассердилась на него, приписав его отказ тому, что он из глупого тщеславия считает это поручение недостойным себя. Вот вам разрешение этой странной загадки!

Вольно ж было императрице видеть в этом случае забавность; могла бы и призадуматься над тем, отчего ей боятся возражать даже тогда, когда приказание кажется нелепым и преступным. И над тем, к каким бедам это может привести...

История все-таки кажется легендарной. Сутерланд овечкою не был; в «Записках» Державина рассказывается, что он находился «со всеми вельможами в великой связи, потому что он им ссужал казенные деньги, которые принимал из государственного казначейства для перевода в чужие краи, по случившимся там министерским надобностям»; в конце концов он и вовсе оказался виновником огромной аферы, в результате которой объявил себя банкротом, — словом, слух о намерении императрицы наказать Сутерланда мог быть вполне реальным, а подробности — домышлены. Легендой это кажется еще и потому, что слишком заметною шишкой был придворный банкир, чтобы оказаться участником такого недоразумения.

Но это снова тот случай, когда слух может оказаться правдивее факта,

ибо другая история, рассказанная Сегюром и связанная с человеком маленьким, меньше тыняновского Синюхаева, сомнения в правдивости не вызывает. Да и рассказывает на этот раз посол то, чему сам был свидетелем.

В его петербургский дом явился некий француз, плачущий и истерзанный:

— Граф, прибегаю к вашему покровительству!

И, слушая его, Сегюр не верил своим ушам. Оказалось, что этот человек, по ремеслу своему повар, пошел в дом все к тому же Брюсу наниматься на службу. Но едва его провели к будущему хозяину и объявили графу о его прибытии, как тот немедля приказал дать повару сто палок. Что, разумеется, незамедлительно было исполнено. Недоумевающий Сегюр отправил несчастного к сиятельному обидчику, вручив письмо, в коем просил объяснений. И через два часа повар воротился, на сей раз широко улыбаясь и расточая: графу — похвалы, послу — благодарности.

— Как! — удивился тот. — Разве уже следы ваших ста ударов исчезли?

— Нет, они еще на моей спине и очень заметны, — радостно отвечал выпоротый француз, — но их очень хорошо залечили и меня совершенно успокоили. Мне все объяснили; вот как было дело: у графа Б. был крепостной повар, родом из его вотчины; несколько дней тому назад он бежал и, говорят, обокрал его. Его сиятельство приказал отыскать его и, как только приведут, высечь. В это же самое время я явился, чтобы проситься на его место. Когда меня ввели в кабинет графа, он сидел за своим столом, спиной к двери и был очень занят. Меня ввел лакей и сказал графу: «Ваше сиятельство, вот повар». Граф, не оборачиваясь, тотчас ответил: «Вести его на двор и дать сто ударов!» Лакей тотчас запирает двери, тащит меня на двор и с помощью своих товарищей, как я уже вам говорил, отсчитывает на спине бедного французского повара удары, назначенные беглому русскому. Его сиятельство сожалеет обо мне, сам объяснил мне эту ошибку и потом подарил мне вот этот кошелек с золотом.

Нельзя сказать, чтобы Сегюр, пораженный туземными нравами, был в большом восторге и от соотечественника: «Я отпустил этого бедняка, но не мог не заметить, что он слишком легко утешился после побоев».

Царствование Павла лишь обнажило странности давно заведенного порядка. Отчего не произвести в генералы несуществующего прапорщика? Это не нарушение привычной логики, а ее развитие: прежде возвышали людей, независимо от их деловых качеств, теперь возвышают человека без всяких качеств, то есть вообще уже не человека, пустоту не в переносном, а в буквальном смысле. Отчего не объявить мертвецом живого офицера, если непонятое слово царицы может стоить головы банкиру, а ошибочный приказ вельможи тут же самым ощутимым образом отпечатывается на спине неповинного повара? Приказ важен сам по себе, вне своего смысла и своей справедливости, важен как знак отличия того, кто имеет право приказывать. И точно так же знак отличия подчиненного — обязанность нерассуждающего исполнения, а высшая добродетель — исполнение стремительное. Лакеи, выпоровшие француза, не внимая его крикам и объяснениям, — исполнители идеальные. Полицмейстер же до идеала еще не дорос, ибо все же пытался возражать царице, и та на эту неидеальность ему и указала:

— Ступайте и не забывайте, что ваша обязанность исполнять беспрекословно все мои приказания!

Нет, все-таки она, пожалуй, имела право не ужасаться, а благодушно хохотать. Ей было бы жаль Сутерланда, если б недоразумение пришло к ло-

гическому финалу, но что такое сожаление об одном человеке, хотя бы и нужном, рядом с удовольствием от налаженной, находящейся на бесперебойном ходу, беспрекословной машины исполнения?

Вот каким образом описка, обмолвка, нелепица немедленно превращаются в результат; слово, звук пустой, обрастает материальной плотью, и литературные qui pro quo бледнеют перед действительностью.

«Все эти выходки, выходки то жестокие, то странные и редко забавные, происходят от недостатка твердых учреждений и гарантий, — заключает Сегюр свои наблюдения над природой самовластия. — В стране безгласного послушания и бесправности владелец самый справедливый и разумный должен остерегаться последствий необдуманного и поспешного приказания».

Именно — даже самый справедливый и разумный. И даже тогда, когда действует на очевидное благо государства.

Не одичавший гатчинский затворник, не «Тартюф в юбке и короне», а истинно великий Петр жестоко преследовал «нетство» — уклонение дворян от обучения и от службы, неявку на смотр или на записи, когда в списках помечалось: «нет». В указе от 11 января 1722 года «нетчики» объявлены были вне закона, их действительно не было. Можно было даже ненаказуемо отстреливать их: лицензия была свободной.

Преследовал ли этим Петр государственную выгоду? Еще бы! Провозглашенный сорок лет спустя его малоумным внуком и тезкой манифест о вольности дворянства докажет это от противного, как крайность иная. Но страшная насильственная мера Петра Великого оголила главнейшее (и исторически неизбежное) противоречие его царствования, по поводу которого Ленин скажет, что Петр боролся с варварством варварскими средствами, а Герцен назовет первого российского императора «гением-палачом, для которого государство было все, а человек ничего».

Человек — ничто. Покамест в сравнении с государством, с целью высокой. Но когда порядок, учрежденный Петром, лишится его самого, его гения и его собственного чувства долга перед отечеством, человек окажется ничем уже перед государем, и самоценность личности станет зависимой от того, хорош или плох государь, получше или похуже, помягче или пожестче. От случайности. Сутерланд — все-таки — спасся, высеченному повару — все-таки — дали кошелек с золотом, а поручик Синюхаев пропал в нетях...

«Здесь вымысел документален и фантастичен документ» — эти слова могли бы сказать о себе многие русские литераторы, причем фантастичность документа нередко оказывалась более гротескной, чем фантазия авторского вымысла. Тот же Петр, нарушивший и запутавший закон о престолонаследии, казнивший — опять-таки ради государственного блага — единственного сына-наследника, перед смертью пишет коснеющей рукою слова завещания: «Отдать все...» — а имя дописать уже не в состоянии. Какому Тынянову мог присниться в сладком беллетристическом сне такой поворот сюжета?

Все непоправимо, все небесследно, все отзывается и в ходе истории и в художественной словесности. Пушкин, как известно, дарит Гоголю фабулу «Мертвых душ», однако вернее сказать: выступает в роли посредника. Основа сюжета уже давненько заложена, и недаром Ключевский так толкует петровский указ о подушной подати, указ, по мнению историка, неразумный

и для народа разорительный, ибо подать исчисляется не по числу работников, душ, физически дееспособных, а по числу душ вообще, включая стариков и младенцев:

«Государство, загораживаемое канцелярией, отдалялось от народа, как что-то особое, ему чуждое: плохая школа для воспитания чувства государственного долга в народе, и чичиковские мертвые души были заслуженным эпилогом этого «душевредства», «душевных поборов», как ядовито определил подушную подать Посошков».

Царский указ был прологом; Гоголь досочинил эпилог. Если только можно назвать эпилогом сочинение, еще не знаменовавшее конца ни крепостного права, ни, тем более, безнадежного разрыва между народом и самодержавным государством.

«Недоросль» — первое русское художественное произведение, столь прочно связанное с корнями государственных бед и нужд, этими же корнями и выращенное. Комичность, нелепость, бессмысленность персонажей — прямое порождение жизни общественной, политической, если угодно, и экономической, порождение ее нелепостей, которые у Радищева, бунтаря, исторгли слезы гнева, у Фонвизина, комического писателя, — смех до слез.

...На протяжении всего действия в доме Простаковых гостит чиновник наместничества Правдин. Он — ревизор и если не инкогнито, то полуинкогнито: не скрывает ни имени, ни должности, но умалчивает о цели приезда, каковая — проверить слухи о злонравии хозяев. Именно он решает в конце концов их судьбу, и потому исследователи заключили, что вкупе со Стародумом Правдин «главная активная сила комедии».

Сила — разумеется, но активная ли?

Кажется, что да: Правдин наблюдатель не сторонний. Едва появившись в первом действии, он разговаривает со Скотининым с таким нескрываемым омерзением, что, позволь Фонвизин своим помещикам быть чуточку повосприимчивее, те бы поняли, что дела их уже плохи.

«Скотинин. ...А как по фамилии? Я не дослышал.

Правдин. Я называюсь Правдин, чтоб вы дослышали.

Скотинин. Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки?

Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно...»

Интонации выразительны: интересуешься? На, черт с тобой! Отвяжись только.

Во втором действии, встретясь с Милоном, Правдин уже сообщает ему свое решение; дело только за решением наместника:

— Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Я уведомил уже о всех здешних варварствах нашего начальника и не сумневаюсь, что унять их возьмутся меры.

И т. д. и т. д., вплоть до минуты, когда он вынет бумагу и «важным голосом» сообщит Простаковым:

— Повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни.

Но дело в том, что именно постоянство его отношения к хозяевам и не дает ему выйти из положения статического; занавес открывается уже после того как мнение Правдина составлено, и даже ожидание распоряжения наместника — лишь видимость нерешенности: характеристика, данная начальнику Правдиным уже в начале второго действия («С какою ревностию

помогает ои страждущему человечеству!»), говорит, что наместник его и нас не разочарует.

Нет, Правдин — фигура вовсе не активная. Активна ли, в самом деле, статуя Командора, которая во всех вариантах стародавнего сюжета карает Дон Жуана за его прегрешения и для зрителя, у коего этот сюжет на слуху, незримо присутствует на сцене с начала драмы? Ничуть! Активен Дон Жуан, дозревающий до заслуженной кары. И именно потому он — центральная фигура.

Точно так же в «Недоросле» активна Простакова. Кара предрешена, до нее остается только дозреть, и Фонвизин дотошно доказывает нам, что героиня ее по всем статьям заслужила. Дикий характер «презлой фурии» раскрывается во всех сферах, ей подвластных.

И — заметим — не безразличных для государства.

Открывается комедия сценой с Тришкою, которая кончается приказом высечь безвинного портного. А после хоть и мимоходом, но выразительно проявит Простакова свое отношение и к прочим дворовым, доказав, что она «госпожа бесчеловечная».

Затем докажет, что, калеча Митрофана своей животной любовью, отымает у государства служилую силу.

Наконец, совершит поступок, уголовный характер которого ясен даже тем ее реальным прообразам, которые в своих поместьях мало от нее отличаются; попытаться похитить Софью, дабы женить своего оболтуса на богатой невесте. После чего и окажется перед осязаемой угрозою отдачи под суд.

И все-таки Фонвизин заставит Софью, Стародума и Милона простить Простакову, поверить в ее сомнительное раскаяние и даст ей таким образом возможность вновь развернуться в сфере, так сказать, профессиональной. Помещичьей:

— Простил! Ах, батюшка!.. Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки.

Вдумаемся только: она, только что стоявшая иа коленях перед Правдиным и Стародумом, получив их прощение, уже нимало не беспокоится, что производит на них впечатление неблагоприятное. Ей на это наплевать, ибо сейчас оиа себя ощущает неуязвимой для закона. Похищая Софью, дворянку, она совершила то, что и сама, как дворянка, не может не считать преступлением. Переступала через черту, ей самой видимую. А тут:

— Разве я не властна и в своих людях?

— Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет? — недоумевает вслед за нею братец, на что Правдин ответит с горячностью:

— Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.

Правдин пока что взывает лишь к чувствам, а не к закону, и Простакова тоже принимает его «не волен» как апелляцию к ее добросердечию; помнится, так же и манифест о вольности, освободив дворян от необходимости служить, прекраснодушно и бессильно взывал к их добронравию, угрожая всего лишь моральным презрением.

Закона Простакова не боится, он ей кажется даже защитою ее права бесчинствовать. И именно закои помянутый:

— Не волен! Дворянин, когда захочет, и слугу высечь не волен: да на что ж дан нам указ-то о вольности дворянства?

— Мастерица толковать указы! — насмешливо отзовется Стародум, и госпожа Простакова тотчас откликнется на его насмешку:

— Извольте насмехаться, а я теперь же всех с головы на голову...

Тут-то и остановит ее «важным голосом» Правдин.

Вот отчего «Недоросль» не просто картина нравов: нрав Простаковой, ураганно пронесшийся по сцене, являет нам и свое происхождение. Свои корни.

Стародум насмешничает напрасно. Ненароком он сказал чистую правду.

«Да, госпожа Простакова мастерица толковать указы, — писал Ключевский. — Она хотела сказать, что закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл *Недоросля;* без нее это была бы комедия бессмыслиц».

И далее:

«Госпожа Простакова, как непосредственная, наивная дама, понимала юридические положения только в конкретных, практических приложениях, каковым в ее словах является право произвольного сечения крепостных слуг. Возведя эту подробность к ее принципу, найдем, что указ о вольности дворянства дан был на права дворян и ничего, кроме прав, то есть никаких обязанностей на дворян не возлагал, по толкованию госпожи Простаковой. Права без обязанностей — юридическая нелепость, как следствие без причины — нелепость логическая; сословие с одними правами без обязанностей — политическая невозможность, а невозможность существовать не может».

Кажется, все-таки и Ключевский переоценил иаивность Простаковой. Указ о вольности дворянства весьма легко поддавался ее толкованию, он для такого толкования и был вырван дворянами у Петра Третьего. Да и вообще закон только тогда закон в серьезном, не формальном смысле, когда его способны усвоить те, для кого он писан. В том числе Простаковы. Ну, если и не усвоить органически, не сделать частью своего сознания, то хотя бы бояться его, помнить о реальной каре за нарушение.

Да, сословие с правами без обязанностей существовать не может, и лучшие из дворян, от Фонвизина до Пушкина и декабристов, оттого столь упрямо и втолковывали своему сословию мысли о долге, которым надобно платить за право, и о праве, вручаемом за выполнение долга. И все-таки злосчастный указ, создавший явный перевес в сторону прав и потому радостно поддержанный Простаковыми и Скотининими, которых всегда больше, чем Фонвизиных и Пушкиных, неумолимо подталкивал дворянство именно к несуществованию, к гибели, по крайней мере нравственной.

Указ о вольности и был юридической нелепостью — сам по себе, даже без простаковского толкования. Недаром тот же Ключевский говорил, что он нарушил равновесие в обществе, вернее, оправдал его и что на другой день после его принятия следовало отменить крепостное право.

Простакова всего лишь практически и по-своему очень логично понимает закон, — в этом горечь и сила комедии. Ежели б она его нарушала, ежели б дело свелось к частным злоупотреблениям, «Недоросль» не был бы «Недорослем», Фонвизин — Фонвизиным. Здесь достало бы сочинителя комедий «О время!» или «Именины госпожи Ворчалкиной», весьма крутого на расправу с нарушителями законов. «Недоросль» же отразил ситуацию,

казалось бы, донельзя парадоксальную — и оттого-то характерную для Екатеринина века. Госпожа Простакова нарушает все человеческие нормы, больше того (для русского восемнадцатого столетия это и в самом деле — больше), несет неисчислимый вред государству, при этом оставаясь в общих рамках закона. Она, правда, перехлестнула через край, перебрала, переозорничала, обратив на себя внимание администрации, которой приходилось практическими усилиями как-то исправлять юридические несовершенства знаменитого указа, — однако с самим законом ее поступки, а главное, ее сознание в ладу.

Да и поступки... то ли еще было? Никакой Скотинин не мог сотворить в комедии (хотя бы потому, что зрители сочли бы сочинителя вралем) того, что в натуре сотворил, допустим, воронежский помещик граф Дивиер. Правдин до его дома, глядишь, попросту не доехал бы: граф, завидев издали, что едет к нему земский суд, взял да и перестрелял всех судейских из пушек. А было это гораздо после «Недоросля», перед самой смертью Екатерины.

Единственно, в чем у Простаковой разногласия с законом, так это в том, что все-таки мало он дает воли: «У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой», — теперь же, хочешь не хочешь, приходится учить Митрофана. Но не сам ли указ рождает в ней желание вовсе распоясаться и будит завистливые воспоминания о прежнем (прежде, как известно, и фунты тяжелее были)? Аппетит приходит во время трапезы. А трапеза — на столе.

В 1772 году в новиковском «Живописце» напечатаны были прославившиеся «Письма к Фалалею», между прочим, долгое время приписывавшиеся Фонвизину. И автор одного из писем, Трифон Панкратьевич, тоже показывал себя мастером толковать указы:

«Да что уж и говорить, житье-то наше дворянское нынече стало очень худенько. Сказывают, что дворянам дана вольность: да черт ли ето слыхал, прости господи, какая вольность? Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать: нельзя у соседа и земли отнять: в старину-то побольше было нам вольности. Бывало, отхватишь у соседа земли целое поле; так ходи же он да проси, так еще десять полей потеряет; а вина, бывало, кури сколько хочешь, про себя сколько надобно, да и продашь на сотню места. Коли воевода приятель, так кури смело в его голову: то-то была воля-то! Нынече и денег отдавать в проценты нельзя: больше шести рублей брать не велят, а бывало, так бирали на сто и по двадцати по пяти рублей. Нет-ста, кто что ни говори, а старая воля лучше новой. Нынече только и воли, что можно выйти из службы да поехать за море; а не слыхать, что там делать? Хлеб-ат мы и русский едим, да таково ж живем... То-то было житье!»

Резко, зло, смело, но разве это смелость «Недоросля»? Здесь от закона идет одно благо, а Трифон Панкратьевич этим недоволен, ибо жаждет беззакония. Простакова ж, напротив, взывает к Указу о вольности; она доказывает своим примером, что можно быть беззаконным и в рамках закона, то есть что сам закон беззаконен. С точки зрения разума и души. С точки зрения дворянства — такого, каким его хотят видеть Фонвизин и Стародум. С точки зрения государства, наконец.

Все это смело тем более, что указ, утвержденный Петром Третьим, был по сути своей скорее екатерининским. Дело не только в том, что она его не отменила; не в том, что «эпохи Петра Третьего» не было, был поганый миг. Указ не случайно был внушен императору самим дворянством (Романом Воронцовым) и выражал не характер Петра, который заботился вовсе не о

дворянах, а лишь о себе и своем самовластии, но характер Екатерины: ее заигрывание с дворянством, обеспечившим победу над супругом и поддержавшим против Павла, ее постоянную на него опору.

Простакова и Змейкина снова оказались союзницами.

ПРЯМОЕ ЗЕРКАЛО

— Я удивляюсь вашему искусству, — некогда сказал Фонвизину Никита Иванович Панин о бригадирше Акулине Тимофеевне, — как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль ее столь интересною, что все хочется ее слушать...

Это удивление — уже ответ. Оно угодило в самую точку, определив историческую пограничность «Бригадира» в российской словесности. Дурища, которая интересна на протяжении пяти актов, означает, что на сцену выходит не просто персонаж, посредством которого автор с большим или меньшим умением сообщает нам свои суждения о том о сем, но человек, интересный уже тем, что он человек, интересный не навязанной ему чужой глупостью и не внушенным ему чужим умом, а вдунутой душою, жизнью, «натурою».

— Вы, конечно, станете жить лучше нашего, — говорит бригадирша сыну Иванушке, лелея мысль о женитьбе его на Софье. — Ты, слава богу, в военной службе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили. Мой Игнатий Андреевич вымещал на мне вину каждого рядового.

Попадись эта реплика нам на глаза отдельно, сама по себе, мы решили бы, будто имеем дело с драмою: слишком жестокая судьба стоит за простодушной и вечной верой, что детям лучше будет житься, нежели родителям. Замечательно, однако, что драма-то прорастает в комедии, преображая этот жанр, прежде столь однородный.

Обдуманная ли это черта? Скорее — невольная. Ибо даже когда Акулина Тимофеевна на вопрос Софьи о причине ее слез отвечает:

— Теперь Игнатий Андреевич напади на меня ни за что ни про что. Ругал, ругал, а господь ведает за что. Уж я у него стала и свинья, и дура; а вы сами видите, дура ли я? — то и тут Софьин избранник Добролюбов отвечает ей вполне насмешливо:

— Конечно, видим, сударыня.

И далее надменно ее третирует — с согласия автора, недаром подарившего ему столь значимую фамилию.

Точно так же Денису Ивановичу, кажется, и в голову не приходит, что он изображает благонравную Софью в невыгодном свете, когда она негодует, что бригадирша смеет рассказывать о жестокостях еще одного семейного тирана, капитана Гвоздилова, а та отвечает ей разумно:

— Вот, матушка, ты и слушать об этом не хочешь, каково же было терпеть капитанше?

Фонвизину и в голову не приходит; поздний же его читатель, Достоевский, не колеблясь, отдает предпочтение дурище:

«Таким-то образом и сбрендила благовоспитанная Софья со своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь отповедь) у Фонвизина, и нет ничего у него метче, гуманнее и... нечаяннее».

То, что для самого Фонвизина было еще нечаянным, при Достоевском, во времена обостренной участливости к униженным и оскорбленным, стало очевидным.

Да и сам Денис Иванович к поре «Недоросля» заметно осознает многое из того, к чему прежде шел на ощупь. Хоть и не все.

Не раз убедительно было доказано, что Фонвизин не миновал прямого влияния просветительской драмы, Бомарше и Дидро, создавших «пакостный род слезных комедий», — так уничижительно окрестил их пьесы ревнитель правил классицизма Сумароков. Гнев и беспокойство Александра Петровича столь были велики, что он даже не положился на свой авторитет, в котором был убежден, и обратился за поддержкою к Вольтеру, каковую и получил: престарелый классик также морщился от «ублюдочных пьес», не являющихся ни трагедиями, ни комедиями.

Ободренный Сумароков тут же пошел войною на «Евгению» Бомарше, которую поставил в Москве друг Фонвизина Дмитревский; уговаривал москвичей не портить себе вкус новомодной чепухою, взывал к их здравому смыслу:

«А ежели ни г. Вольтеру, ни мне никто в этом поверить не хочет, так я похвалю и такой вкус, когда щи с сахаром кушать будут, чай пити с солью, кофе с чесноком и с молебном совокупят панафиду».

Однако дурень, пляшущий на похоронах и плачущий на свадьбе, проникта-ки, вопреки заклинаниям, и на русскую сцену. И на ней явились лица, не застывшие по авторской воле в гримасах скупости или ханжества, глупости или важного достоинства, но по воле как бы собственной то горюющие, то веселящиеся. И на ней теперь представлялась семейная, частная жизнь, быт не условный, а близкий к подлинному.

Фонвизин более многих оказался чуток к нововведениям.

«Бригадир» его открывался развернутой, описательной ремаркою:

«Театр представляет комнату, убранную по-деревенски. *Бригадир,* в сюртуке, ходит и курит табак. *Сын* его, в дезабилье, кобеняся, пьет чай. *Советник,* в казакине, смотрит в календарь. По другую сторону стоит столик с чайным прибором, подле которого сидит *советница* в дезабилье и корнете и, жеманяся, чай разливает. *Бригадирша* сидит одаль и чулок вяжет. *Софья* также сидит одаль и шьет в тамбуре».

Сегодня нам трудновато вообразить, что такое заурядное начало могло быть в новинку. Между тем — было, хотя новинка быстро завоевывала право на существование и существовали уже утвержденные просвещенным вкусом образцы. Недаром первые строки «Бригадира» совпадали с начальной ремаркой той же «Евгении»:

«Театр представляет залу, украшенную со вкусом. Чемоданы и связки показывают недавной приезд; в одном углу стоит стол, на котором поставлен поднос со всем чайным прибором и за которым сидят женщины. Госпожа Мюрер читает письмо перед свечою, Евгения держит свое шитье, барон сидит позади стола, Бетси, стоя подле его, держит одною рукою поднос с маленькою рюмкою, а другою оплетенную прутьями бутылку, наливает барону рюмку и смотрит на все стороны».

И все-таки по сравнению с «Недорослем» «Бригадир» робок, что заметнее всего в округлой старательности почерка. Перечтите ремарку: уже она успела аккуратнейше распределить персонажей по линеечке; как на шахматной доске черные и белые стоят строго друг против дружки, ладья

глядит на ладью, слон на слона, так и тут соблюдена «симметрия в волокитстве». Бригадир — и советница. Советник — и бригадирша. Сын — и назначенная ему Софья. Это не обдуманно небрежная мизансцена Бомарше, а выставка, парад. Герои развернуты к зрителю фронтально, они не столько общаются, сколько демонстрируют общение, реплики, если даже по видимости посланы партнеру, на самом деле адресованы в партер.

«Советник *(смотря в календарь)*. Так ежели бог благословит, то двадцать шестое число быть свадьбе.

Сын. Hélas![1]

Бригадир. Очень изрядно, добрый сосед. Мы хотя друг друга и недавно узнали, однако это не помешало мне, проезжая из Петербурга домой, заехать к вам в деревню с женой и сыном. Такой советник, как ты, достоин быть другом от армии бригадиру, и я начал уже со всеми вами обходиться без чинов».

Рука еще неопытна, и, главное, нет нужды ее набивать для публики, которая охотно ходит на наивные комедии Сумарокова, где герои говорят «на публику», а комическое действие заменено прерывистой чредою комических положений: не бегущая линия, а спотыкающийся пунктир. Можно подивиться, как много сведений понапихал Фонвизин в первые строчки своей комедии, и нельзя не заметить, что все они понапиханы ради нас, неосведомленных, и вопреки осведомленности самих персонажей: уж советник-то с бригадиром знают и чины, свои и чужие, и срок свадьбы, и недавность знакомства.

Современному зрителю стало бы на таком спектакле неуютно в своих креслах: герои показались бы ему праздными пустословами, а он сам — ничуть на то не претендующим главным действующим лицом представления...

Госпожа Простакова, являясь на сцене с первой репликой, нас не видит и о нас не помнит. До нас ли ей, ежели подлец Тришка обузил Митрофанушке кафтан?

Ей не до нас, Фонвизину не до ремарки.

«Г-жа Простакова *(осматривая кафтан на Митрофане)*. Кафтан весь испорчен. Еремеевна, веди сюда мошенника Тришку. *(Еремеевна отходит.)* Он, вор, везде его обузил. Митрофанушка, друг мой! Я чаю, тебя жмет до смерти. Позови сюда отца».

И так далее. Войдет без вины виноватый Тришка, приплетется в предвкушении беды Простаков, — мы уже вовлечены в действие. Кафтан, бытовая деталь, сразу помогает нам узнать первые характеристики, понять порядок, учрежденный в дому, отношения между героями, и когда затем появится Правдин, его оценки для нас уже не обязательны, ибо не новы. Оттого даже блеклость резонера общей картины не портит. Или — не очень портит.

Сквозь трещину, которую дал простаковский дом от маленькой домашней бури (обузил? не обузил?), мы в него проникли. Нас не зазывали, не пичкали насильно сведениями; мы сами вошли.

И увидели не ходячие карикатуры, а людей. Если же в них мало человеческого, то не оттого, что писатель изуродовал их в угоду своей тенденции, — изуродовала жизнь.

А люди везде люди, как написал Денис Иванович в письме из Франции.

---

[1] Увы! *(фр.)*.

В комическую роль бригадирши волею или неволею пробились частицы драмы; о Простаковой же Вяземский сказал, что она, как мольеровский Тартюф, стоит на меже трагедии и комедии.

То есть принадлежит трагикомедии.

Прежде всего он имел в виду финал, когда Простакова, ошеломленная решением об опеке, бросится обнять сына:

— Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка!

А тот отмахнется, как от мухи:

— Да отвяжись, матушка, как навязалась...

Вот тут-то и взойдет фурия на межу трагикомедии. Даже сделает шажок в трагическую сторону:

— И ты! И ты меня бросаешь! А! неблагодарный!

И потеряет сознание. Не из притворства или малодушия, что еще позволено героиням комедии, — нет, от боли и отчаяния.

— Боже мой! Она без памяти, — кинется к ней Софья, а Стародум подаст племяннице единственно возможный в эту минуту совет:

— Помоги ей, помоги.

Те, которые только что радовались краху Простаковой, сейчас суетятся вокруг нее, стараясь привести в чувство. Ибо только что она была госпожа бесчеловечная, мать неразумная, — теперь она госпожа, лишенная власти, и, главное, мать страдающая. Несчастная.

«Признаюсь, — писал Вяземский, — в этой черте так много истины, эта истина так прискорбна, почерпнута из такой глубины сердца человеческого, что по невольному движению точно жалеешь о виновной, как при казни преступника, забывая о преступлении, сострадательно вздрагиваешь за несчастного».

В самом деле, смеяться — и где? В финале одной из самых смешных русских комедий! — так же не пристало, как аплодировать казни, что неприятно поразило Дениса Ивановича в Париже.

Какое может быть сравнение между безвредною бригадиршей и злобною Простаковой? А вот поди ж ты! Наше невольное, но естественное сострадание последней сильнее сочувствия Акулине Тимофеевне. Ибо то, чем нас могла тронуть мать Иванушки, шло, а вернее, попадалось обочь основной сюжетной линии, безраздельно комической; существовало помимо бессмысленной безмятежности, с какою дурища не могла взять в толк, что советник в нее влюбился. Не то с матерью Митрофана: к роковой меже ее целеустремленно ведет сюжет, а путь к беде сопровождает и заканчивает авторская мысль, врученная Стародуму:

— Вот злонравия достойные плоды!

Стародум изрекает это, «указав на г-жу Простакову», а не на Митрофана. Он-то плод, так сказать, физический, материальный и, по суждению Правдина, не окончательно погибший.

— С тобой, дружок, знаю, что делать. Пошел-ко служить...

Уверенное «знаю» говорит о том, что Митрофана еще попытаются вернуть на стезю государственной службы и государственной истины. Но плод злонравия, о коем толкует Стародум, безнадежен. Это разбитая жизнь Простаковой:

— Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От стыда никуды глаз показать нельзя! Нет у меня сына!

Там еще неизвестно, навсегда ли отнята у нее власть (ежели считать пись-

мо Скотинина к сестре продолжением «Недоросля», так ненадолго). Стыд испарится, и скоро: именно с возвращением власти, ибо это не возвышающий стыд за нечаянно содеянное зло, а низкий стыд тирана, лишившегося силы. Но сына — его у нее действительно нет. Он сам это только что доказал.

Для того чтобы госпожа Простакова хоть на минуту оказалась человеком страдающим и достойным сострадания, надобно, чтоб и когда-то прежде, во время, которое комедия и не пытается обозреть, она также была человеком. Просто ее человеческое естество переродилось и выродилось, и одно из прекраснейших чувств, материнская любовь, стало уродливым и уродующим.

Но как позабыть, что изначально-то оно — прекрасно?

Трагикомическую сложность ощутил Гоголь:

«Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя».

Гоголь ощутил, сказал я. Значит ли это, что то же самое в данном случае ощущал и Фонвизин?

Нет. Ни в коем случае. По крайней мере вряд ли...

Весьма вероятно, что он отнесся бы к гоголевским похвалам недоуменно: как будто бы и лестно, да уж больно непонятно.

«Эта безумная любовь к своему детищу...» — говорит Гоголь. То же самое говорит и Фонвизин — устами резонера Правдина. Вернее, то же — и не то.

— Негодница! — укоряет Правдин Митрофана, между прочим, отнюдь не путаясь в грамматическом роде, как нам, нынешним, может показаться; «негодницею» мог быть окрещен и мужчина, как сегодня «недотепою» или «простофилею». Итак: — Негодница! Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья.

Припомним, что в фонвизинские времена «безумная» вовсе не значило только: «исступленная, огромная, немыслимая»; это слово ежели и не исчерпывалось смыслом «дурацкая, нелепая, без-умная», то все-таки с ним соотносилось.

Любовь Простаковой — дурацкая... ну, полудурацкая, во всяком случае не разумная, не умная, не мудрая, и это для Фонвизина чрезвычайно важно: за инстинктом, за изначальностью, за безрассудностью он, человек эпохи Просвещения, мудрости не признает. Страсть Митрофановой матушки для него — форма животного эгоизма, преступного с точки зрения государственного сознания. Оттого-то Денис Иванович придавал такое значение обузданию диких инстинктов, превращающих людей в «лошадок», в животных, в скотов; человека, по его суждению, надобно з а с т а в и т ь быть добродетельным...

Да, очевидно, что Гоголь написал о «Недоросле» и о Простаковой как человек уже иного, постсентиментального времени, для которого родительская любовь, хотя бы и экзальтированная, даже дикая, все же — священна.

Ну и что из того?

Во-первых, как общеизвестно, писатель часто сам не подозревает, в какие глубины удастся ему вторгнуться вроде бы ненароком; и Фонвизин оказался едва ли не самым первым российским литератором, заслужившим это высочайшее право — не знать, не подозревать, недооценивать себя самого. Он не Лукин, не Сумароков, даже не Княжнин или Новиков, — ему дано передать трехмерную объемность Простаковой или Митрофана.

А во-вторых, бегущее время часто не то чтобы приписывает старинному произведению нечто новое, а обнаруживает не видимое прежде старое, то, что современниками не было замечено, однако уже существовало. Вспомним: Достоевский свежо и точно отметил нечаянную глупость оранжерейной Софьи перед дурищею бригадиршей, — значит ли это, что нечаянность выдумана им, что в «Бригадире» ничего подобного заложено не было?

Истинно живые произведения искусства потому и живы, что живут; это не игра словом, а реальность. Они живут, стало быть, меняются, движутся, и всякий новый день высвечивает в них что-то новое (и одновременно старое); ведь и речь-то сейчас как раз о том, что «Недоросль» и посегодня жив. И о том, почему жив.

Писатель, способный создать тип (будь он Сервантесом, Шекспиром, нашим Гончаровым, или, допустим, Гашеком, — имена неравноценны и сведены в один ряд не без умысла), обладает качеством, которое мы вольны объявить чем угодно, хоть гениальностью: термины относительны, ибо в любом случае субъективны.

Одно очевидно, он больше, чем «просто» писатель, сколько угодно талантливый... ну, хорошо, договоримся, как раз и учтя вышеуказанную неравноценность: не только писатель. И его герой-тип не только так называемый художественный образ, он сумел войти в национальное, а то и мировое сознание как бы уже непосредственно; разумеется, не помимо, но словно поверх текста. И вот человек, смутно помнящий роман Мигеля де Сервантеса Сааведра «Дон-Кихот», тем не менее примерно знает, что такое донкихотство, — другое дело и совсем другой разговор, как он к этому понятию относится: тут и Тургенев с Герценом не сошлись. А тот, кто десятилетиями не перечитывал (если вообще читал) роман «Обломов», преотличнейше понимает, что ежели его обзовут Обломовым, следует обидеться.

Или, что справедливее, задуматься.

Больше того! Сама книга, твердо и постранично знаемая, случается, даже вроде мешает... да безо всяких «вроде», да, мешает, и легко представить человека, сыплющего уморительными цитатами из великой гашековской эпопеи, который, веселясь и веселя окружающих, ничуть не задумывается, в чем же все-таки могучая типизирующая и типизированная сила Швейка, этого Санчо Пансы, занявшего место Дон-Кихота, в чем его национальная уникальность, обернувшаяся и общечеловечностью; это в романе-то, написанном подчас фельетонно-наспех, почти по-журналистски.

И то: не до художества было, успеть бы насмеяться и выговориться. Тут и сама яростная торопливость могла стать эстетической силой...

Сказанное выше — совсем не попытка оправдать тех, кто беззаботно паразитирует на типизирующей мощи писателя, тех, кто как бы знает, не обре-

меняя себя чтением. Это признание того благодатнейшего факта истории литературы (лучше сказать: истории и литературы, литературы, которая становится частью истории), что т и п перерастает даже книгу, час и место своего рождения, исторически частную среду своего обитания.

Немногие — не станем обольщаться — помнят текст гениального «Недоросля». Т е к с т, говорю я, а не выхваченные из него «хочу жениться» или «дверь! котора дверь?» Да и те, кто помнит, не всегда тверды касательно тех страниц комедии, где нет крылатых фраз, упорхнувших за пределы т е к с т а.

Митрофана знают все; все теперь пользуются безвинным понятием «недоросль» в укоризненном смысле, — это, повторю, победа из высочайших. И она же, напомню, из разряда горьких побед: зная, помня, цитируя, не все читают. То есть и понимают не все.

...Вернемся, однако, к гоголевской ретроспективной проницательности. «В ч е л о в е к е, п о т е р я в ш е м с в о е д о с т о и н с т в о», — сказал Гоголь о Простаковой, извратившей таким образом материнское чувство... Это же та самая грань, за которой какая-нибудь отличная черта человека или целой нации может стать своей нравственной противоположностью!

Вот пример, подсказанный вчерашним и сегодняшним опытом: в начале сороковых годов, в начале великой и страшной войны, многажды звучал трагический вопрос: как же это в Германии, именно в ней, в стране Бетховена и Гёте, с ее искусством, целеустремленным к гармонии, и с человеком, ценящим порядок, в том числе и высокий порядок ума и души, как это в ней столь стремительно вырос миллионноголовый тип хладнокровного и расчетливого убийцы?

Сложен вопрос, и ответ не краток; одно тем не менее ясно: это стало возможно именно потому, что демагогически-бесстыдный нацизм лишил людей их человеческого достоинства, убедил, что простые и вечные человеческие ценности — обывательская чушь, которой надо стыдиться.

И произошло кошмарное чудо перевоплощения: любовь к порядку показала себя на конвейерах концлагерей...

Впрочем, нас заждался век позапрошлый.

Сильная русская любовь госпожи Простаковой оттого проделала жуткую эволюцию, что и Митрофанова матушка утратила свой человеческий стержень; вернее, дикость жизни заставила ее его утратить.

Гоголь увидел начала и концы, точку приложения силы и самое страшную силу, любовь к детищу — и непотрясаемый застой российской провинции, сердечную страсть — и внешнее давление на нее. Снова сошлись частное и общее.

Семейный быт, укромный и интимный, повторяет в миниатюре формы самодержавного государства, теряет изначально свойственную ему животную теплоту клубочка родственных тел и становится холодным слепком государственного деспотизма. Человек, еще не обретший чувства достоинства в масштабе монархии, теряет его и в своем дому.

Мать, чем более любит сына, тем более отчуждается от всего, «что не есть ее дитя», — это не индивидуальная аномалия. Это дикое недоверие к миру, патриархально замкнутое сознание, дисгармоническое существование отщепенца.

Это Русь того времени — в самом худшем и страшном, что в ней тогда было.

Государственнику Фонвизину видеть это — больно. Но, решившись осмеять персонажей, он вдруг сумел их и пожалеть. То есть объектом обличения оказалась жизнь, действительность, а не сами по себе люди.

А люди — объект внимания и интереса.

Кажется, я противоречу себе? Ведь шла речь о чертах сознания восемнадцатого века, века центростремительного, творящего культ государства, а отнюдь не отдельной личности? Да, но о чертах сознания общего, свойственного Панину и Фонвизину, Державину и Суворову, лучшим людям эпохи (худшие, Простаковы и Скотинины, от него отлучены). Сейчас же придется отлучить и кое-кого из лучших: Суворова, Панина, — речь идет о литературном сознании, об особом взгляде искусства.

Если не ждать от ассоциации больше того, что она способна дать, можно сравнить перемены, происходящие в художественном сознании Фонвизина, с современной ему живописью. Не с жанром, пробуждающимся еще робко и вяло, — с портретом.

Вообще такие аналогии не только относительны, но опасны, они не могут быть постоянными, и, скажем, Пушкин уже настолько перерастает современное ему живописное искусство, что даже его портретисты перед ним пасуют. Они-то, может быть, даже особенно наглядно. На портрете Кипренского, изображающем двадцативосьмилетнего Пушкина, скорее можно разглядеть молодого романтического автора, который успел сочинить «Бахчисарайский фонтан», но никак не дорос до «Бориса Годунова», — уже тут запоздание. А портрет тропининский? Неужели этот вальяжный русский барин хоть что-то из пушкинского написал?

Это две разные эпохи, настоящее (нет, будущее) и седая, отдаленная старина.

(К слову сказать, единственное исключение, рожденное, как случается, не упорным восхождением профессионализма, а полуслучайным взлетом дилетантства,—портрет Пушкина работы Линева, висящий на Мойке... да и на нем — только затравленный, мучительно усталый человек, что правда, но не вся, ибо, катастрофически мучаясь, этот нарисованный неврастеник писал величественный «Памятник» и мудрого «Медного всадника».)

Иное дело — комедии Фонвизина и портреты Никитина, Антропова, Аргуновых, особенно Рокотова и Левицкого. Тут есть некая близость, как у всякого начала. Начала не в смысле хронологическом, а в реальном, начала не просто словесности или живописи, но искусства в том и в другом. Искусства, отныне обретающего ценность непреходящую.

Время Пушкина еще не настало, и надо, хотя и нехотя, признать, что тут — наоборот: пока что живопись обгоняет литературу. По крайней мере в своем бескорыстном и оттого особенно серьезном интересе к человеку.

Восемнадцатый век — вообще вершина русского портрета... ну, хорошо, одна из вершин: к чему Казбеку соперничать с Эльбрусом? Очень, совсем скоро придут Боровиковский, преображающий натуру в смысле ее украшения, Венецианов с его сентименталистской концепцией, а много позже концептуальность приведет к великим и злым полукарикатурам Серова, где мысль художника распоряжается натурою своевольно, — пока же интерес к ней наивен и серьезен, человек занимает живописца сам по себе.

«Рокотов нигде не достиг полной ясности характеристики...» — с полуупреком напишет автор монографии о гениальном портретисте. И заметит, что черты изображаемых им людей «никуда не устремлены, не

выстраданы, они еще не воплотились в определенные общественные формы».

Это правда; перед нами еще просто люди. Стоит ли об этом сожалеть?

Простодушный реализм этого периода связан с презираемым нынешними художниками стремлением к сходству, к жизнеподобию, но стремление рождено не старательностью полумастера, только-только выучившегося подражать натуре, нет, рука уверенна, она даже поразительно много умеет, однако дух художника еще не возгордился. Ему пока что надобно не заскочить вперед с суждением о предмете, но самому понять предмет.

Искусство уже стоит высоко, однако еще не осознало этого и безмерно далеко от самоуверенности. Даже, скорее, напротив.

М. В. Алпатов заметил:

«Мастера русского портрета XVIII века, даже когда сами они были людьми дворянского происхождения, принимаясь за кисть, чувствовали себя отдаленными от своих заказчиков социальной гранью. Это сдерживало проявление в портрете непосредственного личного отношения художника к его модели».

Точность этого замечания мы, может быть, в особенности поймем, говоря в следующей главе о сочинителях восемнадцатого века; а то, что «сдерживало», может нравиться или не нравиться, однако именно это составило отличительную черту искусства того времени.

«Из самых похожих», — милостиво оценила Екатерина свой портрет, написанный Рокотовым. Конечно, это обычная реакция почти всякого заказчика, который и в своих портретах работы Модильяни или Пикассо втайне будет надеяться встретить добротную схожесть фотографии, — но и невольно выраженный критерий, не индивидуальный и не скоротечный. «Творец, с п и с а в ш и й Простакову» — это Пушкин напишет гораздо позже.

Прочтем:

«Эта картина — бесподобное зеркало. Художнику в ней как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания».

Это кажется блестящей характеристикой Рокотова, но это слова Ключевского о Фонвизине; я их лишь дважды подлатал, заменив «комедию» «картиной», «Фонвизина» — «художником».

Пора припомнить цитированные много страниц назад слова, сказанные о Денисе Ивановиче Гоголем, Пушкиным и Белинским: «...все взято живьем с природы... списано с натуры... слишком верные списки с натуры... даровитый копиист...» Может быть, теперь мы готовы понять причину их единодушия, говорящего, что истина найдена: Фонвизин потому оказался столь близок к натуре, что сатирическая предвзятость была в нем побеждена живым вниманием к человеку.

Цитирую Ключевского далее, уже без замен:

«Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный художник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копировал».

Неужто и историк собирается упрекнуть Фонвизина в том, в чем упрекал его критик, нашедший, что тот «слишком верно» списывает с натуры? Ниче-

го подобного, и некоторое несовершенство терминологии, способное заставить нас это заподозрить, возмещается общим смыслом:

«Это произошло оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то, что *казалось,* проник до того, что действительно *происходило;* простая, печальная правда жизни, прикрытая бьющими в глаза миражами, подавила шаловливую фантазию, обыкновенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не замечаемую действительность».

Оценка достаточно общая, чтобы не быть отнесенной к одному Фонвизину, и именно это обнажает также общую значимость его пути, стремительного взлета от полукосноязычного «Кориона» к «Недорослю».

Рождение писателя Фонвизина — это рождение русской литературы.

Неуклюжие строчки трудолюбивого и талантливого Тредиаковского — наидоступнейшие для насмешек. Меж тем по-французски Василий Кириллович стихотворствовал легко и изящно, — оттого, что там уже была литература, был опыт, были правила. Его знаменитое российское косноязычие — родовые муки отечественной словесности, а кто ж станет ждать от роженицы сладкозвучий?

Юность Фонвизина совпала с младенчеством нашей литературы. Сочиняя «Кориона», он еще не много умел, но и литература умела ровно столько же. И «Недоросль» стал их общим детищем, общей победою; и условия победы — тоже общие: интерес к человеку, желание сперва понять, а уж после выговориться, гуманность, проникшая даже в комедию и коснувшаяся даже недостойных. Истинное искусство начинается только с этого. С этого начался и Фонвизин, тот, который останется навсегда, сочинитель «Недоросля».

«Недоросль» — не шаг, не десять, не сто шагов вперед, а отчаянно дальний прыжок от Сумарокова, от Лукина, от «Кориона», от всего, что было рядом. Теперь уж не рядом: неисчислим путь от дошкольных палочек-нуликов Сумарокова до гениальной скорописи Гоголя; кажется, не эпоха, но несколько эпох разделяют их, а современник, собеседник, супротивник Сумарокова Фонвизин как писатель — в гоголевской эпохе. Странен «Недоросль» рядом с «Тресотиниусом» или «Ссорою у мужа с женою», Митрофан и Скотинин не соседи и даже не соотечественники Оронту и Кимару, Дюлижу и Фатюю; с «Женитьбою» и «Ревизором», с Жевакиным и Ляпкиным-Тяпкиным они — ничего, уживутся. Между ними расстояние, и большое, но не пропасть.

СЛОВО И ДЕЛО

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит.

Державин

Слова поэта суть уже его дела.

Пушкин

...Я шутя сказал Великому Князю, что в старину за это *слово и дело* крикивали; он изволил спрашивать меня, что это такое, *слово и дело?* Не входя в подробное о сем изъяснение, доносил я Его Высочеству, сколько честных людей прежде сего от Тайной Канцелярии пострадало, и какие в делах от сего остановки были. Сие выслушав, изволил Великий Князь спрашивать: «Где ж теперь эта Тайная Канцелярия?» И как я ответствовал, что отменена, то паки спросить изволил, «давно ли и кем отменена она?» Я доносил, что отменена Государем Петром Третьим. На сие изволил сказать мне: «Так поэтому покойный Государь очень хорошее дело сделал, что отменил его».

«Дневник» Семена Порошина

СОЧИНИТЕЛИ

«Никогда не служил».

Такую эпитафию гордо изберет себе фонвизинский потомок в литературе Александр Васильевич Сухово-Кобылин. И не будет в своей гордости одинок.

Его современник Герцен напишет о появлении множества лиц, которые, если «и просят о чем-либо правительство, то разве только оставить их в покое... Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это при деспотическом режиме называется быть в оппозиции. Правительство косилось на этих праздных людей и было ими недовольно».

Так будет, но от фонвизинских времен до этого еще очень далеко. В ту пору лучшие люди понимают свой долг совсем иначе. Понятие общества еще неотрывно от понятия государства.

В комедии «Недоросль» ее идеальный герой Стародум все-таки сознается в одном грехе, совершенном по молодости.

— Вошед в военную службу, — рассказывает он своему верному слушателю Правдину, — познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын случайного отца, воспитан в большом свете и имел особливый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило.

Надо ли пояснять, что «сын случайного отца» — отнюдь не незаконнорожденный, а сын родителя, угодившего в случай?

— Я, — продолжает Софьин дядюшка, — все силы употребил снискать его дружбу, чтоб всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостию. «Любезный граф! Вот случай нам отличить себя. Пойдем тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина, которое нам дала порода». Вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо: «Счастливый тебе путь, — сказал мне, — а я ласкаюсь, что батюшка не захочет со мною расстаться». Ни с чем нельзя сравнить презрения, которое ощутил я к нему в ту ж минуту.

Это лишь начало истории, стыдной для Стародума. Стыдное — впереди:

— Оставя его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их и не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестною наградою службы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспомнить, произведен чином, а обойден я — я, лежавший тогда от ран в тяжкой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку.

Вот какое воспоминание мучит достойного старца:

— Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам...

— Но разве дворянину не позволяется взять отставки ни в каком уже случае? — интересуется Правдин.

— В одном только, — ответствует Стародум: — когда он внутренно удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. А! тогда поди.

Ежели правда, что, изображая Стародума, Фонвизин имел в виду прямодушного Петра Панина, то в комедии высказан упрек генералу. И немалый, — если даже нечаянный.

Отставка Петра Ивановича также оказалась внезапной: он был на взлете военной своей судьбы и уж никак не мог считать, будто служба его отечеству прямой пользы не приносит. Куда было прямее: войска, которыми он командовал, только что, в ноябре 1770 года, взяли, хотя и с немалыми потерями, Бендеры и тем приблизили финал турецкой кампании. Тут-то военачальник их и оставил.

Ссылался он на подагру, вдруг его одолевшую, но мало кто сомневался, что дело было в ином. Его, как и Стародума, обошли: дали Георгия I степени, в то время как Румянцев за взятие Кагула произведен был в фельдмаршалы.

Вероятно, Екатерина не без злого удовольствия своеобразно полуунизила своего персонального оскорбителя, и Петр Панин правильно ее понял; а все ж сравнения со Стародумом он не выдерживает и должен был бы корить себя куда резче его. Да и корил, конечно, — может быть, только не за неисполнение долга перед отечеством, а за неразумную потерю власти; вспомним, с какою радостью ухватился он за должность сокрушителя Пугачева; тогда и для ненавистной государыни нашлись у него слова верноподданнической благодарности, пусть даже и положенной по этикету. Стародума может извинить тогдашняя его молодость; Панину было пятьдесят, возраст, в коем горячность не слишком простительна. Тот осердился на несправедливость вопиющую; этот дал себя одолеть зависти к более чем достойному сопернику, а вернее, соратнику: «за Дунаем храбрый Петр», если вспомнить неуклюжую строчку Храповицкого, граф Румянцев-Задунайский, уж конечно, не чета стародумовскому мальчишке-графу.

Никита Иванович ошибки брата повторить не хотел, хотя и ему невосприимчивость к обидам нелегко давалась; и причиною не одно властолюбие. Сибарит и ленивец был прежде всего человеком государственным; в этом содержалось его призвание, его жизнь, без этого он попросту не мог.

Да и не смог: умер.

Его выученик Денис Иванович был под стать покровителю. И для него выход в отставку был крушением не просто удачно начатой и многообещающе продолженной чиновничьей карьеры, но многих «прямо любочестивых», то есть рожденных истинным, а не ложным честолюбием планов. Ни много ни мало — по переустройству государства.

Очень скоро, занявшись учеными делами, он составит «Опыт российского сословника» (не имеющий ни малейшего отношения к вопросу о сословиях; таким, не слишком удачным, образом — «сослово» — переведет Фонвизин латинский термин «синоним»). За основу будет взят подобный же французский словарь Жирара, но, вопреки иноземному происхождению и узконаучному назначению, в словаре российском окажутся сатирические остроты в адрес отечественных порядков: «*Проманивать* есть больших бояр искусство» или «Стряпчие обыкновенно *проводят* челобитчиков». Просту-

пит в нем не только соль, но и слеза: К. В. Пигарев, пожалуй, с основанием углядит печальную полуиронию по поводу собственной судьбы Фонвизина, не слишком-то старательно спрятанную в лингвистическом упражнении на синонимы «мир, тишина, покой»:

«Худой *мир* лучше доброй брани. Исцеля себя от ложного любочестия, пошел в отставку и живу в *покое*. *Тишина* часто бурю предвещает».

Буря в скором времени и разразилась. Ни одно из «сослов» к судьбе Фонвизина не применилось: ни мир, ни тишина, ни покой. И именно оттого, что в словесности он себя числить отставником не собирался.

Применение служилого словца «отставка» к занятиям литературою тут имеет смысл особый. Временной. Мы ведь уже говорили прежде, что демонстративное название карамзинского сборника «Мои безделки» было знамением новой эпохи в словесности, нового к ней отношения: в поэзии более не служат, как в департаменте.

Фонвизин служить продолжает. Вернее, пытается продолжать, хотя начальство и дает ему понять, что в службе его отнюдь не нуждается. Что с того? Он ведь делу служит, а не лицам. Государству, а не непосредственному начальнику, который на сей раз уже не добрейший Никита Иванович, а сама российская самодержица, объявившая себя монопольной покровительницей отечественных да и заграничных муз. Больше того — наставницей:

— Театр есть школа народная, она должна быть непременно под моим надзором, я старший учитель в этой школе...

Разумеется, карамзинская бездельная аполитичность, негаданно и еще столь отдаленно предвещающая гордую праздность Сухово-Кобылина, не с ветру взята. Нечто неминуемое происходит и внутри той литературы, что отличается пока как будто бы непоколебимым единством взгляда на роль сочинителя в государственной жизни, — и не может не происходить: разочарования не бесследны. «Седою обезьяной» назовет беспечального эллина Анакреона суровый римский гражданин Катон, а тот, кто организовал их диалог, Ломоносов, твердо станет на сторону римлянина. Что же до Державина, то он, хоть и не откажется от того, на чем стоят его век и его поэзия, все-таки не только подобреет к греку, но увидит в его безделках желанную независимость:

Цари к себе его просили
Поесть, попить и погостить,
Таланты злата подносили,
Хотели с ним друзьями быть.
Но он покой, любовь, свободу
Чинам, богатству предпочел;
Средь игр, веселий, короводу
С красавицами век провел.

Но это пока еще не отставка, а нечто вроде отпуска, данного собственной душе. Что-то вроде поездки в свое имение Званку. Отдохнул, пофантазировал, помечтал о несбыточном — и возвращайся к делам.

У Дениса Ивановича и мечтаний отпускных не было, хотя он никак не походил характером на мрачного ригориста Катона. Скорее уж следовал Анакреону в любви к незатейливым и затейливым житейским радостям...

Вообще то историческое существо, которое мы обобщенно можем назвать: «российский литератор второй половины восемнадцатого века», — существо неповторимое. И, на нынешний взгляд, удивительное.

Прежде всего — опять-таки по меркам сегодняшним — этот литератор лишен самоуважения. Если оно и встретится, как у Сумарокова, то немедля

подвергнется насмешкам: бедного Александра Петровича окрестят Самохваловым, а Ломоносов будет говорить о нем, «страстном к своему искусству», по словам Пушкина, как о «человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает!..».

Добро бы дело было действительно лишь в самохвальстве Сумарокова, в котором он был повинен, так нет же: современникам смешна сама попытка литератора отнестись к себе — именно как к литератору, а не бригадиру или статскому советнику — с полной серьезностью.

«Здесь все Сумароковы», — пишет из Франции сестре Денис Иванович, находя не только забавным, но и постыдным литературное самолюбие Мармонтеля и Д'Аламбера; «здесь скверные стихи разделяют часто дом, — неодобрительно замечает он: — брата с братом вечно делают врагами, и, словом сказать, литеральные войны делают многих людей погибель... Брат гонит брата за то, что один любит Расина, а другой Корнеля».

Вспомним и то не слишком одобрительное изумление, с каким описал он чествование Вольтера: восторги толпы, встречавшей великого изгнанника, показались ему неблагопристойными.

Фонвизин еще не хочет и не может понять того, что уже понимает Гримм, один из энциклопедистов, усердный корреспондент Екатерины: «В первый раз, быть может, мы увидели во Франции общественное мнение, пользующееся всей своей властью».

Да, толпы ликовали не только при виде Вольтера, но, вероятно, и при мысли, что ликование — разрешено, что стало возможно воздать некоронованному кумиру почести, какие издавна воздавались лишь королям. А насмешившие Дениса Ивановича «литеральные войны», в какие бы комические крайности ни впадали, — они также победа общественного мнения, драгоценное его завоевание. Они — признак того, что литература стала важным, общим делом, стоящим, страшно сказать, не ниже дел государственных. Ибо ссорятся уже не только из разногласий, кому отдать предпочтение, прусскому Фридриху или русской Екатерине, ссорятся из-за Расина и Корнеля.

Такое, дайте срок, будет и в России; Фонвизин, обращаясь к Екатерине с челобитной, пока что сетует лишь на то, что литераторам не дают места и чина, без коих к слову сочинителя никто не желает прислушиваться; Пушкин же станет требовать уважения к себе именно как к литератору, и камер-юнкерский мундир покажется оскорбительно узок для русского гения.

Конечно, и ныне представление о достоинстве писателя далеко шагнуло вперед по сравнению с временами не столь давними: при Петре да и после него авторы художественных произведений не всегда даже и подписывались: невелика была честь; и в печать их сочинения поступали тоже не всегда, оставаясь в рукописях. При Анне Иоанновне всесильный Волынский еще мог прибить Тредиаковского и посадить на хлеб и воду за крохотную попытку отстоять свою независимость.

Такое теперь, в фонвизинское время, немыслимо; теперь сословие литераторов принадлежит к людям, также достойным уважения, — но само-то уважение, как оно обосновывается?

«Нам не должно почитать сочинителей романов, сказок, песен бесполезными гражданами: они помогают к содержанию книгопродавца и людей торговых и торг самый чрез то умножают. Пускай продолжают они свои сочинения, только бы не вредили нравам и закону. Они других способ-

ностей не имеют, а праздность и того была бы хуже. Какие люди бывают разбойниками? Люди праздные, которых игра и пьянство завело к злодеянию».

Возможно ли далее уйти от признания самоценности слова? А меж тем это принадлежит не чьей-то посторонней и презрительной руке: это писано Фонвизиным! Да, им — хотя и в молодости, хотя и всего лишь переведено, а не сочинено самолично. Впрочем, он еще смолоду, переводя, популяризировал мысли, ему недальние, — так было и на сей раз, когда в 1766 году он издал книгу аббата Габриэля-Франсуа Куайе «Торгующее дворянство».

Сочинители — как подспорье для книгопродавцев. Сочинители, которые, брось они свои сочинения, глядишь, сделались бы игроками, пьяницами и разбойниками... И эти-то суждения, если и не выражающие собственные мысли переводчика, то по крайней мере не отпугнувшие его от перевода, высказаны в век, когда перед литераторами, казалось бы, напротив, следовало преклонить колени. Хотя бы за то, что они — великие труженики!

Я уже не говорю о винчианской разносторонности Ломоносова, но как широки интересы и нашего героя, Дениса Ивановича Фонвизина: от комедии, прозы, стихов, лингвистики — до живописи, музыки и физики! А каков друг Державина и Капниста Николай Александрович Львов: поэт, архитектор, живописец, музыкант, механик, геолог, изобретатель! К тому ж все они — люди служащие, сочинительству посвящающие лишь досуг, не более того. Допустим, Херасков около полусотни лет почти без остатка отдавал себя Московскому университету как его директор и куратор; остаток меж тем оказался огромен — хотя бы и в построчном исчислении. Сообразим и плодовитость Державина, успевшего между делом (нет, между словом!) служить в гвардии и в Сенате, побывать олонецким и тамбовским губернатором, быть личным секретарем Екатерины, президентом Коммерц-коллегии, вторым министром при казначействе, министром юстиции...

Того же роду и Фонвизин: долгие годы занятый государственной службою, мучимый тяжкою болезнью, то и дело отрывавшей его от сочинительства, он сумел написать и перевести весьма немало.

Однако, как видим, не настолько, чтобы почувствовать себя прежде всего литератором. Гордость удачами своих детищ — была. Понимания, что именно они и есть его главное, его е д и н с т в е н н о е дело, — не было.

Мудрено ли, что со стороны — и тем более сверху — нечасто выказывали уважение тем, кто сам не имел довольно самоуважения? Когда прошел слух, что Никита Панин берет к себе секретарем некоего молодого сочинителя господина Визина, европейские дипломатические агенты так отозвались на этот неожиданный выбор: в дипломаты допущен «человек рассеянного образа жизни» (сегодня сказали бы: богема), человек, «являющийся шутом Панина и его друзей». А Потемкин, прочтя радищевское «Путешествие», писал императрице:

«Не сержусь. Рушеньем Очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп...»

Тут и поза и коварная подсказка. Но и общее отношение к слову писателя: они там себе марают бумагу, а мы берем города.

После окажется, что дело обстоит не совсем так. Сдвинутся представления о ценностях, наша благодарная память установит свою иерархию, и Анна Ахматова напишет:

«Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к

литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные особняки говорят: здесь бывал Пушкин или здесь не бывал Пушкин».

Заметим, однако, что это произойдет в полной мере не только гораздо после, но и с иной литературой, более поздней. И, что важно, именно с той, которая уже обрела сознание самоценности, высокое самоуважение духа. Мы говорим не только: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. Мы можем сказать: грибоедовская Москва, Петербург Гоголя, время Достоевского; фонвизинская эпоха или державинский Петербург — на этом язык споткнется. И во многом как раз потому, что сами они отводили себе в своем мире незаслуженно малое место, да и вся литература пока его не отвоевала.

Все не просто, не линейно, и речь не об уничижении литературы восемнадцатого века. И снова — не о том, хороша она или дурна, а о том, что она такая, какой только и могла быть.

Она, например, особенно и прекрасно демократична... сейчас поясню, в каком именно смысле, но прежде надобно сделать терминологическую поправку.

Фонвизинский «демос», читатель, которым он жаждет быть понят непременно, недвусмысленно и до конца, — разумеется, дворянство. Практически только оно. Вообще нам, оглушенным сегодняшними тиражами... вериее, не так: оглушен ими был бы современник Фонвизина или Пушкина, для нас-то это дело естественное; словом, нам как-то странно представить, что нормальный (и недурной) тираж книги русского восемнадцатого века — это 600 экземпляров (в девятнадцатом, в его пушкинском периоде, будет 1200), что зрительский успех «Недоросля» может быть обозначен цифрой 8: восемь спектаклей за один московский сезон.

Да дело и не только в цифрах: не к кому более обращаться, некого более вразумлять. Еремеевна и Тришка появляются в «Недоросле» не для возбуждения сочувствия у себе подобных: не их социальные братья и сестры сидят в партере.

Так вот — о своеобразном «демократизме» литературы восемнадцатого века (кавычки говорят именно о своеобразии, а не об авторской иронии). Она бесконечно далека от самой возможности писательского снобизма: для нее немыслим даже пушкинский конфликт с чернью, с толпой, с «бессмысленным народом».

Пушкин уже станет писать для круга, избранного в смысле д у х о в н о с т и. Фонвизин пишет для избранного в отношении г р а м о т н о с т и. Но грамотность — понятие количественное, в отличие от духовности, качественного.

Поэт Пушкин ищет внимателя, равного себе, ежели, разумеется, не по гигантским творческим возможностям, то по томящей его духовной жажде:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Просветитель Фонвизин не ищет, не выбирает, не отдает предпочтения: он втолковывает просвещаемым. Конечно, и у него есть ученики более способные и менее способные, но просвещать надобно всех. От императри-

цы, которая, к великому огорчению, не понимает порою простых истин, до тупоголового Митрофана, по суждению разумного Правдина, еще не потерянного для службы и для отечества: и ему еще можно вколотить несколько правил, хотя бы вовсе простейших...

Но далее. Она, эта словесность, к тому ж завидно стремится к действенности, не успев в этом смысле расстаться со многими иллюзиями, с которыми, впрочем, литература никогда вконец не распростится; и за этим — все то же самоощущение.

«Слова поэта суть уже его дела». Александр Блок так комментировал это пушкинское возражение Державину: «Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака; может быть, они собирают какие-то части старой породы, носящей название «человек»...»

Совершись уэллсовское чудо, попади эти слова на глаза Денису Ивановичу, они показались бы ему несусветною ахинеей, гораздо большею, чем суждение Гоголя о Простаковой. Не только потому, что в его время об искусстве не изъяснялись столь отвлеченно, но и потому, что это потом, для Пушкина и для идущих следом, дело слова будет таинственным, пророческим, магическим. Несмотря даже на то, что сам Пушкин, вообще многое наследственно перенявший у восемнадцатого века, вовсе не думал отказываться от слова-дела в тогдашнем понимании, от роли советодателя при государе: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу...»

Для Фонвизина же, для Державина, Новикова, Радищева, Княжнина слово не является делом в полном и всеобъемлющем смысле; оно — лишь часть дела, его не самая действенная и оттого не самая лучшая разновидность, его функция. Оно еще не обособилось.

Ничего удивнтельного, что им, словом, позволительно и покривить — опять-таки ради дела.

Припомним панегирик, с каким Новиков, затевая журнал «Живописец», обратился к «неизвестному г. сочинителю комедии «О время!», к Екатерине: «Вы первый сочиили комедию точно в наших нравах... вы первый с таким искусством и остротою... вы первый... вы первый... перо ваше достойно равенства с Мольеровым».

Все понятно. Неблагонравно выражаясь, Николай Иванович заробел поротой задницей: ему не хотелось, чтобы «Живописец» повторил печальный опыт «Трутня». Кроме того, таким образом отстаивалась возможность возродить сатиру. Не исключено даже, что лесть сокрывала потайную полемику с императрицей, прежде ведшуюся открыто: Екатерина в споре с «Трутнем» утверждала, что высмеивать следует не живых людей не лица, но пороки вообще, — так вот Новиков теперь, возможно, не без лукавства советует ей обратное: «Истребите из сердца всякое пристрастие, не взирайте на лица: порочный человек во всяком звании равно достоин презрения».

Да, все понятно. И простительно. Во всяком случае, кажется, никому не приходило в голову попрекнуть Новикова: Державин сам воспевал Фелицу Фонвизин, обращаясь к ней со смелой челобитной, вслед за французами именовал ее российской Минервою. Как было иначе?

Но разве меньше оправданий можно будет приискать для Некрасова, ради спасения «Современника» сочинившего оды царскому спасителю Ко-

миссарову и польскому вешателю Муравьеву? Но — не простили. До смерти он каялся и оправдывался:

Много истратят задора горячего
Все над могилой моей.
Родина милая, сына лежачего
Благослови, а не бей!..

Вот оно, общественное мнение, выросшее вокруг словесности, об отсутствии которого не очень еще тоскует Денис Иванович. Вот они, российские «литеральные войны»...

Право, иной раз кажется, что сильные мира того даже больше оказывали уважения слову, чем его творцы. Они-то его издавна равняли с делом.

«Слово и дело государево» — система розыска политических преступлений в России в 17—18 вв. Каждый, кому становилось известным какое-либо «слово и дело», направленное против государя, обязан был под страхом смертной казни донести об этом властям».

Так, суховато, как ей и положено, сообщает современная энциклопедия. Современник «слова и дела», известный нам Андрей Болотов вспоминает в 1800 году о временах сорокалетней давности с непозабытой дрожью:

«Ныне, по благости небес, позабыли мы уже, что сие значит, а в тогдашние, несчастные в сем отношении, времена были они ужасные и в состоянии были всякого повергнуть не только в неописанный страх и ужас, но и самое отчаяние; ибо строгость по сему была так велика, что как скоро закричит кто на кого «слово и дело», то без всякого разбирательства — справедлив ли был донос или ложный и преступление точно ли было такое, о каком сими словами доносить велено было — как доносчик, так и обвиняемый заковывались в железы и отправляемы были под стражею в тайную канцелярию в Петербург, несмотря — какого кто звания, чина и достоинства ни был, а никто не дерзал о существе доноса и дела как доносителя, так и обвиняемого допрашивать; а самое сие и подавало повод к ужасному злоупотреблению слов сих и к тому, что многие тысячи разного звания людей претерпели тогда совсем невинно неописанные бедствия и напасти, и хотя после и освобождались из тайной, но, претерпев бесконечное множество зол и сделавшись иногда от испуга, отчаяния и претерпения нужды на век уродами».

При Петре «словом и делом» ведал Преображенский приказ; с 1731 года чинить дознание и расправу начала Тайная канцелярия, существовавшая до 7 февраля 1762 года, когда была отменена указом Петра Третьего.

Вскоре, однако, она была восстановлена новой императрицею, правда, уже под именем Тайной экспедиции Сената, но преемственность была очевидной, и Степан Шешковский, по словам Пушкина, «домашний палач кроткой Екатерины», кнутобойничал не хуже, чем Ромодановский в Преображенском приказе или Ушаков при Анне Иоанновне; бил, говорят, палкою «под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают». Не зря тот же Пушкин, говоря о Екатеринином времени, продолжает повторять: «Тайная канцелярия». Не «экспедиция». Если это и оговорка, то знаменательная.

Короче говоря, не ради невеселого каламбура вынес я в название главы трагически знаменитое словосочетание. Как видим, если в области духовной слово ставилось еще не слишком — сравнительно с будущим — высоко (во времена Елизаветы совсем не высоко), то в сфере политической оно давненько приравнивалось к делу. Власти-то понимали, что умысел, слух, острое словцо могут разрешиться действием.

Стало быть, существовало вышнее уважение к слову — увы, весьма своеобразное: дабы наказать его и искоренить.

Драма российской словесности ранней поры ее развития, драма российского общественного мнения, только еще зарождавшегося, драма — в конечном счете — самой тогдашней России состояла в том, что страх перед словом не то что опережал уважение к нему, но хуже: был проявлением этого уважения. Бояться слова начали прежде, чем в нем нуждаться.

Еще Петр выразил это царское уважение. В пору следствия над соучастниками царевича Алексея он, по словам Пушкина, «объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать *запершись*. Недоносителю объявлена равная казнь».

Денису Ивановичу Фонвизину повезло. Он угадал родиться и жить в куда более мягкие времена. Его не казнили за сочинение, написанное «запершись», втайне от царицы, хотя оно, «Рассуждение о непременных законах», по слухам, как-то дошло до Екатерины; тогда-то будто бы и посетовала она, что худо ей жить приходит. Больше того: ему выпала удача не тайно, а прямо высказать самодержавной государыне многое из того, что накипело.

НЕУГОДНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Случилось это в год 1783-й, в первый после отставки по службе. В год для Фонвизина литературно плодотворный. Отставник, очень мало писавший в счастливейшую пору своей жизни, в двенадцатилетие сотрудничества с Паниным (потому что у него было дело), одолевая хворобы, начинает бурно печататься (потому что ему осталось только слово).

Благо, для того открылись возможности.

В октябре помянутого восемьдесят третьего указ императрицы возвестил об учреждении Российской академии, членом которой Фонвизин стал с первого дня — вместе с собратьями по литературе, с Державиным, Херасковым, Княжниным, Львовым. И немедля взялся за составление словаря, ибо, в отличие от продолжавшей здравствовать Академии наук, новоучрежденная академия обязывалась заниматься только словесностью и языком.

«Начертание для составления толкового словаря славяно-российского языка». «Способ, коим работа толкового словаря славяно-российского языка скорее и удобнее производиться может»... Не имея на то ни малой претензии, суховато-деловые названия работ тем не менее уже говорят о горячности, с какою взялся за них Денис Иванович. А когда его «Начертание» встретило возражения другого члена Российской академии, замечательного историка Ивана Никитича Болтина, Фонвизин тут же открыл контркампанию, явив при том давность и выношенность своих суждений о словарном деле, если даже и спорных, а равно и готовность вести многотрудные споры. Даром что письмо к другу, содержащее антикритику на Болтина, открывается сообщением, в эту пору, к несчастью, уже обычным:

«Мучительная головная боль целые две недели меня не покидала...»

Важнейшим, однако, было иное событие.

Несколькими месяцами прежде, в мае, начал существовать «Собеседник любителей российского слова», журнал, печатавшийся при Академии наук.

Над ним, как и над обеими академиями, начальствовала княгиня Дашкова.

В мемуарах этой замечательной женщины — правда, наитщеславнейших и не всегда достоверных — перечислено все, что, по мнению Екатерины Маленькой, должно сохранить память о ней в веках, да многое и домыслено; однако ж мимо «Собеседника», ее детища, за которое потомки должны быть ей всерьез благодарны, она прошла равнодушно. Не им гордилась, не его считала своим долговечным памятником. Вот и еще одно свидетельство тогдашнего отношения к слову; как и то, что воспоминательница ни разу не назвала Фонвизина, даром что делала ему добро, коим могла бы и похвалиться, лишь мельком — и то помимо литературных его заслуг — помянула Державина, о бунтовщике Радищеве отозвалась пренебрежительно, попеняв своему брату Александру Романовичу Воронцову, который по доброте покровительствовал молодому человеку, одержимому «писательским зудом», и пожертвовал из-за него служебной карьерой.

Вернее, есть в мемуарах Дашковой одно и, кажется, единственное упоминание «Собеседника»: «В академии издавался новый журнал, в котором сотрудничали императрица и я»; но журнал пришелся к слову лишь затем, чтобы рассказать о скверном характере генерал-прокурора Вяземского, подозревавшего «Собеседник» в намеках на себя и на свою жену. Только-то.

Екатерина Великая свои собственнные мемуары оборвала задолго до описываемых лет и событий, но, доведись ей их продолжать, она, в отличие от Маленькой, может быть, не обошла бы вниманием «Собеседник» и свое в нем участие. Во всяком случае, Вяземский — не Александр Алексеевич, генерал-прокурор, а Петр Андреевич, биограф Фонвизина, — заметил, что как Петр был плотник и преобразователь, так Екатерина была законодательница и журналист, а «Собеседник» — ее Саардам. Вероятно, это преувеличение, но не выдумка. По крайней мере сама царица хотела, чтобы так оно и было.

Правда, она уверяла:

«Что касается до моих сочинений, то я смотрю на них, как на безделки. Я любила делать опыты во всех родах, но мне кажется, что все, написанное мною, довольно посредственно, почему, кроме развлечения, я никогда не придавала этому никакой важности».

Конечно, кокетничала; авторское тщеславие Екатерине весьма было свойственно, о чем говорит хоть бы история с ее «Подражанием Шакеспиру, историческим представлением из жизни Рюрика».

Сей «Рюрик», изданный, как и все подобные сочинения императрицы, анонимно, лет пять провалялся в книжных лавках, никем из читателей не востребованный. Сочинителя это задело; Екатерина пожаловалась на невнимание к ее творению известному собирателю русских древностей графу Мусину-Пушкину и просила помянутого Ивана Болтина просмотреть пьесу. К всеобщему конфузу выяснилось, что оба знатока «Рюрика» отнюдь не читали, однако Болтин поспешил сделать к нему примечания, и пьеса наконец «пошла».

Да, сделаем скидку на дамское кокетство, но отдадим должное серьезности, с какою Екатерина, как бы предвосхищая Карамзина, объявляет свои сочинения безделками, то есть указывает им место в досуге. Только в нем.

Именно серьезности: потому что слова о безделках вовсе не расходятся с утверждением, что она, как всякий самодержец и, стало быть,

монополист, должна быть старшим учителем в школе театра. Да и всей словесности также.

Напротив! И те и другие слова сходятся — причудливо, но логично.

Весельчак Афиноген Перочинов, чьим пером старший учитель водил в 1769 году, когда Екатеринина «Всякая всячина» сражалась с «Трутнем» насмешника Новикова, признавался: «Я весьма веселого нрава и много смеюсь; признаться должно, что часто смеюсь и пустому; насмешник же никогда не бывал». И тут же недвусмысленно звал подданных следовать его и только его примеру:

«Я почитаю, что насмешники суть степень дурносердечия; я, напротив того, думаю, что имею сердце доброе и люблю род человеческий».

Если тут и есть простодушие, в коем охотно признавался Афиноген, то довольно изобличительное для него и его вдохновительницы: за безделкою литератора откровенно встает жесткое указание императрицы. Почти угроза: поступай, как я, любезный читатель, в противном случае должно будет признать, что ты имеешь дурное сердце. Из чего, в зависимости от перемены в делах или хотя бы в настроении самодержца, могут воспоследовать и меры практического исправления дурносердечия. Позже и последовали...

Сходство с заявлением Карамзина оборачивается существеннейшим различием. Одно дело, когда монарх говорит: бросьте насмешничать, веселитесь, и только, — между делом советуя, как оно и было в полемике с Новиковым: «...чтобы впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит... чтоб никому не думать, что он один весь свет может исправить», — то есть: не трудитесь, за вас буду думать я. На то я и существую. И совсем другое дело, когда подданный, не спросясь, подает в отставку из официальной словесности, не желая более писать оды, а желая заняться частной жизнью и частными темами. В первом случае — трогательное единение всех под благодатной сенью власти, во втором — самовольство, выпадение, распад; вещи куда как нежелательные.

Правда, сам монарх собственному призыву может и не последовать, но на то он и монополист истины. Что позволено Юпитеру... то есть Минерве, то не позволено пасомому стаду. Екатерининны пьесы далеко не всегда были безделками.

В комедии 1786 года «Шаман сибирской» не в первый раз царица взялась высмеять «мартышек», то есть мартинистов, масонов. И не только высмеять: в финале пьесы шамана Амбан-Лая берут под стражу. За что? По каким причинам? «Первая — купеческую жену обманул: показывал ей мертвого мужа, и для того живых людей нарядил. Вторая — завел шаманскую школу. Третья — своими финты-фантами не токмо привлек народа много, но и предсказаниями и угадками выманил у всех денег, колико мог».

«Шаманские школы» — не шаловливая фантазия. Годом ранее Екатерина повелела ревизовать все московские школы, дабы увериться, что в них не преподаются масонские «суеверие и обман». Приказано было строго цензуровать издания «Типографической компании», во главе которой стоял старый неприятель и влиятельнейший из московских масонов Новиков, а самого его вытребовали для увещевания к митрополиту Платону. Был издан указ, в коем масоны окрещены были «скопищем нового раскола». Главное ж, в комедии прозвучала угроза, позже с лихвою осуществленная: взять под стражу.

Многое в «безделке» предусмотрено умом весьма дельным и деловым. Покровителю шамана Бобину дается совет:

«Как бы то ни было, советую тебе дружески: поезжай, брат, ко мне в деревню, хотя на время».

Иные после и поехали, правда, не по дружескому совету: сама же Екатерина с удовольствием изволила сказывать своему секретарю Храповицкому о том, как мудро оценил ее славный народ расправу с масонами, — кто-то передал ей разговор казенного крестьянина с крепостным князя Николая Трубецкого, масона, друга Новикова и единоутробного брата Хераскова.

— Зачем вашего барина сослали? — спросил казенный.

— Сказывают, что искал другого бога, — отвечал мужик Трубецкого.

— Так он виноват, — будто бы заключил казенный крестьянин, — на что лучше русского бога?

«Един есть бог, един Державин», — шутил Гаврила Романович. Бывшая Софья-Августа, лютеранка, сменившая веру из политических соображений, хотела, чтобы ее народ желал единого бога, единого монарха, а писатели — единого старшего учителя.

Она с охотою стала сотрудничать в «Собеседнике любителей российского слова», вела раздел «Былей и небылиц» и утверждала в нем «улыбательный» и болтливый стиль — надо сказать, делая это весьма и весьма небесталанно:

«Хотел я объявить, что говорит Невтон; но помешал мне баран, который на дворе беспрестанно провозглашает: бее, бее, бее; и так мысли мои сегодня находятся между Невтона и его предвозвещания и бее, бее, бее моего барана. О любезные сограждане! Кто из вас когда ни есть находился между барана и Невтона? Первый из твари четвероножной понятием последний, а второй из двуножных без перья слывет обширностью ума сего века первенствующим. На сей строке слышу я глас отъехавшего за амуничными вещами друга моего И И И, который больше плачет, нежели смеется; он увещевает меня, говоря: «Как тебе не стыдно упоминать о баране и его бее, бее, бее, тогда, когда ты начал говорить о Невтоне? Но тут встречается мне (хотя поехал в Швецию за масонскими делами) рассудок друга моего А А А, который более смеется, чем плачет. Сей советовал мне так: «Как хочешь, так и пиши, — лишь сорви с меня улыбку»... и далее в том же духе.

Легко, забавно, бездельно; добродушен даже намек на князя Куракина, масона, ездившего в Швецию для сношения с тамошней Великой ложею (не пришла еще пора великого гнева на «мартышек»), да и другие портреты не слишком злы: не только шарж на любимца-балагура Льва Нарышкина, но и на нелюбимого Ивана Ивановича Шувалова, постаревшего фаворита Елизаветы, которого сочинитель «Былей и небылиц» вывел под личиною «нерешительного».

И все это до поры до времени. Предел добродушию положил Фонвизин.

Произошло это не вдруг.

«Собеседник» пришелся Фонвизину как нельзя в пору; жажда деятельности, насильственно прерванной, вскипела с новой силою. За один 1783 год (другого, впрочем, для него и не было) он печатает в журнале сочинение за сочинением.

В трех книжках «Собеседника» расположился уже названный мною «Опыт российского сословника».

Напечатано «Поучение», якобы «говоренное в Духов день иереем

Василием в Селе П***», а Фонвизиным будто бы всего только изданное, — монолог деревенского батюшки, до сей поры вызывающий споры: что это, сатира или всерьез представленный образец проповеди для поселян? И понятно, отчего спорят: ни к дидактической роли, ни к злому осмеянию, ни к чему однолинейному не подходит характер попа Василия, изображенного Фонвизиным весьма живо и объемно — вплоть до того, что, нимало не сомневаясь в искренности поповского красноречия, обрушенного на порок винопийства, читатель, увы, имеет право усомниться в том, насколько ревностно сам иерей этого соблазна избегает:

«Вижу, вижу, что у тебя теперь на уме. Ты кивнул головою, думая: «Неужто и в праздник чарки вина выпить нельзя?» Ах, окаянный ты Михейка Фомин! Да чарку ли ты вчера выглотил? Если в наши грешные времена еще бывают чудеса, то было вчера, конечно, над тобою, окаянным, весьма знаменитое. Как ты не лопнул, распуча грешную утробу свою по крайней мере полуведром такого пива, какого всякий раб божий, в трезвости живущий, не мог бы, не свалясь с ног, и пяти стаканов выпить?»

Столь точные знания роковой дозы: ровно пять стаканов — не три и не десять — без самоличного опыта никак не постигнешь...

Начато было печатанием «Повествование мнимого глухого и немого», вещь на редкость своеобразного замысла: собственноручное жизнеописание некоего дворянского сына, коему почтенный родитель его присоветовал притвориться глухонемым — дабы познать сердца человеческие, «не быв, однако, подверженным их злоухищрению». И роль пришлась по вкусу. Как герой «Декамерона», так же точно притворившись, проникает в женский монастырь и телесно наслаждается плодами нетвердых нравов, ибо от него, безъязычного, не ждут разоблачения, — так и фонвизинский герой по той же самой причине извлекает из мнимого своего несчастия удовольствие. Однако — духовное:

«Привычка, кою я сделал столько лет ни с кем... не говорить, так вкоренилась, что, лишившись несколько лет по том родителя своего, хотя я был уже свободен перестать скрываться, но я того не сделал и по смерти сохраню звание глухого и немого, в коем качестве я так известен, что трактирщик, готовясь обмануть ожидаемых им гостей, кокетка, проводящая своих любовников, придворный, ухищрениями дышащий, подьячий, алчный ко взяткам, дитя шелливое и страшившееся своего вожатого, — словом, никто меня не остерегается, все предо мною обнаженные предстоят, и когда я в клоб или на гулянье приду, то слышу, что робята вскричат: «Вот глухой-то и немой», а отцы и матери их с некоторым оказанием сожаления говорят: «Он, бедняга, никому и ничему не помеха». Оттого-то я к сокровенной человеческой внутренности имею ключ».

Счастлив писатель, который может сказать о себе эти последние слова. Да и путь, идя которым может он выслужить это право, — разве не схож с путем мнимого глухонемого? Разве сочинителю не приходится таиться среди тех, кому суждено после стать его персонажами, жить с ними одною жизнью, зная, что придет минута и начнется его вторая и подлинная жизнь, где все, в реальности наблюденное, обратится в Митрофанов и Скотининых? Наконец, нет ли тут речи о сведении счетов с теми, кто смотрит на литераторов как на малых сих, неспособных сравняться с сильными мира, как на б е з г л а с н ы х, то есть не имеющих голоса в обществе по незначительности своего положения? «Вот глухой-то и немой... Он, бедняга, никому и

ничему не помеха...». Так вот же вам! Знайте мнимого глухонемого! Мнимого!

Дар Фонвизина проявился в едва начатом «Повествовании» с удивительной силой... нет, к несчастью, только обещал проявиться, но что не обманул бы и сдержал обещание — видно. Товар уже показан лицом.

Вот образчик: путники, среди которых наш притворщик, видят на Москве пожар, занявшийся в помещичьем дворе, и хозяина, стоящего на крыльце и во весь голос поющего — печально и протяжно. Бурлеск? Гротеск? Гиньоль? Ничего подобного, да навряд ли понятно было Денису Ивановичу каждое из этих слов, которые потом станут такими модными среди ученых литераторов. А доморощенная опера объясняется проще простого: хозяин известен как «отличный заика» и таким, привычным для заик, способом объясняется с холопьями, поспешающими тушить огонь.

Забавно? Пожалуй, еще не слишком. Во всяком случае, на такое способен и венценосный сочинитель «Былей и небылиц». Для того чтоб вышутить заику, Фонвизину не обязательно быть Фонвизиным, а герою его не стоит притворяться глухонемым и таким затруднительным образом развивать свою сердечную наблюдательность. Но вот рассказчик с полною деловитостью прилагает к повествованию документальное подтверждение его правдивости: ноты, им затверженные. И мы узнаём, что за арию пел смешной погорелец и как он выразил свою душу в старом напеве, снабженном пометкою: andante и некогда созданном для того, чтобы в нем, подперев щеку, оплакивали судьбу и лирически кручинились:

Проклятые черти, баня-та горит!
Заливай скорее, я вас всех прибью!
Плуты, воры окаянные,
До смерти рассеку,
До смерти рассеку!

Вот на какой песенный простор вырвалась помещичья душа!..

Надо думать, сам Гоголь не погнушался бы этаким меломаном. Но издатели «Собеседника» его, как видно, не оценили... или, напротив, оценили по достоинству, и именно потому обещание автора: «Продолжение будет впредь» — повисло, как печальный знак обрыва.

Конечно, этот Скотинин, вдруг запевший в темпе andante, не слишком уживался с беспечальными историями про барана и его бее, бее, бее. А Денис Иванович, как оказалось, дурно следовал урокам старшего учителя.

Больше того. В том же «Собеседнике» он даже попробовал хоть на миг, а поменяться ролями и преподать наставнику несколько истин. О, разумеется, в высшей степени почтительно и даже льстиво, в форме коленопреклоненной; «Челобитной российской Минерве от российских писателей» назвал он свою попытку, а Минерва, как и положено небожительнице, поименована была «божественным величеством», но все же в этом исключительном случае содержание от формы не зависело.

О Фонвизине порою пишут, будто о лихом журналисте шестидесятых годов — не восемнадцатого века, а девятнадцатого, будущего, о сотруднике «Искры» или «Свистка»: радостно изыскивают смелые намеки там, где их быть никак не могло. Допустим, подозревают карикатуру в декоративной фигуре скорбящей матери из «Слова на выздоровление Павла Петровича», рассуждая таким образом: всякому известно было, как Екатерина относилась к сыну, — а значит... Или, читая в «Недоросле» трактат о

свойствах великого государя, заключенный словами Стародума: «Мы это видим своими глазами», думают, что и тут лукавство: известно, ка́к Панин и Фонвизин смотрели на Екатеринины свойства, — а значит...

Но ничего подобного это не значит.

Чего мы, в самом деле, хотим? Чтобы в том же «Слове на выздоровление» мать вовсе не была помянута? Или чтоб была изображена нелицеприятно? Тогда, выходит, не было бы намека и панегирист не оказался бы столь смелым?

Аллегории и намеки и в те времена уже были в ходу, рискованные и озорные. Не скупился на них в собственном «Трутне» Новиков, а, скажем, Василий Майков в бурлескной поэме «Елисей, или Раздраженный Вакх» пустился на опасную шалость. Герой его, ямщик Елеся, крутил роман с начальницей Калинкина дома, работного дома для проституток, со старухою, весьма лакомой до молодых мужчин: уже есть над чем призадуматься. А надо сказать, что пародировалось в «Елисее» не что иное, как «Эней» Петрова, в сцене же ямщика и старой шлюхи — любовь Энея и Дидоны, причем Петров-то прямо объявлял, что взялся восславить в ней самое Екатерину-Минерву.

Фонвизин таким смельчаком, как Майков, не был... впрочем, в этой фразе надо поставить ударение на слове «таким». В смелости Денис Иванович уступал немногим — но он был другим смельчаком. Прямодушным, а не иносказующим.

Он говорил дерзости, сохраняя почтительный тон, — зато говорил в глаза.

Воздав хвалу царице, самолично не чинившей литераторам притеснений, Фонвизин продолжал челобитную:

«Но как ваше божественное величество правите своей землею своим умом, то и не удивительно, что часто предстоит вам труд поправлять своим просвещением людское невежество и своей мудростию людскую глупость...»

Казалось бы, чего лучше? Ежели «свой ум» столь успешно поправляет ошибки невежд и дурачества глупцов, значит, чужие умы и не надобны? Не обязательны по крайней мере? Значит, ошибались Панин и Фонвизин, говоря, что государь должен быть окружен советодателями и даже ограничен ими в самовластии? Или Денис Иванович изменил себе?

Как бы не так:

«...сею высочайшею милостию пользовались и ныне пользуются все те верноподданные вашего божественного величества, кои достигли до знаменитости, не будучи сами умом и знанием весьма знамениты».

Можно ли сказать прямее? Ведь если высочайшая милость плодит самодуров и невежд, которые ловко используют даже лучшие свойства самовластительной государыни, ее просвещенность и мудрость, — стало быть, один собственный ум ее решительно недостаточен!

Далее челобитчик не стесняется в оценке «знаменитых невежд», метя более всего в того же Вяземского, генерал-прокурора, прославившегося гонением на Державина и иных литераторов: у него не было большего ругательства для неисправных чиновников, как «сочинитель». Но простодушно-логический вывод, которым начата челобитная, сокрушительнее обличений частных. Ибо даже идеальный по своим достоинствам монарх, которым — извольте, ваша божественность! — Фонвизин готов изобразить Екатерину, своим умом не обойдется. Даже просвещенный самовластитель не защита для просвещения, даже справедливейший справедливости не утвердит.

Ибо — самовластитель.

Не поздоровится от этаких похвал...

Фонвизин готов вслед за другими повторять о совершенствах императрицы, — но с тем большей настойчивостью указывает на некую странность: если она сама так хороша, отчего же так много вокруг дурного?

«Имея монархиню честного человека, — гнет он свою линию, — что бы мешало взять всеобщим правилом: удостаиваться ее милостей одними честными делами, а не отваживаться проискивать их обманом и коварством?»

«Что бы мешало?..» Экая, право, необъяснимость! Да это же отпертый ларчик, загадка с разгадкой, и не зря даже уклончивость императрицы, взявшейся ответить вопрошателю, не может, да, кажется, и не старается скрыть раздражение:

«Для того, что везде, во всякой земле и во всякое время род человеческий совершенным не родится».

Знакомая песенка; точно так ответила она Новикову: «...чтоб никому не думать, что он один весь свет может исправить». И точно в такой же ситуации: сваливая вину за несовершенство своего правления на человеческую породу.

Этот диалог, это прямое столкновение Дениса Ивановича с Екатериной произошло чуть ранее его челобитной, когда он послал в «Собеседник» «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание».

То было письмо без адреса, до востребования, но адресат себя обнаружил. И востребовал послание. «Я внимательно перечитала известную статью, — писала Екатерина Дашковой, — и менее, чем прежде, против того, чтобы возражать на нее. Если бы возможно было напечатать ее вместе с ответами, то сатира будет безвредна, если только повод к сравнениям не придаст большей дерзости».

Так, вместе с ответами, и были напечатаны фонвизинские вопросы в третьей книжке «Собеседника».

Правда, что фонвизинские, — это в ту пору еще не было известно. Адресат-то объявился, но имя его корреспондента по обычаю, в «Собеседнике» принятому, оставалось до времени в тайне. Екатерина даже грешила на Ивана Ивановича Шувалова, объясняя Дашковой, почему так думает:

«Это идет несомненно от обер-камергера в отмщение за портрет нерешительного...»

И даже в ответах своих намекнула, что мнимый автор узнан. На один из его вопросов: «Гордость большей части бояр где обитает, в душе или в голове?» — она саркастически ответствовала: «Тамо же, где нерешимость». То есть: на себя погляди! Ты-то чем лучше?

Важно, однако, что иначе, как на желание унизить ее лично — хотя бы из мести за шарж в «Былях и небылицах», — Екатерина на вопросы не смотрела. От Шувалова она ждала любой гадости, считая его «самым низким и подлым из людей», оттого и заподозрила прежде всех.

Фонвизин ей в голову не пришел. Может быть, оттого, что такой дерзости не ждали от отставного статского советника? Может быть, считалось, что она по чину не менее как обер-камергеру? Да еще такому, как Шувалов, при Елизавете воротившему делами общероссийскими?

Что ж, вопросы неизвестного императрице супротивника и впрямь имели государственный размах:

«Отчего у нас спорят сильно в таких истинах, кои нигде уже не встречают ни малейшего сумнения?»

«Отчего у нас начинаются дела с великим жаром и пылкостию, потом же оставляются, а нередко и совсем забываются?»

«Отчего в век законодательный никто в сей части не помышляет отличиться?»

Всё одно к одному: политическая отсталость России, не усвоившей и того, что в других странах стало банальностью; законодательная Комиссия Уложения, пылко задуманная и холодно отставленная; государственная пассивность людей, не верящих в возможность серьезных преобразований. И тут — лжевопросы, отвечать на которые не обязательно, скорее уж надобно просто принять их к сведению и к исполнению, — не мудрено, что Екатерина дает на них лжеответы.

На первый, в котором отечественные дела столь явно противопоставлены иноземным:

«У нас, как и везде, всякий спорит о том, что ему не нравится или непонятно».

«Как и везде...» Наглецу дан примерный урок патриотизма.

На второй, очевидно имеющий в виду злосчастную Комиссию:

«По той же причине, по которой человек стареется».

И тут, стало быть: как и везде.. Как всегда... Как заведено.

На третий, о людях, не помышляющих отличиться на законодательном поприще:

«Оттого, что сие не есть дело всякого».

Любимейшая мысль Екатерины, если только можно назвать мыслью стремление не давать мыслить прочим. «Худо мне жить приходит...» — это Фонвизину. «...Чтобы впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит» — Новикову. А вот и еще один сочинитель, садящийся не в свои сани: «Господин Сумароков очень хороший поэт, но слишком скоро думает. Чтоб быть хорошим законодавцем, он связи довольно в мыслях не имеет».

Вероятно, ни над кем не смеется Екатерина в своих комедиях с таким талантом, подстегиваемым особливою злостью, как над прожектерами, берущимися учить ее царствовать:

— Во-первых, — размышляет в «Именинах г-жи Ворчалкиной» смешной банкрут Некопейков, — надлежит с крайним секретом и поспешением построить две тысячи кораблей... разумеется, на казенный счет.. Во-вторых, раздать оные корабли охочим людям и всякому дозволить грузить на них товар, какой кто хочет. Разумеется, товар забирать в кредит... Третье: ехать на тех кораблях на неизвестные острова... которых чрезвычайно на Океане много... и тамо променять весь товар на черные лисицы... которых бессчетное тамо множество. Четвертое, привезши объявленные лисицы сюда, отпустить их за море на чистые и серебряные и золотые слитки. От сего преполезного торгу можно — я верно доказываю — можно получить от пятидесяти до семидесяти миллионов чистого барыша, за всеми расходами.

— Изрядно, — поддакивают фантазеру... — Положил бы и я что-нибудь в компанию, да жаль того, что теперь денег нет.

— На что деньги? — удивляется тот. — Ведь я вам сказал, что все на ка-

зенный счет и кредит; барыш только в компанию. Казна и тем довольна быть должна, что денег прибудет в государстве.

Вот что раздражает: эти ничтожества без нее знают, чем должна быть довольна казна, они смеют решать за казну, за правительство, за вершины, словно они в самом деле за что-то ответственны, словно это не она, Екатерина, Минерва, за них, неблагодарных, несет нечеловеческую ношу. И законодательница, преобразовательница, литератор начинает одергивать тех, кто суется с законопроектами (Сумароков и был-то отщелкан за то, что всерьез принял Екатеринин «Наказ» и полез со своими поправками), кто предлагает нововведения, кто из словесности прыгает в политику.

Трудно сдержать окрик. И Екатерина резко отказывается от своей улыбательной уклончивости.

«Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?» — не унимается литературный Некопейков, политический банкрут Фонвизин. И этот вопрос рассердил царицу более всего.

Почему? Обиделась ли она за «шпыню», как именовали при дворе Льва Нарышкина, умевшего рассмешить ее, как никто? Может быть; правда, Екатерина сама не прочь была над ним подшутить — и подшутила в «Былях и небылицах»; однако не любила, когда посягали и на эти ее права.

Вероятнее, впрочем, другое. «В прежние времена» — вон куда метнул на сей раз! Что говорить, скверно и то, когда тычут в глаза иные страны, и недаром Екатерина настойчиво образумливала критикана: «у нас, как и везде... для того, что везде, во всякой земле и во всякое время...», но тут по крайней мере можно отговориться разностью обычаев, что императрица сделать и не преминула: «...всякий народ имеет свой смысл», — заметила она по иному поводу. Но — прежние времена собственного отечества? Кому ж это из бывших вздумали противопоставлять ее правление? Муженьку, у коего, к слову будь сказано, предполагаемый автор вопросов Шувалов находился в фаворе? Тетке мужа, у коей он был в фаворе и того большем? Или, что куда обиднее и куда вероятнее, Великому Петру, ревностью к которому она мучится и преемственностью которому гордится — не зря же Сумароков, который в своем деле понимает лучше, чем в законодавстве, сочинил для Фальконетова кумира горделиво-скромную надпись: «Petro Primo Catharina Secunda» — «Петру Перьвому Екатерина Вторая».

Вообще при ее дворе ловкой лестью считалось, поддерживая почтительный тон по отношению к официально восхваляемому Петру, нет-нет да и попрекнуть его то диким нравом, то невежеством, то пренебрежением к русскому человеку — и тем самым тонко указать на преимущества Екатерины, обходительной, просвещенной, трогательно любящей meine mutterchen Russland. И напротив, громко восхвалять петровское время значило бросать вызов; Фонвизин его и бросил фигурою Стародума, который своим именем и речами утверждает приверженность к старым добродетелям и презрение к новым порокам:

«Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался *ты*, а не *вы*. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного».

Сокровенная полемика велась непрестанно, при Екатерине и после нее, и не случайно княгиня Дашкова, императрицу любившая, презревшая даже

личные обиды и неприязнь высочайшей подруги, вспоминала об ужаснувших ее годах правления Павла: «Лица, окружавшие государя и обыкновенно-враждовавшие между собой, однако в один голос поносили царствование Екатерины II и внушали молодому монарху, что женщина никогда не сумеет управлять империей. В противовес ей они восхваляли до небес Петра I, этого блестящего деспота, этого невежду, пожертвовавшего полезными учреждениями, законами, правами и привилегиями своих подданных ради своего честолюбия, побудившего его все сломать и все заменить новым, независимо от того, полезно ли оно или нет...»

Так или иначе, на вопрос о прежних временах, не жаловавших шутов и шпыней, Екатерина сперва отвечает по своему обычаю неопределенно:

«Предки наши не все грамоте умели».

И не удерживается от угрожающего нотабене:

«Сей вопрос родился от *свободоязычия,* которого предки наши не имели...»

Однако — почему угрожающего? Что ж дурного в свободоязычии? Не сама ли Екатерина столь гордилась тем, что при ней подданным свободнее стало дышать? Так, может быть, в этом прибавлении к ответу, напротив того, выразилась гордость собою и своим временем? Поощрение свободоязычному?

Увы. Фонвизин-то понял императрицу, как она того хотела. Испугавшись последствий, он выступил с объяснением, в коем смиренно признал, что не исполнил своего благого намерения и приличного оборота своим вопросам дать не умел: «Сие внутреннее мое убеждение решило меня заготовленные еще вопросы отменить, не столько для того, чтоб невинным образом не быть обвиняемому в *свободоязычии,* ибо у меня совесть спокойна, сколько для того, чтоб не подать повода другим к дерзкому *свободоязычию,* которого всей душою ненавижу».

На помощь Екатерине-литератору, не справившейся с полемикой и не сумевшей, как собиралась, обезвредить сатиру, пришла Екатерина-императрица. Случай обыкновенный, — еще Монтень рассказывал о некоем могущественном полемисте, который любую беседу начинал так:

«Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что...»

«Острый зачин столь философского свойства, — добавлял западный мудрец, — можно развивать и с кинжалом в руках».

Мудрец российский, Иван Андреевич Крылов, показал, что и на Востоке с этим знакомы. Его герой Каиб был государем многомудрым и ничего не учреждал без своего дивана. «Но как он был миролюбив, то для избежания споров начинал так свои речи:

— Господа! Я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию же минуту получит он пятьсот ударов воловьею жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос.

Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям такую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись их премудрости».

Установила согласие и Екатерина; Фонвизин повинился, более вопросов не было, воцарились, как в сословнике, мир, тишина, покой. Правда, сама Екатерина успокоиться уже не могла.

Мало того, что она холодно и полувраждебно ответила на фонвизинское покаяние, извинения не приняв, но еще трижды возвращалась к дерзким воп-

росам в своих «Былях и небылицах». Возвращалась грубо, прямо обвинив противника шпыней и балагуром в «скрытой зависти противу ближнего». И еще припечатала: «Зависть есть свойственник ненависти».

А вскоре покинула «Собеседник».

Некогда она так же кончила полемику с Новиковым, проиграв ее: прекратила издание своей «Всякой всячины», после чего полиция получила возможность прикрыть и противоборствующий «Трутень». Без Екатерины: ее руки остались как бы чисты.

То же происходило и ныне; Дашкова, узнав о ее намерении бросить «Были и небылицы», писала ей в смятении:

«Нас совсем оставят, и те, которые мешают писателям помогать нам, сочтут себя более чем когда-либо вправе преследовать всех осмеливающихся высказывать ум и любовь к литературе... Боюсь быть невинным орудием неприятностей, испытываемых частными людьми от своих начальников. Если бы автору «Былей и небылиц» угодно было сказать несколько слов в ободрение пишущих, то он обязал бы и скромную издательницу и публику».

Но нет, не было угодно. Призывам к себе как к коллеге, к литератору Екатерина уже не вняла, и с уходом ее «Собеседник» оказался беззащитен и вскоре скончался.

Почему она ушла из него?

Предполагали, что ее смутила обида тех, кто начал узнавать себя в словесных шаржах, — того же Вяземского, например, которого она даже увещевающе изобразила в своих «Былях» как Петра Угадаева.

Может быть.

Рассердили ее и дрязги Дашковой и Льва Нарышкина: княгиня отказалась напечатать сочинение «шпыни», чем нарушила ею же заведенные правила приличия.

Это также вероятно.

Но, как бы то ни было, уходя из «Собеседника», Екатерина хлопнула дверью — и так, чтобы этот грозный стук расслышал Фонвизин; теперь она знала, кто́ автор «Вопросов». И ее прощальный привет, завещание сочинителя «Былей и небылиц», дважды уязвил Дениса Ивановича.

Среди вполне невинных пунктов завещания («Краткие и ясные изражения предпочитать длинным и кругловатым» или «Скуки не вплетать нигде») два соседствующих давно уже были замечены писавшими о Фонвизине:

«12. Врача, лекаря, аптекаря не употреблять для писания «Былей и небылиц», дабы не получили врачебного запаха.

13. Проповедей не списывать и нарочно оных не сочинять».

Что до проповедей, то, как видно, Екатерина приняла в неконченном споре о «Поучении» попа Василия сторону тех, кто-таки увидел в нем сатиру, — и по ненависти своей к насмешникам не обошла его дурным словом.

Ну а врач, лекарь, аптекарь? Они тут откуда?

Из «Недоросля». Из той сцены, что не могла не оскорбить императрицу.

— С вашими правилами людей, — горячо говорит Стародуму Правдин, — не отпускать от двора, а ко двору призывать надобно.

— Призывать? — удивляется друг честных людей. — А зачем?

— За тем, за чем к больным врача призывают.

— Мой друг! Ошибаешься! — отвечает гордый отставник. — Тщетно звать врача к больным неисцельно: тут врач не пособит, разве сам заразится.

Трудно сказать, чьей волею, но завещание исполнилось. В десятой части

«Собеседника» за 1783 год еще раз были напечатаны страницы фонвизинского «Сословника», после чего и духу врачебного в журнале не стало.

Среди вопросов, на которые взялась ответить Екатерина, был тот, что мучил Дениса Ивановича в особенности:

«Отчего многих добрых людей видим в отставке?»

Екатерина ответила издевательски:

«Многие добрые люди вышли из службы, вероятно, для того, что нашли выгоду быть в отставке».

Отныне отставному статскому советнику недвусмысленно дают понять, что и в словесности ему пора на покой.

Дают понять не раз, не два.

В 1788-м он задумает «новое периодическое творение», журнал «Друг честных людей, или Стародум». Напечатает объявления, соберет подписчиков, пошлет в цензуру. И после лаконично сообщит Петру Панину:

«Здешняя полиция воспретила печатание «Стародума»; итак, я не виноват, если он в публику не выйдет».

Тогда же «Санкт-Петербургские новости» объявят о подписке на полное собрание фонвизинских сочинений и переводов, но и оно не явится в свет.

Будет задуман еще один журнал, «Московские сочинения», — по-видимому, в надежде, что провинциальная полиция окажется снисходительнее. Исход тот же.

Мысль отдать последние силы переводу Тацита, которая придет два года спустя, — и ту отклонят. На сей раз Денис Иванович обратится с письмом к самой императрице, не дошедшим до нас, и ответ ее, как видно, окажется неблагоприятным.

Как предок его и тезка, некогда получивший от Михаила Романова жалованную грамоту, Фонвизин оказывается в осаде, начинает терпеть оскудение и нужду.

ОСАДА

Нужду? Он? Владелец дома на Галерной, отставленный на лестных условиях пенсионер, богатый белорусский помещик?

Да, правда, нужде черед еще не пришел. Ее опередили политическая осада и физические немощи.

Что до нужды, то если ее призрак и маячил пред Фонвизиным, никогда не умевшим соразмерять расходы с собственной казною, то сейчас, напротив, должен был растаять: терпя крушение в области с л о в а, Фонвизин вновь занялся д е л о м — но на сей раз делом в смысле самом прозаическом, буржуазном. Переводчик трактата «Торгующее дворянство» сам стал торгующим дворянином.

Еще несколько лет назад, в 1777-м, он познакомился и подружился с молодым немцем Клостерманом... однако, по-прежнему, помня о строгой иерархии века, надо отметить, что нынешнее слово «дружба», подразумевающее равенство сторон, и тут хоть подходит, да не совсем. «Покровитель и друг мой», «друг мой и благодетель» — так отзывался Клостерман о Денисе Ивановиче в своих благоговейных мемуарах, писанных уже в девятнадцатом веке; примерно так же, как Денис Иванович о Никите Панине.

Старшинство Фонвизина определялось не только тем, что он десятью годами был старше приятеля.

Герман Иоганн Клостерман, немец, родившийся в Голландии и с двенадцати лет прижившийся в России, торговал картинами, после открыл и книжную лавку; в год же знакомства с Денисом Ивановичем он состоял при нем в роли как бы эксперта по предметам изящных искусств: оба они разъезжали по аукционам, выбирая книги, картины, статуи для Павла и Панина. А ко времени фонвизинской отставки стали деловыми компаньонами: завели «коммерцию вещей, до художеств принадлежащих».

Так что дружба покоилась на фундаменте вещественном, и заложил этот фундамент старший из друзей. Уже давно прикипевший к собирательству, знаток и ценитель, он вдруг пускает в дело свою немалую библиотеку, свои картины и гравюры, дабы обратить то, чем тешилась душа, в наличные деньги; оценка — притом, по словам Клостермана, еще «весьма дешевая» — была пятьдесят две тысячи с малым.

Младший и должен был заняться распродажею. Старший вместе с женой Катериной Ивановной вновь отправился в путешествие. На сей раз — в Италию.

В июле 1784 года дорожная карета Фонвизиных в последний раз простучала по Галерной, и снова замелькали в «журнале вояжа», в письмах все к той же сестре Федосье и все к тому же Петру Ивановичу Панину Нарва, Рига, Мемель, Кенигсберг, Либава, Лейпциг, Нюрнберг, Аугсбург, Инсбрук... А уж там — края благословенные: Верона, Флоренция, Венеция, Парма, Рим.

Трудно разобраться, что больше всего гнало издерганного и болезненного Фонвизина в путь: забота ли о завтрашнем дне или стремление позабыть о сегодняшнем. Деньги, вырученные от продажи картин и книг, должны были оплатить поездку, которой жаждала душа, утомленная чередою роковых неудач. С другой же стороны, сама поездка задумывалась как вполне практическая: Денис Иванович намеревался прикупить на родине Рафаэля новых вещей, «до художеств принадлежащих», чтобы торговое предприятие расширялось. Что было главным? И кто кого опережал и подстегивал: торговец Фонвизин Фонвизина-путешественника либо путешественник — торговца? Скорее всего, путешественник был в этом соревновании набольшим: как покажет недальнее время, деловым человеком Денис Иванович оказался неважным. Но сознание того, что едет он не бездельничать, а трудиться и приумножать свое и супруги достояние, радовало душу и прибавляло сил, что было нелишним.

Во всяком случае, письма этого путешествия пронизаны удовлетворением, которое сам вояжер получает от собственной деловитости:

«За неоставление Клостермана покорно благодарствую. Он пишет ко мне, что в Москве тысячи на три продал. Я отправил к нему со всячиною семнадцать больших ящиков; кажется, что тут мы с ним свой счет найдем».

Эти, новые письма весьма похожи на те, прежние: Европа за несколько лет переменилась мало.

Всё так же дурны дороги, и всё так же это гневит Фонвизина. Однажды, уже в Италии, скверная дорога и скверная погода побудили подлецов почталионов совершить неслыханную дерзость. «Они тихонько выпрягли лошадей и поехали домой спать, а нас бросили на дороге. От семи часов вечера до осьмого утра терпели мы весь ужас пренесносной стужи. Бедные люди замучились и перезнобили ноги. Наконец в девятом часу поутру явились к нам почталионы с лошадьми и насказали нам же превеликие грубости. Если б не жена, которая на тот час меня собою связала, я, всеконечно, потерял бы терпение и

кого-нибудь застрелил бы. Здесь застрелить почталиона или собаку — все равно... Англичане то и дело стреляют почталионов, и ни одна душа еще не помышляла спросить: кто кого за что застрелил?»

Так же не по нраву и трактиры: «В комнате, которую нам отвели и которая была лучшая, такая грязь и мерзость, какой, конечно, у моего Скотинина в хлевах никогда не бывает».

Да и сам Фонвизин, кажется, мало переменился. Все так же разборчив в еде, даром что жена его прихватила с собою ревень, магнезию и прочие снадобья, «коими запаслась она ради несварения моей грешной утробы». Попрежнему франтит: «Вез я с собою шелковый новенький и прекрасный кафтанец, но в Риге за ужином у Броуна немецкая разиня, обнося кушанье, вылила на меня блюдо прежирной яствы. Здесь хочу нарядиться и предстать в Италию щеголем». Так же он и прелюбопытен: нездоровый, разбитый дорогою, ухитряется не пропустить ничего из достопримечательностей и «с утра до ночи на ногах».

Не изменил он себе и как брюзга, весьма склонный к обобщениям: «Честных людей во всей Италии, поистине сказать, так мало, что можно жить несколько лет и ни одного не встретить», — хотя сам-то эти контрольные несколько лет там не прожил.

И все-таки что-то в нем переменилось; вернее, переломилось. Словно вынули какой-то твердый стержень, на котором все прежде держалось. Европа та же, а Денис Иванович все-таки уже другой. Письма пестрят узнаваемыми черточками и мазками, картина знакома, но размыта, и рука, ее набрасывающая, утратила четкость линий. Меньше — значительно меньше! — размышлений о государстве, о политике, об истории. И больше — или это теперь заметнее бросается в глаза? — дробного, частного...

Вот оно! Слово найдено́. По загранице разъезжает человек ч а с т н ы й. Выпавший из того огромного целого, неотделимой частичкой которого он привык себя сознавать.

В 1777-м в вояж по Европам отправился молодой честолюбивый чиновник, человек государственный, еще не потерявший надежд на переустройство отечества, переполненный мыслями о будущем России, ревниво и гордо сравнивающий с иноземными порядками ее настоящее. Теперь едет отставник, всемерно делающий вид, что на свете ничего нет интереснее торговли картинами.

Даже привычный для нас скоропалительный вывод о нечестности всех итальянцев до единого на сей раз имеет в основе разочарование дельца.

Некий маркиз Гваццони пригласил Дениса Ивановича — как покупателя и знатока — осмотреть свою картинную галерею. И, остановясь перед одним из полотен, спросил гостя, излучая восторг: узнаёт ли он мастера?

— Нет, — честно признался российский знаток.

— Как нет? — вскричал знаток итальянский. — Неужели картина сама о себе не сказывает, чьей она работы? Неужели вы Гвидо Рени не узнали?

Фонвизин повинился, сославшись на слабое свое знание итальянской школы, а хозяин принялся пылко живописать историю шедевра, переходившего в их роду из колена в колено.

— Чего же эта картина может стоить? — осторожно приценился новоявленный торговец.

Маркиз отвечал:

— Вы можете себе представить, чего может стоить Гвидо Рени. Тысяча червонных была б для него цена очень малая.

На это Фонвизин заметил, что для него эта сумма отнюдь не малая, — однако ж за работу столь великого мастера он, может быть, и согласился бы ее заплатить; только, прибавил он, нельзя ли взять холст с собою, дабы он мог посоветоваться с супругою? Маркиз согласился, а хитроумный Денис Иванович тут же пригласил на совет нескольких художников, каковые отказались признать в картине руку Гвидо Рени и порешили, что она никак не может стоить более пяти или шести золотых.

«Я, — писал сестрице Фене рассерженный брат, — отослал картину назад с ответом, что живописцы оценивают ее так низко, что я о цене и сказать ему стыжусь, и что картину, идущую из рода маркизов Гваданиев, считают они дрянью, стоящею не более пяти червонных. Он вспылил, сказывают, жестоко на живописцев и называл их скотами и невеждами. Несколько дней прошли в гневе; наконец господин маркиз смягчился и перед отъездом моим из Флоренции прислал ко мне сказать, что он, любя меня, соглашается уступить мне картину за десять червонных. Вот какой бездельник находится здесь между знатными! Не устыдился запросить тысячу, а уступить за десять. Я приказал сказать ему, что я его картины не беру для того, что дряни покупать не намерен».

Правда, сперва-то не прочь был купить...

Не станем, однако, придираться: могло ошеломить само имя Гвидо Рени, мог внушить почтение титул маркиза — мало ли что; а все же Дениса Ивановича следует почесть если не тончайшим знатоком, то уж во всяком случае страстным любителем. И неутомимым искателем: он лазит по чердакам художников, посещает частные собрания и лавки, воспевает Рафаэля, критикует Дюрера, вдохновляется церковной живописью и находит наконец свой идеал во Флорентийской галерее. И отбирает, покупает, заказывает копии, отправляет ящики компаньону...

Счастье, что потребность заполнить досуг отставника хотя бы торговлей украшена была тем, что торговал он статуями и живописью, а не гвоздями и мылом: жизнь продолжала протекать среди прекрасного, так что даже жалоба на одиночество за границей — «мы живем только с картинами и статуями; боюсь, чтоб самому не превратиться в бюст» — не случайно смягчена шуткою. Да и можно ли сказать: «торговал»? Истинным предпринимателем Денис Иванович стать не хотел и не мог; он устроился по-дворянски, он покупал, он тратил деньги, предоставляя трудолюбивому Клостерману скучное право возвращать их сторицею.

Словом, путешествие протекало хоть и негладко, но занимательно — и вдруг оборвано было прежалостным образом. В феврале 1785 года, в Риме, болезнь впервые явила Фонвизину не одни только затруднения в жизни, но трагическое предвестие.

С ним случился удар.

Он не хотел поверить, что это начало конца. «Состояние здоровья моего отчасу лучше становится... — с надеждою писал он через несколько дней. — Доктор мой уверяет меня, что я от слабости скоро оправлюсь и что буду здоровее прежнего». И, казалось, надежда основательна. Лекарский оптимизм, конечно, был чрезмерен, удар оставил о себе незаживающую память, «слабость нервов и онемение левой руки и ноги», а все ж Фонвизины помаленьку возвращались к прежней жизни: сперва стали выезжать в

концерты и театры, вскоре же смогли даже покинуть Рим. Более: Денис Иванович не захотел уступать нездоровью и менять маршрут, так что путешественники заехали в Болонью, Парму, Милан, Венецию...

Правда, по дороге домой все-таки пришлось сделать крюк. Врачи сумели остеречь неугомонного больного, и он согласился завернуть в Баден, откуда писал сестре письма, полные несдающегося юмора и прежней способности любопытствовать: даже допекавшие его серные бани описаны пером остроумным и живым.

В августе нашим путникам открылись наконец московские колокольни и купола: супруги решили посетить родню. Тому была грустная причина: плох был Иван Андреевич. Прибыв в древнюю столицу, больной сын застал умирающего отца. А через несколько дней и сам свершил еще один шаг к смерти: 28 августа его хватил второй удар, кончившийся на сей раз параличом.

Повидавший его три месяца погодя Клостерман застал картину страшную:

«В начале декабря 1785 года я отправился в Москву прижать к сердцу моего друга, может быть, в последний раз в жизни, и нашел его в плачевном состоянии. Он страдал расслаблением всех членов и едва владел языком. В тусклых глазах его засветился луч радости, когда я подошел к его постели; он хотел, но не мог обнять меня, силился приветствовать меня словами, но язык не слушался и произносил невнятные звуки. Наконец удалось ему подать мне левую руку, которую я прижал к груди своей. Супруга его и остальные члены семейства приняли меня с отменною дружбою. Большую часть времени просиживал я у одра больного моего друга. Правая рука у него совсем отнялась, так что он и двигать ею не мог, и пытался писать левою, но выводил по бумаге какие-то знаки, по которым с трудом можно было догадаться, что ему хотелось выразить. Душевные способности также очень ослабли; но кушал он отлично и, не взирая на запрещение врача, требовал то того, то другого из любимых своих снедей. В случае отказа, вследствие неудобоваримости, он вел себя как малый ребенок, и нужно бывало пускать в ход даже строгости, чтобы он успокоился».

«Тусклый взгляд... невнятные звуки... как малый ребенок...». Это знаменитый острослов и остродум, человек, которому пристало бы находиться в цветущем состоянии тела и ума: ему ведь всего-то минуло сорок лет!

Не один Клостерман, чья чувствительность обострена дружеством к больному, решит, что, может быть, видит его в последний раз. Когда через полгода Фонвизину станет чуть лучше и он сможет, следуя совету медиков, снова направиться в Баден, встречные и поперечные станут неуклюже ему соболезновать. Некая калужанка, устремя на Дениса Ивановича свои буркалы, скажет ему жалким тоном: «Ты не жилец, батюшка!» Купец, квартирный хозяин в Карачеве, «увидя меня без руки, без ноги и почти без языка», посожалеет, «что я имею болезнь, которая делает меня столь безобразным». А встреченная в Семиполках графиня Скавронская ничего не скажет, но лишь горько заплачет, увидя знакомца, столь сломленного болезнью.

Откуда еще возьмется у Фонвизина сила отбрить непрошеных сострадателей? «Вот-на! — скажет он калужской предвещательнице. — Я еще тебя переживу». Купцу, который на глазу имеет шишку величиною с ку-

лак, ядовито заметит: «Правда, однако я моим состоянием не променяюсь на ваше. Мне кажется, что на глазу болона, которую вы носите, гораздо безобразнее хромоты и прочих моих несчастий». И только на слезы графини Скавронской отзовется слезами же:

«Она плакала, видя меня в столь жестоком состоянии, а я от слез слова промолвить не мог».

Впрочем, и ответные слезы и задетость бесцеремонными замечаннями говорят об одном: о постоянном и мучительном сознании безысходности, о неверин в счастливый исход, которое ведь нередко старается принять вид особо задорной веры.

Однако живуч человек, и вскоре, в январе 1787-го, Денис Иванович вспомнит о прежней своей беспомощности без содрогания, почти весело, как о печальном, но полузабытом контрасте своего нынешнего благополучия:

«Благодарю бога, я великую имею надежду к выздоровлению. Руке, ноге и языку гораздо лучше, и я стал толще. Ожидаю Клостермана; он видел меня в Москве и увидит здесь; следственно, лучше всего он сравнить может тогдашнее мое состояние с настоящим. Ласкаюсь, что найдет он превеличайшую радость».

Это писано из Вены: Фонвизин побывал в Бадене, затем направился в Карлсбад и Тренчин. И вскоре вернулся в отчизну, въехав в Киев так, как и положено сочинителю «Недоросля», своих сюжетов и героев из пальца не высасывающему:

«Догоняла нас туча, у самых ворот трактира нас и настигла. Молния блистала всеминутно; дождь ливмя лил. Мы стучались у ворот тщетно; никто отпереть не хотел, и мы, простояв больше часа под дождем, приходили в отчаяние. Наконец вышел на крыльцо хозяин и закричал: «Кто стучится?» На сей вопрос провожавший нас мальчик кричал: «Отворяй: родня Потемкина!» Лишь только произнес он сию ложь, в ту минуту ворота отворились, и мы въехали благополучно. Тут почувствовали мы, что возвратились в Россию».

Смышленый отрок был первым, кто напомнил возвращающемуся путешественнику об отечественных порядках. Прочие напоминания ждать себя не заставили, ничто к лучшему — для Фонвизина по крайней мере — не изменилось. Правда, не могло не ободрить то, что «Недоросль» как раз накануне его приезда в Петербург был наконец-то поставлен в придворном Эрмитажном театре, — вероятно, стараниями памятного нам фаворита Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова, бывшего в тот день, 1 сентября, именинником: он слыл покровителем искусств, а может быть, порадел Денису Ивановичу и как родственник по женской линии.

Эрмитажный спектакль представил комедию в жестоко урезанном виде, и все-таки Фонвизин воспрянул:

«Век Екатерины Вторыя ознаменован дарованием россиянам свободы мыслить и изъясняться. «Недоросль» мой, между прочим, служит тому доказательством...»

Тут и общепринятая лесть; и вспыхнувшая надежда; и очевидная правда (в конце концов, был ли прежде для россиян сочинителей более свободный век?); и желание вразумить ожесточающуюся императрицу или по крайней мере высказать вразумление во всеуслышание.

Слова эти содержались в «Письме к Стародуму», подписанном «сочинитель «Недоросля» и открывавшем новозамысленный журнал «Друг

честных людей, или Стародум». «Периодическое сочинение, посвященное истине», как определил его издатель и он же автор, ибо выступал един в обоих лицах: то было, по принятому в те поры обыкновению, именно сочинение, а не сочинения, в журнале было представлено одно перо, а не многие перья.

«Как болезнь моя, — объяснял Денис Иванович, — не позволяет мне упражняться в роде сочинений, кои требуют такого непрерывного внимания и размышления, каковые потребны в театральных сочинениях; с другой же стороны, привычка упражняться в писании сделала сие упражнение для меня нуждою, то и решился я издавать периодическое творение, где разность материй не требует непрерывного внимания, а паче может служить мне забавою».

Род сочинения пришлось переменить; но вовсе с прославившей сочинителя комедией и благородным ее героем расставаться не хотелось. Ибо:

«Я должен признаться, что за успех комедии моей «Недоросль» одолжен я вашей особе».

То была тоже лесть и не совсем правда; но лесть неумышленная и все-таки правда, хотя и неполная. Простаковы, надо полагать, и тогдашней публике казались занятнее, однако же Стародум имел отклик самый живой: речи, вложенные в его уста, были злободневны и смелы, порою до дерзости.

И все же, вероятно, самому Фонвизину достойный Софьин дядюшка оказался мил не только как вместилище особо дорогих ему мыслей: о назначении дворянства, об отставке, о свойствах великого государя, о растленном и презренном состоянии Екатеринина двора... на протяжении книги мы с ними сталкивались не раз. Мысли мыслями, а было тут и что-то иное.

Что же?

Подумаем; но сперва — несколько некратких цитат.

В своей блестящей работе о «Недоросле» Василий Осипович Ключевский писал:

«Правда, Стародум, Милон, Правдин, Софья не столько живые лица, сколько моралистические манекены; но ведь и их действительные подлинники были не живее своих драматических снимков. Они наскоро затверживали и, запинаясь, читали окружающим новые чувства и правила, которые кой-как прилаживали к своему внутреннему существу, как прилаживали заграничные парики к своим щетинистым головам; но эти чувства и правила так же механически прилипали к их доморощенным, природным понятиям и привычкам, как те парики к их головам. Они являлись ходячими, но еще безжизненными схемами новой, хорошей морали, которую они надевали на себя как маску».

Занявшись благовоспитанной Софьею, историк спрашивал: откуда Фонвизин мог взять ее живую, если только еще первые образчики таких девиц лепились в закрытых учебных заведениях, вроде Смольного института, по заказу «дядюшки Бецкого?» И делал лестное для писателя заключение:

«Художник мог творить только из материала, подготовленного педагогом, и Софья вышла у него свежеизготовленной куколкой благонравия, от которой веет еще сыростью педагогической мастерской. Таким образом, Фонвизин остался художником и в видимых недостатках своей комедии не изменил художественной правде».

Эта мысль развивается далее:

«Да и так ли они безжизненны, как привыкли представлять их? Как новички в своей роли, они еще нетвердо ступают, сбиваются, повторяя уроки, едва затверженные из Лябрюйера, Дюкло, Наказа и других тогдашних учебников публичной и приватной морали; но как новообращенные, они немного заносчивы и не в меру усердны. Они еще сами не насмотрятся на свой новенький нравственный убор, говорят так развязно, самоуверенно и самодовольно, с таким вкусом смакуют собственную академическую добродетель, что забывают, где они находятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попадают впросак, чем усиливают комизм драмы».

Наконец:

«Во всю первую сцену пятого акта тот же честным трудом разбогатевший дядя Стародум и чиновник наместничества Правдин важно беседуют о том, как беззаконно угнетать рабством себе подобных, какое удовольствие для государей владеть свободными душами, как льстецы отвлекают государей от связи истины и уловляют их души в свои сети, как государь может сделать людей добрыми: стоит только показать всем, что без благонравия никто не может выйти в люди и получить место по службе, и «тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет». Эти добрые люди, рассуждавшие на сцене перед русской публикой о таких серьезных предметах и изобретавшие такие легкие средства сделать всех людей добрыми, сидели в одной из наполненных крепостными усадеб многочисленных госпож Простаковых, урожденных Скотининых, с одной из которых насилу могли справиться оба они, да и то с употреблением оружия офицера, проходившего мимо со своей командой... Значит, лица комедии, призванные служить формулами и образцами добронравия, не лишены комической живости».

Отменно пишет Ключевский, увлекательно и увлеченно, — и, может быть, именно увлеченность, черта куда как почтенная, уводит знаменитого историка от истории.

Не в том дело, что эпоха еще не заготовила ни подходящей глины, ни должного образца, по которому можно было бы вылепить трехмерных Стародума либо Правдина. Насколько позже Фонвизина писал Гоголь, а разве его Улинька хоть в чем-то живее Софьюшки? Воплощенная добродетель плохо дается художникам, а на «Недоросля» еще заявлял права регламентирующий классицизм.

И то, что смешна самоуверенность добрых людей, разглагольствовавших под крышею Простаковых, — это обретение эпохи Ключевского, имеющей право (или хоть заявляющей его) посматривать свысока на времена фонвизинские. Зрителю той поры, жадно внимавшему Дмитревскому — Стародуму, счесть его речи забавными было бы все равно что в опере расхохотаться над привычкою изъясняться не иначе как пением.

Однако если это несправедливо сказано, то почувствовано — прекрасно. «Комическая живость» — именно так! Она свойственна Стародуму, и этим он заметно отдален от прочих «моралистических манекенов» — Правдина, Софьи, Милона, с которыми в один ряд ставить его неверно.

Одно из условий комизма — отличность от общепринятого. Стародум — отличен, и сочинитель сам заставит его в том признаться. Мы узнаем, что он неловок в свете, пожалуй, и неотесан — или, лучше сказать, недоотесан:

— Я все силы употребил снискать его дружбу, чтоб всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания...

Это он сознает сам. Тем более видна его неловкость со стороны, особенно недружелюбной. Простакова скажет, что слыхала от Стародумовых «злодеев» об угрюмстве его, и Правдин возразит, вовсе не отрицая этого свойства, но лишь указывая на внутреннее его происхождение:

— Что называют в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия.

Или в разговоре с самим Стародумом начнет:

— Ваше обхождение...

Стародум сразу оборвет его:

— Ему многие смеются. Я это знаю.

Вот он каков, любимейший герой Дениса Ивановича: он груб, угрюм, даже смешон, — пусть со стороны, но ведь сторонних великое множество. Вернее, они-то как раз не сторонние, они живут, как принято в век, немилый Стародуму, они в него вжились и вписались, а Стародум — сторонний, чужой, белая ворона. Чудак.

Не совсем тот, о котором мы говорили, поминая Елагина, Потемкина, Воина Нащокина. Даже совсем не тот. Те российские чудаки украшали фасад эпохи, характеризовали ее и сами получали от нее чудаческую свою характерность. Они были чудаки торжествующие. Этот чудак — страдающий, покинувший службу при виде несправедливости, отошедший от двора, убедясь в его неисцельной развращенности. Если он и характеризует Екатеринин век, то по контрасту, от противного. Само его существование — протест и вызов.

Если б Фонвизину удалось преодолеть каноны эпохи классицизма и договорить полусказанное, довоплотить полувоплощенное, мы бы, вероятно, имели образ могучий, притягательный и странный. Такой, какой даже Пушкину не вполне дался; Ключевский очень хорошо сказал о его старике Дубровском: «Это — любимое некомическое лицо нашей комедии XVIII в., ее Правдин, Стародум или как там еще оно называлось. Но оно никогда не удавалось ей».

Что до Фонвизина, то спасибо и на догадке, на прозрении.

Такого чудака наизнанку изобразить нелегко и потому, что его обаяние труднодоступно, — совсем не так, как у чудаков знаменитых, прославленных анекдотами. Например, тем анекдотом, который записал Пушкин:

«Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал: дать, е..... м...».

Вот что сознаешь угнетенно, но неотвратимо: в этом есть обаяние. Обаяние безбоязненности и беззаконности, страшное, однако влекущее.

Когда русские корабли одержали победу в Чесменской бухте, московский митрополит Платон, бывший законоучитель наследника Павла, читал по сему случаю проповедь в Петропавловском соборе — при дворе и императрице. Испытанный церковный оратор, он сошел с амвона, ударил посохом по гробнице Петра Великого и громко призвал его восстать и порадоваться виктории взлелеянного им флота. Присутствовавший тут граф Кирилл Разумовский шепнул соседям:

— Чего он его кличет? Если он встанет, нам всем достанется!

Это добродушный цинизм, забавный тем уже, что ирония направлена на себя и окружающих; это антистародумовский юмор человека, не надеющегося и не желающего ничего исправлять, живущего как можется и как велится.

Стародум — а н т и ц и н и к; скептическая ухмылка ему не только не свойственна, но способна подъять на его черепе остатки волос. Ему, сочетавшему рационализм века с жаром ветхозаветного проповедника, никогда не мог быть свойствен иронический взгляд на мироустройство, соблазнивший в свое время юного Дениса Ивановича, но пылкость зрелой фонвизинской поры, неукротимое желание улучшать людей и государство он сохранил до старости. С той нетронутостью, о какой сам его автор мог только мечтать.

И вот теперь, разбитый болезнью и неудачами, Фонвизин обращается в журнале к любимому созданию поры, когда он на что-то еще надеялся. Ему, Стародуму, печально глядящему на излечимость придворных болезней, он доверяет опубликовать «Всеобщую придворную грамматику», ныне известную хрестоматийно, с ее тяжеловатым и прямолинейным сарказмом, напоминающим новиковские насмешки. Ему, Стародуму, он дозволяет пустить, «как кукол по столу», хоровод человеческой или, вернее, российской комедии. Перед нами проходят: Софья, тяжко оскорбленная изменою Милона; Скотинин, льющий слезы над могилою своей свиньи Аксиньи и утешающийся поркою мужиков; помещик Дурыкин, ищущий домашнего учителя, ибо устрашен судьбою Митрофана, но рассчитывающий, что оный педагог будет обедать с камердинером и содержать в порядке хозяйский парик; Халдины, Сорванцовы, Воровы, Взяткины, Криводушины...

Картина знакомая, и ежели она не говорит о том, что талант остался на уровне «Недоросля», зато говорит о неуступчивости.

Что до самого Стародума, то он, пожалуй, своего не только не уступил, но и хочет большего.

Застав в обществе невинный разговор об искусстве слова и будучи задет суждением некоего французского стихотворца, что «Россия красноречия вовсе не имеет», он начинает размышлять об этом предмете, — как будто вполне академическом:

«Возвратясь домой, подумал я о сей беседе, и как нельзя не признаться, что наши витийственные сочинения составили бы весьма маленькую книжку, то размышлял я, отчего имеем мы так мало ораторов? Никак нельзя положить, чтоб сие происходило от недостатка национального дарования, которое способно ко всему великому, ниже от недостатка российского языка, которого богатство и красота удобны ко всякому выражению. Истинная причина малого числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пустою хвалою, но претурою, архонциями и консульствами награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Максима Тирянина; а Прокопович, Ломоносов, Елагин и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны...» Словами иного сочинителя: «Он в Риме был бы Брут...»

Журнал «Стародум» был объявлен в 1788 году, тогда же и запрещен Управой благочиния. Печально, однако счастлив бог Фонвизина, что «периодическое сочинение, посвященное истине», попалось не на глаза самой императрице и, главное, не годом позже. Уж тогда бы она сумела по досто-

инству оценить и тоску по народным собраниям, и француза-стихотворца, берущегося порицать нечто российское, и республиканские Афины.

1789. Революция во Франции.

Великий князь Павел, читая газеты этой поры, сказал матери:

— Что они все там толкуют? Я тотчас бы все прекратил пушками.

— Пушки не могут воевать с идеями, — отвечала Екатерина. — Если ты так будешь царствовать, то не долго продлится твое царствование.

Столь хлестко сказано было, вероятно, в пику нелюбимому сыну, все еще дозревающему до царствования; на деле Екатерина вскоре сама решила обратить против идей пушки, начать с революционной Францией войну, — слава богу, до этого не дошло. Но в словесной войне она долгое время все-таки старалась с идеями бороться с помощью идей; для того и затевала «Всякую всячину», для того сочиняла «Были и небылицы».

Конечно, не всегда было так. Еще в 1763 году, в золотую — или позолоченную — пору ее царствования русский посол в Англии (им тогда был Александр Романович Воронцов) известил ее, что некий лондонский журналист ядовито высмеял русскую императрицу. Екатерина рассвирепела. «На сие три способа есть, — писала она Воронцову, — 1) зазвать автора куда способно и поколотить его, 2) или деньгами унимать писать, 3) или уничтожить». Только в-четвертых пришла ей на ум война идей с идеями: «...писать в защищение».

Конечно, «уничтожить» в те времена не значило: «убить». Значило: презреть, не обращать внимания, подвергнуть уничижению. В том же значении Екатерина адресовала это словцо Новикову: «На ругательства, напечатанные в «Трутне» под пятым отделением, мы ответствовать не хотим, уничтожая оные...» Правда, быстроумный Николай Иванович взыграл, ловко использовав двойное значение слова:

«Госпожа Всякая Всячина написала, что пятый лист «Трутня» уничтожает. И ето как-то сказано не по-русски; уничтожить, то есть в ничто превратить, есть слово, самовластию свойственно...»

Итак, жизни дерзостного англичанина ничто не грозило. Но и намерение отдуть его мало похоже на фехтование идеями.

Такое случалось и в начале царствования. Теперь, когда Екатерина наяву увидела, к чему ведет либеральничанье с философами и писателями, когда ее любимые ученые французы, включая сердечного друга Вольтера, стали ей омерзительны и враждебны, со своими, доморощенными, она церемониться и вовсе не собиралась. Пушки были обращены против них.

1790 год. Храповицкий, день за днем, аккуратно записывает в свой дневник:

«Продолжают писать примечания на книгу Радищева, а он, сказывают, препоручен Шешковскому и сидит в крепости».

«Примечания на книгу Радищева посланы к Шешковскому. Сказывать изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит он Франклина, как начинщика, и себя таким же представляет. Говорено с жаром и чувствительностию».

«Доклад о Радищеве; с приметною чувствительностию приказано рассмотреть в Совете, чтоб не быть пристрастною, и объявить, дабы не уважали до меня касающегося, понеже я презираю».

То есть — делает вид, что уничтожает в своем, тогдашнем смысле. Дело, однако, пошло ближе к уничтожению в смысле нашем.

1791. Скоропостижно умирает Княжнин, два года назад изрядно претерпевший за трагедию «Вадим Новгородский», в которой хулил самовластного государя. Отчего умирает, до конца неясно, но молва упорно связывает нежданную смерть с искусством Шешковского. Пушкин, как помним, пишет уверенно: «Княжнин умер под розгами...»

Поговаривали, что и Державину едва удалось избегнуть лап домашнего палача.

1792. Полиция, еще прежде закрывшая крыловскую «Почту духов», теперь строго расследует дела типографии, которую завел Иван Андреевич. К дознанию привлечен компаньон Крылова и друг Фонвизина, его Стародум — Иван Дмитревский.

Беда ходит рядом с Денисом Ивановичем. И чуть было не настигает его.

Тот же 1792-й. Наконец-то великий гнев обрушился на масонов, чьи поиски «другого бога» сперва смешили императрицу, после начали сердить не на шутку, а пуще растревожили ее подозрения о связи «мартышек» с Павлом, действительно причастным к масонским делам, хотя и поверхностно. Чудился даже заговор, тем более вот уж кто если не писал, то разговаривал «запершись» — масоны; вероятно, Екатерину раздражало и то, что она, всеобщий старший учитель, не могла как женщина присутствовать в ложе и тем самым проникнуть в чужую тайну; во всяком случае, другая дама на троие, Елизавета Английская, в свое время также не допущенная в общество масонов, чуть было не закрыла его.

Екатерина — закрыла. Разогнала. Многие поехали в ссылку, иные, в том числе Новиков, попали в крепость. В доме директора Московского университета Павла Фонвизина сделали обыск: любимый брат Дениса Ивановича подозревался в сношениях с масонами. К счастью, Павел Иванович был кем-то предупрежден и сжег часть бумаг, а ценнейшие, фонвизинско-панинское «Рассуждение о непременных государственных законах» с приложением, адресованным будущему государю Павлу Петровичу, передал брату Александру.

Годы спустя сын его, декабрист Михаил Александрович, пустит «Рассуждение» среди единомышленников.

Страшно думать, что было бы с Фонвизиными, и в первую голову с Денисом, ежели пакет с бумагами, назначавшимися сыну, попал бы на глаза матери. Мифический заговор немедля оброс бы в ее воображении плотью, грубой и грозной.

Повторюсь: Денису Ивановичу Фонвизину повезло родиться во времена сравнительно мягкие — настолько, что мог возникнуть и даже угодить на сцену «Недоросль». Повезло и в пору ужесточения времен: его не сослали, как Радищева, не запороли, как Княжнина, не заточили, как Новикова, хотя по меньшей мере двум последним он не уступал в провинностях перед императрицею. Его допекли иным манером: осадой. Взяли измором и «уничтожением».

Пособила и болезнь.

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА...

Ни Баден, ни Карлсбад не принесли желанного здоровья, и летом 1789-го Фонвизин уезжает в Бальдоны, нынешнее Балдоне, местечко верстах в тридцати от Риги, в ту пору совсем глухое: даже бриться немощный боль-

ной ездил в самое Ригу, «ибо в Бальдонах нет ни фершала, ни бритв». Но слухи о целебной силе тамошних вод обнадеживали того, кому надеяться было не на что.

Жена на сей раз не сопровождала Дениса Ивановича, зато с ним ехал медик, вскоре оказавшийся негодяем: доехав до места, кинул пациента ради собственных коммерческих дел. Фонвизин угодил в руки никем ему не рекомендованного лекаря, который принялся его лечить тем, что прикладывал к расслабленным местам угревую кожу и не только замучил нестерпимою вонью, но чуть не довел до гнилой горячки. Наконец некто посоветовал перебраться в Митаву (Елгаву) и обратиться к тамошнему искусному доктору Герцу, «который вашу болезнь отменно удачно лечит».

Страдалец воспрянул — не телом, но духом, тем паче что митавское светило постаралось словесно затмить светил петербургских, московских, венских, карлсбадских, якобы едва не уморивших столь еще здорового человека, который без них давно был бы на ногах. В Фонвизине просыпается почти исступленная вера: «Нашел я у хозяина одного шестидесятилетнего курляндца, которого мой доктор точно от моей болезни вылечил. У него левая рука так здорова стала, как правая... Признаюсь, что Герц редкий человек и великий медик. Он никогда не обещает того, чего сделать не может; а мне обещал всеконечно меня вылечить... Он, видя меня страждущего, божился, что сие самое мучение весьма для моей болезни полезно и что он возвратил язык одной параличной женщине посредством сего рвотного».

Картина всем знакомая и, увы, со стороны весьма печальная.

Не одним рвотным терзал врач покорного и доверчивого больного:

«Доктор Герц водил меня в капельную баню, которую я без малейшего крика и роптания вытерпел. Некоторые из гостей моих имели любопытство прийти ко мне в сарай, дабы видеть, как выношу я капельную баню... Принимал железно-серную баню, а после обеда капельную. Оттуда ходил к мяснику, где принимал анимальную баню: держал руку в свинье, лишь только убитой... Положен я был на постелю, и вся левая сторона обкладена была кишками лишь только убитого быка».

Таков весь бальдонско-митавский дневник: теперь голова занята не государством и не художествами.

Предпочесть Бадену и Карлсбаду заштатные Бальдоны заставило Фонвизина не только разочарование в европейски знаменитых лечебницах; Бальдоны обходились куда дешевле. А это для белорусского помещика было уже существенно.

«Истинно чем жить не имею, — писал он сестре еще из Карлсбада. — Сегодня будет у меня консилиум. Теодора ссудила меня чем заплатить эскулапов. Излечение мое много останавливается несчастием моего положения».

Заметим, что и в плачевном состоянии дел Денис Иванович остается отменно добрым человеком: дарит червонный неизвестному русскому дворянину, по бездеиежью застрявшему за границей, помогает и товарке по несчастью, параличной девушке: «...мы подали ей сколько могли милостину, и я был бы рад везти ее с собою в Карлсбад, если бы имел надежду к ее излечению».

Зададимся, однако, вполне назревшим вопросом: каким образом обладатель тысячи душ, петербургский домовладелец, отставной статский советник (чин бригадирский), коему по смерть его назначена немалая пенсия

в три тысячи ежегодно, — как он умудрился впасть в нужду? О, разумеется, сперва весьма относительную, но потом она обратится и в настоящую: Катерина Ивановна будет вдовствовать в нищете (сохранилась записка, в которой она просит «из крайней нужды» одолжить ей пятнадцать рублей) и умрет спустя четыре года после Фонвизина, больная и неимущая.

На этот вопрос емко и лапидарно отвечает Петр Андреевич Вяземский:

«Путешествия его, продолжительное лечение, доверенность, оказанная им людям, не оправдавшим оной, неисправность в условленном платеже арендатора, которому отдал он имение свое в аренду, и тяжба, за тем последовавшая, скоро привели дела его в совершенное расстройство. Вероятно, способствовали к тому и род жизни его, довольно расточительный, хлебосольство, разорительная добродетель русского дворянства, и простосердечная беспечность, которая редкому автору дозволяет быть очень смышленым в науке домоправительства».

Добавим, что Денис Иванович еще и помогал незамужним сестрам. Отказался он в их пользу и от своей доли наследства.

Дело довольно ясное, — остается разве что расшифровать слова о людях, не оправдавших доверенности, о неисправном арендаторе и о тяжбе.

Суть в том, что Фонвизин, в самом деле бывший ничуть не смышленым в науке домоправительства, счел за благо сдать свою деревню в Витебской губернии, подаренную Никитой Паниным, в аренду прибалтийскому барону Медему, который, по словам Клостермана, «обязывался выплачивать ему по третям 5000 Альбертовых талеров ежегодно под залог своей Лифляндской деревни». Но тот оказался человеком бесчестным: с таким рвением выгонял из фонвизинских крестьян свою выгоду сверх арендных пяти тысяч, что те взбунтовались и порывались убить барона. Виновник бедствия привлек мужиков к суду, разумеется, их наказавшему, а невиновному Денису Ивановичу отказался платить аренду.

Впрочем, точно ли невиновному?

Как посмотреть...

В комедии «Недоросль» Стародум в письме к племяннице так объясняет происхождение своего богатства:

— Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностию состояние свое сделать можно. Сими средствами, с помощью счастия, нажил я десять тысяч рублей доходу...

И пораженные Простаковы со Скотининым в три голоса подхватывают: «Десять тысяч!»

Посчитаем...

Тысяча с малым душ — это, при нормальном ведении хозяйства, никак не менее 5000 серебром в год. Уже много. Добавим пенсионные 3000. А женино приданое? А, наконец, доходы от общего с Клостерманом торгового предприятия?

Много, бесспорно, много; вероятно, не больше, однако и не меньше того, что извлек из своих золотых сибирских приисков Стародум, так что Скотинины-Простаковы вполне могли позавидовать и Денису Ивановичу.

Кстати, не раз было замечено, что Фонвизин совсем не зря удалил любимого героя на прииски и ни словом не упомянул о том, владеет ли он крепостными душами. Предполагалось даже, что в этом сказалось возросшее в писателе отвращение к крестьянскому рабству. Не к крайностям его, но к нему самому — в целом и в принципе.

Первое-то несомненно: разумеется, не зря. Второе — сомнительнее.

Это, скорее, можно было бы предположить в таком открытом враге крепостного права, как Радищев; да и предполагать не нужно. В его «Путешествии», в главе «Любани», рассказчик говорит встречному крестьянину:

— У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет.

Это наилучшая рекомендация.

Сам Фонвизин, как Добролюбов в его «Бригадире», ничуть не стыдился того, что владеет крестьянами; а в сочинениях своих восславлял доброту и заботу помещика как особого рода добродетель в стране, существующей за счет крепостного права. Быть истинным отцом и благодетелем для мужиков — это для него, как позже для Карамзина, даже наиболее прямое и нелегкое выполнение помещиком своего дворянского долга.

Он не одинок среди лучших людей века.

«Мне в особенности приятно и утешительно было жить в нем, — пишет княгиня Дашкова о принадлежащем ей имении Троицкое, — потому что крестьяне мои были счастливы и богаты. Население за сорок лет моего правления им возросло с 840 до 1550 душ. Число женщин увеличивалось еще больше, так как ни одна из них не хотела выходить замуж вне моих владений».

Екатерина Романовна тщеславится, но важно ведь, что является предметом тщеславия. Какая из добродетелей.

Тем более что это отнюдь не норма — опять-таки даже среди не худших.

Гаврила Романович Державин эпически повествует, как он повелел четырех скотниц высечь «хорошенько, при сходе мирском, которые старее, тех поменее, а которые помоложе, тех поболее, за то, что они, имея худой присмотр за скотиною... осмелились еще просить меня, чтоб их и от страды уволить, что ничто иное, как сущая леность, которую без наказания оставить не должно».

Андрей Болотов рассказывает, как изощренно истязал своего пьяницу столяра, сек его порциями, «дабы сечение было ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много». Эта пытка столь взбудоражила сыновей столяра, что один из них пригрозил Болотову зарезать его, а другой сам хотел зарезаться; «будто бы хотел», — пишет гуманный помещик; словом, по его выражению, «они оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами». За что и были закованы в цепи и посажены на хлеб и воду до покаяния.

«Если так действовал человек, тронутый образованием, — пишет В. Семевский, автор книги «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II», — то что же делалось у других помещиков?»

Не убоясь тавтологии, можно ответить: делалось то, на фоне чего и Болотов и Державин имели основания считать себя отцами крестьян, а свою строгость — отеческой, направленной для блага неразумных детей. Болотов, который «никогда не любил драться слишком много», искренне не понимает, что сам довел «бунтовщиков и извергов» до отчаянного сопротивления; Державин себе кажется прямо-таки добряком: старых ведь приказал сечь поменее!

И Денис Иванович и тем паче Стародум его, освобожденный от забот реального помещика тем уже, что он — литературный персонаж, чья идеальность автором тщательно оберегается, вероятно, сей образ действий не одобрили бы. Даже всенепременно не одобрили бы, хотя и Державин с Болотовым, конечно, были бы возмущены, встретясь с простаковским или

скотининским бессмысленным варварством; совсем иное, когда имеешь дело с леностью, «которую без наказания оставить не должно». И все-таки навряд ли Фонвизин послал Стародума на прииски, дабы выказать свое неприятие крепостных порядков.

Дело, думаю, в другом. Стародум — стародум. На него брошен отсвет Петровской эпохи. А с нею и с обликом ее людей больше, чем помещичьи добродетели, связано непосредственное деяние: доблесть солдата, мореплавателя, промышленника. Доблесть, и самому Петру свойственная.

Фонвизин не был злым помещиком. Он был помещиком никудышным.

Крестьянам его от этого — существенного — различия легче не было. Клостерман рассказывал, как замученные арендатором крепостные из белорусского имения бежали в Петербург в поисках защиты. Они хотели наняться рыть канал в Фонтанку и для того просили у Клостермана добыть паспорта.

«Эти бедные люди, — вспоминал жалостливый немец, — без пищи и крова, с смертною бледностью на лицах, едва прикрытые какими-то лохмотьями, шатались, как привидения, по улицам или осаждали мой дом. Надо было иметь каменное сердце, чтобы не чувствовать к ним сострадания. При виде их сердце мое обливалось кровью. Я раздавал им хлеба, платья; а тем из них, которые были в силах работать, доставал паспорты. Но помогать всем ежедневно ко мне приходившим, конечно, не доставало у меня средств. Нанявшиеся рыть канал вскоре стали изнемогать от этой тяжелой работы, ибо с горя и нищеты они походили скорее на мертвецов, нежели на людей».

Зрелище угнетающее...

Да, все понятно: Денис Иванович в это время в Италии; да, в делах он несведущ и маломощен, что и доказал своим разорением; да, он виноват разве что в легкомыслии... Но легкомыслие не порок только тогда, когда речь о себе и о собственной выгоде, — вернее, невыгоде. Тут дело другое.

Тот, кто утверждал, что долг дворянина быть для своих крестьян разумным и добрым отцом, своего долга не исполнил. Он отец беспечный и неразумный.

Между прочим, княгиня Дашкова вовсе не из одного добросердечия старалась быть для своих людей матерью.

— Я, — говорила она Дидероту, — установила в моем орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограбления и притеснений мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы; следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов.

Фонвизин же пустил в свое стадо хищника, ничуть не озабоченного тем, чтобы оно плодилось и тучнело. Арендатор Медем рвал жадно и ненасытно — что поделаешь, надо признать, при попустительстве владельца. Всего лишь легкомысленного — одно утешение...

Но и ему самому легкомыслие дорого обошлось. Барон-арендатор не только разорил и ожесточил крестьян, но и потребовал неустойку у самого хозяина. Началась тяжба, требовавшая денег и сил.

Ни одного, ни другого уже не было.

Все же больной не оставляет «привычку упражняться в писании». В последние годы им написана комедия «Выбор гувернера» (другое назва-

ние — «Гофмейстер»), вернее, только начата, но это, надо правду сказать, не тот случай, что с «Мнимым глухим и немым». Судя по отрывку, успевшему явиться в свет, ничего достойного сочинителя «Недоросля» ждать не приходилось, и персонаж с нелегко произносимой фамилией Нельстецов (между прочим, именно ею — Иван Нельстецов — подписал Денис Иванович свою челобитную российской Минерве), вариант Стародума, разве что омоложенного и обтесанного в смысле просвещенности, на этот раз претендовал на роль, которая и прежнему Стародуму была непосильна: стать центром комедии.

Адам Адамыч Вральман худо учил, да куда более тешил взор и слух, нежели идеальный гувернер Нельстецов.

В 1791 году является «Рассуждение о суетной жизни человеческой», сочинение, в коем автор соревнует славу гениев красноречия, столь недостающих России; тема «Рассуждения», увы, горестна — смерть. Тема все более насущная.

Еще пятью годами прежде сорокадвухлетний Денис Иванович, чуя приближение конца, велел составить духовное завещание и в нем, сочиненном в приличествующем стиле канцеляристом Сергеем Игнатьевым сыном Рыжиковым, просил «на себя принять душеприказчество его сиятельство графа Петра Ивановича Панина».

Вышло, однако, иначе. Граф Петр Иванович предупредил Фонвизина «отданием долгу своего натуре», как «изражается» все та же духовная: проще сказать, скончался прежде младшего приятеля, в 1789 году. И то была еще одна душевная потеря. Тягчайшая.

Что до «Рассуждения о суетной жизни», то оно-то написано на кончину не друга, а, скорее, противника, светлейшего князя Потемкина, и, может быть, именно оттого Фонвизин не слишком-то удачно соревнуется со знаменитыми риторами, оставаясь в кругу официального красноречия... пока не заговорит о суетности жизни с о б с т в е н н о й. И эти строки поражают если не высотою словесного искусства, то глубиною покаяния и самоуничижения:

«Я обращу теперь рассуждение на самого себя. Всем, знающим меня, известно, что я стражду сам от следствия удара апоплексического; не более как в течение года поразили меня четыре таковых удара; но господь, защитник живота моего, всегда отвращал вознесшуюся на меня злобу смерти. Его святой воле угодно было лишить меня руки, ноги и части употребления языка: *наказуя наказа мя господь, смерти же не предаде*».

Кажется, некуда далее: смирение предельно. Нет, оказывается:

«Но сие лишение почитаю я действием бесконечного ко мне его милосердия: ибо воспоминая, что лишился я пораженных членов в самое то время, когда, возвратясь из чужих краев, упоен был мечтою о моих знаниях, когда безумное на разум мой надеяние нз мер выходило и когда, казалось, представлялся случай к возвышению в суетную знаменитость, — тогда всевидец, зная, что таланты мои могут быть более вредны, нежели полезны, отнял у меня самого способы изъясняться словесно и письменно и просветил меня в рассуждении меня самого. С благоговением ношу я наложенный на меня крест и ие престану до конца жизни моей восклицать: *господи! Благо мне, яко смирил мя еси!*»

В эту-то пору Денис Иванович н станет взывать к университетским студентам:

— Дети! возьмите меня в пример: я наказан за свое вольнодумство...

И напишет (нет, снова не допишет) духовную свою автобиографию, «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», покаянную донельзя. Мы о ней уж говорили.

Как это вышло?

Есть объяснения явные, видимые. Обессилившая тело и душу болезнь. Неудачи на поприще дела и слова, отнимающие одну надежду за другою. Это главное, однако объясняет больше самое причину падения духа.

Но отчего же это падение им самим воспринимается как взлет, прозрение, божья милость?

Аполлон Григорьев цитировал строки «Дворянского гнезда» — об отце Лаврецкого:

«Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился: здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником...»

«Увы! — замечал критик, — это не повесть с подробностями, нарочно придуманными для того, чтобы в конце ее можно было воскликнуть: «И вот что может делаться из человека!» — это нагая, беспощадная, да вдобавок еще историческая правда. Вспомните, как умирал один из передовых людей своей эпохи, Фонвизин, как умирали многие из так называемых вольнодумцев и учеников «изувера Дидерота».

Что касается ужаса Дениса Ивановича перед юношеским грехом вольтерьянства и сомнения в вере, тут также дело ясное. Ум его, тогдашний русский ум, воспитанный в религии и очень далекий от новомодного скепсиса, легко преодолел то, что для него было преждевременно и ненужно, зато остро и болезненно вспомнил обо всем этом, когда пришла пора мучительного досуга, принесенного болезнью, когда пришлось копаться в себе самом, дабы найти причины божественного гнева, в существование коего верилось и потому еще, что уж очень постоянны были удары судьбы.

Ведь и Лаврецкого-старика раскаяние и покаяние посетили только и именно тогда, когда «здоровье ему изменило». Не прежде.

Но, может быть, дело не только в этом? Может быть, дело и в том, что душа, лишенная одного поприща и пристанища, ищет иных? Не может жить в пустоте?

Одним словом: не есть ли глубочайшее и униженнейшее покаяние Фонвизина новая форма духовной независимости от земной власти, многажды обманувшей и оскорбившей?

Возможно, что и так: не случайно слова яростного и болезненного самовыражения прорвались в сочинении, посвященном «внезапной кончине вельможи, восшедшего на самый верх могущества и славы». Даже ему земная власть не дала ничего, что возвышало бы его надо мною, Денисом Фонвизиным, когда и я отойду в иной мир. Он и я, мы равны в прахе, но и в божественном нашем естестве. Власть же лишь ввергает нас в суету и тщетность.

Это та сторона христианской проповеди, которая неспроста всегда тревожила власть имущих.

Случайно ли, что именно в то время, когда многообещавшая законода-

тельница Екатерина отрекалась от своих начинаний, а разум, обожествленный европейской философией, льстил российской деспотии и не в состоянии был осчастливить человечество, как намеревался, в России так разрослось масонство? То был результат разочарования — политического и духовного: Екатерина надула, а насмешливый атеизм Вольтера и присных не дал ответа на мучившие российских мыслителей нравственные вопросы. В Николае Ивановиче Новикове л и ч н о отразилось это: боевой журналист, надеявшийся использовать дарованную императрицей свободу печати для борьбы с нею самой, и человек, по его признанию, находившийся «на распутье между вольтерьянством и религией», — он ушел в духовную оппозицию. Даже он, розенкрейцер (что составляло своего рода мистическую крайность масонства), а не мартинист, как ошибочно именовали всех вообще масонов, отрицавший самое вмешательство в политику, — даже он был оппозиционером, ибо, как всякий вольный каменщик, мечтал о построении невидимого, внутреннего храма веры вместо внешнего и видимого, о ф и ц и а л ь н о г о.

И тем дальше уходил в оппозицию, чем глуше уединялся, чем крепче запирался от взоров государства.

Екатерина это оценила.

Между прочим, как Фонвизин благодарил небо, пославшее ему кары и отнявшее способиость к творчеству, так и арестованный Новиков, этот бунтовщик и заговорщик в глазах Екатерины и Шешковского, по рассказу графа Ростопчина, «чудил, вступая в тюрьму, бросался на колени, благодарил небо за кары, которые оно на него ниспосылает, уверял в своей невинности и давал обет все перенести из любви к Спасителю».

Опасно что-нибудь утверждать, не слишком надежны доводы рассудка, когда дело идет о душевной драме, но кто знает? Может быть, позднее покаяние Фонвизина — это та же духовная оппозиционность? Даже если сам он этого не сознает?

Ведь и масонство, зовущее к самоуглубленности личности, и обостренное религиозное чувство Фонвизина помимо прочего есть попытка понять себя и свою прикосновенность не к роду, не к государству, но к человечеству.

Сегодня это странно? Конечно. Но сегодня — не вчера, тем более не позавчера, а что и у нас, нынешних, не может не вызывать уважения, так это сила личности, способной, как у Фонвизина, не впасть в беспросветный мрак отчаяния, а найти новую форму духовного бытия — что поделать? — единственную, которая ему осталась, или «чудить», как Новиков.

Снисходительность к прошлому не лучшее из чувств, доступных историку.

Так стоически чудить не стал бы Великий Провинциальный Мастер русского масонства Иван Перфильевич Елагин, который, по его же словам, будучи насмешливо-неверующим, посещал ложу для развлечения и тщеславия, чтобы быть на одной ноге с чиновными, солидными людьми. И, тем более, толпа, которая всегда пристает к тому, что модно. А мода была и на масонов: не зря гоголевский Ляпкин-Тяпкин поминает книгу «Деяния Иоанна Масона», одну из пяти-шести им прочитанных (речь о сочинении английского нонконформиста Джона Масона «О познании самого себя», популярном в российских ложах).

Что бы там ни было — а я сознаю, что высказал всего только догадку, да и вообще думаю, что в таких вопросах многоточие уместнее точ-

ки, — уничижение Дениса Ивановича было тем, что паче гордости. Одно сопоставление себя с кумиром земных властей Потемкиным-Таврическим стоит многого. И не только это...

Несколькими годами раньше, в 1786 году, он написал свой шедевр в прозе, повесть «Каллисфен», — и я не случайно отношу ее к концу моей книги. То был загодя подведенный итог жизни.

Вот он — такой, каким видел его сам Фонвизин, хотя, вероятно, и не помышлял о невольной автобиографичности.

Великий Аристотель посылает одного из своих учеников, философа Каллисфена, к другому, Александру Македонскому. Причиной то, что Александр, еще помнящий уроки мудрого наставника и посещаемый муками совести, молит о духовной помощи:

«Я человек и окружен льстецами: страшусь, чтоб наконец яд лести не проник в душу мою и не отравил добрых моих склонностей. Нет минуты, в которую бы не твердили мне наедине и всенародно, словесно и письменно, что я превыше всех смертных, что все мои дела божественны, что я предопределен судьбою вселенной даровать блаженство и что, наконец, всякий, иначе обо мне мыслящий, есть враг отечества и изверг человеческого рода. О мой друг нелицемерный, не смею звать к себе самого тебя; знаю, что обременяющая старость не дозволит тебе следовать за мною в военных моих действиях; но сделай мне теперь новое благодеяние: пришли ко мне достойнейшего из всех учеников твоих, который бы имел дух напоминать мне часто твои правила и укорять меня всякий раз, как я отступать от них покушуся».

Вот уж тут раздолье аллюзиям, и на этот раз, кажется, Фонвизин их желает. «Российской Минервою» и «божественным величеством» именовали Екатерину, и сам он подчинялся общему правилу; придворные льстецы были вечным предметом его злословия; и даже благой порыв Александра — не напоминает ли он либеральные порывы российской императрицы, недаром из всей «Фелицы» возлюбившей более всего такие слова:

Еще же говорить не ложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.

Сама ж читала это вслух Храповицкому. И — плакала.

Вообще Фонвизин отвел душеньку, населяя двор Александра лицами, наблюденными им при ином дворе; даже, по старой дружбе, пожаловал в придворные своего Скотинина, сменив ему кафтан на хитон и перекрестив в Скотаза. Тот, как и русский собрат, скотов предпочитает людям, отчего и назначен начальником обоза. Да и сам в скота обратился: Каллисфен, с коим он обращается худо и то и дело высаживает из телеги (которая тут сходит за колесницу), дабы поберечь ослов, спрашивает его, так ли бы он обращался с царским любимцем Леонадом, и Скотаз отвечает, не смущаясь:

— Вот-на!.. Да для его высокопревосходительства я сам бы рад припрячься.

Высокопревосходительство — не есть ли это также прививка греческой лозы к российскому дубу?

В такой круг и попадает Каллисфен; здесь должен он наставлять добру Александра. И сперва дело идет успешно: философу удается дважды обуздать порок.

Вначале на совете решают, как поступить с матерью, женою и дочерью побежденного Александром Дария. Один советует: умертвить. Второй:

приковать к колеснице победителя. Третий: мать заточить, жену и дочь отдать в добычу солдатне. Каллисфен предлагает царю иное: удивить весь свет своим великодушием и даровать пленницам жизнь и свободу.

В другой раз заходит речь о том, чтобы под корень свести целую область, преданную персиянам. И снова Каллисфен поднимает голос в защиту невинных.

Александр в восторге:

— Ты друг человеческого рода, ты охранитель моей славы.

Однако льстецы берут свое — и вот уж Каллисфен в опале, особливо когда воспротивился намерению Александра объявить себя богом. А тот падает ниже и ниже:

«Чрез несколько месяцев мнимый сын Юпитера впал во все гнусные пороки: земной бог спился с кругу, пронзил в безумии копьем сердце друга своего Клита и однажды, после ужина, в угодность пьяной своей наложнице, превратил он в пепел великолепный город.

Слух о сих мерзостных злодеяннях воспалил рвение Каллисфена. Он вбежал в чертоги монарха, не ужасаясь ни величества его, ни множества окружающих его полководцев и сатрапов.

— Александр! — возопил он, — сим ли образом чаешь ты достоин быть алтарей?.. Чудовище! ты имени человека недостоин!»

Каллисфена осудили на казнь, но он ее не дождался: пытки извлекли из его бренного тела великую душу.

Безысходность? Мысль о беспомощности и бесполезности добра в злом мире? Напротив! По смерти Аристотеля, говорит рассказчик, в бумагах его нашли письмо Каллисфена, писанное перед смертью:

«Умираю в темнице; благодарю богов, что сподобили меня пострадать за истину. Александр слушал моих советов два дни, в которые спас я жизнь Дариева рода и избавил жителей целой области от конечного истребления. Прости!»

На этом письме рукою Аристотеля сделана отметка:

«При государе, которого склонности не вовсе развращены, вот что честный человек в два дни сделать может!»

Это горестный, а все-таки обнадеженный взгляд. Снова — в который уж раз! — припомним слова Фонвизина о том, что писатель и м е е т д о л г возвысить глас против злоупотреблений и человек с дарованием м о ж е т быть советодателем государю и спасителем отечества. Возможно, в Аристотелевой отметке звучит ирония над ним, продолжающим идеализировать своего ученика Александра, но в ней больше трезвого, печального и гордого смысла: человек с дарованием может... Может!

И за то нужно благодарить судьбу, вообще неблагосклонную к философам.

Денис Иванович в этом полагал смысл своей жизни. Он был прав — да не совсем. Как и его сотоварищи-современники, он не до конца ценил свое с л о в о, не вполне понимал, что у искусства своя память, и именно за слово, за «Недоросля» будем мы чтить его сочинителя.

Он не мог знать и иного. Что начали собою — не предвосхитили, не предсказали, а начали — они, титаны восемнадцатого века.

Они ровесники. Державин родился в 1743 году. Новиков — в следующем, 1744-м. Фонвизин — то ли в тот же год, то ли годом после. Радищев чуточку моложе — 1749-й.

Неласковая эпоха, столь круто с ними обошедшаяся, все же оказалась готовой, чтобы родить их и даже дать заговорить. Но их немного, и они только начало.

А дальше начнется чудо.

Умрет Денис Иванович, и всего через два (или три — опять неясность с датою) года родится его преемник в комедии Грибоедов. Еще минет четыре года — и явится Пушкин. Еще год — Баратынский. И пойдет, пойдет, пойдет. Три года спустя родится Тютчев, спустя еще шесть — Гоголь, два — Белинский, год — Герцен и Гончаров, два — Лермонтов, три — Сухово-Кобылин и Алексей Толстой, год — Тургенев, три — Достоевский и Некрасов, два — Островский, три — Щедрин, два — Лев Толстой...

Не в счастливой случайности рождений дело; богатейше одаренные натуры рождаются всегда. Началась непрерывная цепь, звено цепляется за звено, не давая ни на год, ни на миг пропадать в нетях русскому духу и русскому слову, и начальное звено — они, Державин и Фонвизин, первые гении российской словесности.

Не торжественные родоначальники, нет, живые, близкие, читаемые.

Пушкин писал статью «О ничтожестве литературы русской», а в России были уже не только литераторы прежнего века, но и он сам, его великие современники. Вяземский скептически говорил о русской комедии — от Фонвизина до Грибоедова — как о том, что еще не стало истинным искусством. Всем им казалось: то, что при них, еще не литература, а вот завтра!..

Сегодня мы оглядываемся назад с таким восхищением, какого Денис Иванович и представить себе не мог.

...Сохранилось драгоценное описание самого последнего дня жизни Фонвизина. Оно сделано Иваном Ивановичем Дмитриевым, в ту давнюю пору начинающим чиновником и подающим надежды сочинителем, после ставшим министром и знаменитым стихотворцем.

Прочтем, ничего не пропуская.

«Чрез Державина же я сошелся с Денисом Ивановичем Фон-Визиным. По возвращении из белорусского своего поместья он просил Гаврила Романовича познакомить его со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть часов по полудни приехал Фон-Визин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его сверкали. Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я *Недоросля?* читал ли *Послание к Шумилову, Лису Казнодейку;* перевод его *Похвального Слова Марку Аврелию?* и так далее; как я нахожу их?»

Прервемся на минуту; вот какая серьезная поправка к предсмертному покаянию.

В «Каллисфене» умирающий философ благодарил богов за то, что они сподобили его пострадать за истину. В надгробном слове Потемкину полуумирающий Фонвизин благодарил бога за то, что тот отнял у него способы изъясняться письменно и словесно, отнял то, чем Каллисфен обуздывал Александра. Как бы серьезно ни относиться к фонвизинскому

покаянию, движения какой бы сильной души за ним ни видеть, горестно наблюдать великого писателя, отрекающегося от своих славных детищ.

Но, оказывается, в самом деле гордость не вытеснена уничижением. Детища дороги родителю, и на краю гроба он первым делом спрашивает молодого литератора о них: живы ли они для Дмитриева? Милы ли?

Значит, писатель жив. И слово, что бы там ни было, для него дело, как бы он себя ни обманывал.

Продолжим, однако:

«Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об *Душеньке*? — Она из лучших произведений нашей поэзии, отвечал я. — Прелестна! — подтвердил он с выразительной улыбкою. Потом Фон-Визин сказал хозяину, что он привез показать ему новую свою комедию: *Гофмейстер*. Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения автор глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. По словам его, во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только литератора, городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. Которую же из од его, спросил Фон-Визин, признаете вы лучшею? — Ни одной не случилось читать, ответствовал ему почтмейстер. «Зато, продолжал Фон-Визин, доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. С утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают мне: «приехал сочинитель». Принять его, сказал я, и через минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию его в *новом вкусе*. Нечего делать; прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня или главное лицо — умрет естественною смертию».

И в самом деле, заключает Фон-Визин, героиня его от акта до акта чахла, чахла, и наконец издохла.

Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был в гробе!»

Стало быть, вечер этот пришелся на 30 ноября 1792 года.

Дениса Ивановича похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры; неподалеку, но, как и положено такому вельможе, в храме, под надгробием работы Мартоса, покоится Никита Иванович Панин.

Сейчас это кладбище — полумузей, «Некрополь XVIII века». Полумузей второго разряда. Прах наиболее громкославных снесли вместе, порою даже объединив хрестоматийно-тематически: композиторы, артисты, друзья Пушкина... Фонвизин лежит не в парадной зале.

Это и лучше. Петляешь по замысловатым дорожкам, протискиваешься между сбившимися в круг, почти прижавшимися одна к другой плитами, словно это сгрудил их, сдвинул, сплотил, прощаясь, центростремительный век. Вновь идешь по столетию: Шереметевы, Завадовские, Бутурлины, Потемкины, Строгановы, Белосельские-Белозерские... И собратья по наукам, словесности и художествам: Ломоносов, Эйлер, Нартов, Шубин,

Кваренги, Княжнин, Хвостов... Нет, Денис Иванович почивает там, где и должно ему почивать. Среди тех, с кем жил. И с кем, вырвавшись в бессмертие, все-таки остался. «Твое созданье я, создатель».

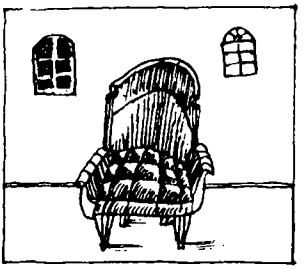
Петляя и протискиваясь, приходишь наконец к плите над непотревоженным прахом:

ПОД СИМЪ КАМНЕМЪ ПОГРЕБЕНО ТѢЛО
СТАТСКАГО СОВЕТНИКА Д. И. ФОНЪВИЗИНА
РОДИЛСЯ ВЪ 1745 ГОДУ АПРЕЛЯ 3 ДНЯ
ПРЕСТАВИЛСЯ ВЪ 1792 ГОДУ
ДЕКАБРЯ 1 ДНЯ ЖИТІЯ
ЕГО БЫЛО 48 ЛЕТЪ 7 МЕСЯЦЕВЪ И
28 ДНЕЙ

Так и хранит старая надпись хронологическую оплошность нелюбопытствовавшего века.

1 декабря 1792 года — эта-то дата точна.

Через два года родится Грибоедов.



Д. И. Фонвизин

КАЛЛИСФЕН

ГРЕЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Каллисфен, афинский философ, прогуливаясь некогда в Ликейском саду, встретил наставника и друга своего Аристотеля, который с веселым видом обнял его: «Прочти, любезный друг, — сказал ему, — прочти письмо, которое получил я сейчас от Александра, возрадуйся о моем сердечном удовольствии. Среди военного племени, среди величества славы Александр сохраняет добродетель». Каллисфен в восхищении прочитал сии строки, написанные рукою Александра: «*Возлюбленный учитель! будь уверен, что я твердо помню и точно исполняю все твои наставления; но я человек и окружен льстецами. Страшусь, чтоб наконец яд лести не проник в душу мою и не отравил добрых моих склонностей. Нет минуты, в которую бы не твердили мне наедине и всенародно, словесно и письменно, что я превыше смертных, что все мои дела божественны, что я предопределен судьбою вселенной даровать блаженство и что, наконец, всякий, иначе обо мне мыслящий, есть враг отечества и изверг человеческого рода. О мой друг нелицемерный! не смею звать к себе самого тебя. Знаю, что обременяющая старость не дозволит тебе следовать за мною в военных моих действиях; но сделай мне теперь новое благодеяние: пришли ко мне достойнейшего из всех учеников твоих, который бы имел дух напоминать мне часто твои правила и укорять меня всякий раз, как я отступать от них покушуся*».

— Ты видишь, — говорил Аристотель, — ты видишь, чего от меня желает Александр. Тебя, Каллисфен, посылаю на сие важное служение человеческому роду.

— Меня? Меня посылаешь ко двору толь сильного монарха? — сказал Каллисфен. — Но что мне там делать? Ты знаешь, могу ли я превозносить порочные деяния государя и его любимцев! Ты учил меня почитать добродетель, исполнять ее делом и преклонять к ней смертных.

— Точно того от тебя н требую, — говорил Аристотель, — точно для того и Александр тебя от меня требует; ты друг Платонов, друг мой; поди под защитою героя, моего питомца, возжечь любомудрия свещу во всех пределах света, и когда Александр покоряет себе мир оружием, ты покоряй его законом мудрости.

— Но при дворе царя, коего самовластие ничем не ограничено, — говорил Каллисфен, — может ли истина свободно изъясняться?

— Неужели ты гонения страшишься? — вопросил Аристотель.

— Боги! — возопил Каллисфен. — Вы знаете, с радостию ли исполняю долг моего служения и готов ли я вкусить смерть за истину!

Аристотель, продолжая свою беседу, воспламенял более в душе ученика своего тот восторг, которым сам был одушевлен. Каллисфен немедленно

отправился к Александру. Он нашел его в Персии в самый тот час, когда войско его одержало преславную над Дарием победу.

Невозможно изобразнть, с какими почестями принят был Каллисфен от юного победителя. Он обнял его как друга, заклинал его говорить правду без малейшего опасения, повелел ему быть с собою безотлучно, и в тот же самый день Александр, идучи в совет, повел его с собою и тамо дал ему по себе первое место.

В совете рассуждаемо было о том, какой судьбе подвергнуть мать, жену и дочь побежденного Дария. Голоса собираемы были с младших. Арбас, юный полководец, который гораздо лучше знал хитрости придворные, нежели военные, чаял при сем случае выслужиться пред государем презрительною лестию, оскорбляя человечество. Он почитал за полезнейшее, умертвив на площади пленниц, показать свету, что быть неприятелем Александру есть уже преступление, достойное смертной казни. Надменный пышностью и ложным славолюбием, Клитомен советовал при торжестве победы приковать их к колеснице победителя; Аргион, вельможа пренизкой души и презнатной породы, имевший зверское сердце и скотский разум, примыслил мать Дарневу послать на лютое заточение, жену и дочь отдать в добычу военной черни. Словом, самое меньшее осуждение плененному царскому роду было вечное рабство. Дошло до Каллисфена.

— Государь, — говорил он, — когда сих несчастных, но невинных, привезут к твоему царскому стану, выйди им на сретение, обрати к ним человеколюбное око, пролей в души их отраду кроткою и утешительною беседою — и удиви свет своим великодушием.

Александр, выслушав совет Каллисфена, вскочил с своего места и бросился обнимать его.

— О достойный мой наставник! — говорил ему Александр в восхищении. — Победа возвышает мое имя, а ты возвышаешь мою душу. — История свидетельствует, с каким человеколюбием принял Александр Дариев род.

На другой день был держан еще военный совет в присутствии государя и философа. Войско Александрово завоевало Козрозецкую область, которая управлялась своими владельцами и издревле предана была Персии. В совете рассуждаемо было: что делать с козрозецами, кои всегда могут грекам наводить подозрение своею преданностию к персиянам? Полководцы Александровы, приобыкши к воинским лютостям, положили единогласно, чтоб на всякий случай, из предосторожности, побить до смерти всех жителей завоеванной области; «понежеде, — прибавил в своем мнении один из ученых советодателей, — по истреблении сего народа никакого уже вреда мы опасаться от него не можем». Сие мнение предложено было в совете к подписанию Каллисфену.

— Боги! — возопил сей философ, — истребите самого меня, если рука моя сей варварский приговор подпишет!

Столь внезапное восклицание произвело в собрании глубокое молчание. Александр, взяв приговор в руки, задумался и, углубясь в размышление, нечувствительно раздирал он бумагу, содержащую лютую судьбу нескольких тысяч людей невинных; глаза его наполнились слезами; наконец трепещущим голосом, прерываемым воздыханиями нежного человеколюбия, прекратил он общее молчание и едва мог сии слова промолвить Каллисфену:

— Ты друг человеческого рода, ты охранитель моей славы!

В то время Леонад был уже несколько месяцев любимцем Александра; в самое короткое время умел он овладеть совершенно душою сего монарха; им самим владели страсти, высокомерие и алчность к обогащению. Он не любил никого и никем любим не был, ибо тот, кто любит одного себя, недостоин быть любимым от других. Добра делал мало для того, что не любил видеть людей в удовольствии; если же добро делать ему и случалось, то обыкновенно таким образом, что получивший его благодеяние был бы гораздо больше рад не быть никогда им обязанным. При дворе был он очень силен; следственно, не было ему и нужды делать подысков; однако ж вредил он другим охотно, потому что в огорчении других сердце его находило удовольствие. Но горе тому, коего погубление могло пособлять его возвышению или, по мнению его, нужно было к сохранению его силы в государе! Сей любимец занемог за несколько часов до прибытия Каллисфена. Наушники, его окружавшие, тотчас возвестили ему, с какими почтением и повиновением внимает Александр советам философа. Леонад так скоро выздоровел, что на третий день прибытия Каллисфенова в состоянии уже был предстать поутру пред лицом монарха.

— Позвольте, — говорил он ему, — поздравить ваше величество с приобретением в друзья ваши философа; я слышал, что вы, по его совету, явили пример великодушия.

— О мой истинный друг, — отвечал Александр, — буде хочешь мне доказать свою дружбу, то будь сам другом Каллисфену.

— Если могу, государь! — отвечал Леонад, — но сомневаюсь. Приятно мне, когда подают вашему величеству благие советы, но не могу терпеть, чтоб от премудрейшего в свете государя отъемлема была слава его премудрости.

— Что значат слова твои? — вопросил Александр.

— Значат, государь, — сказал Леонад, — что сколь я доволен советами Каллисфена, столь гнушаюсь поведением его при сем самом случае. Вообразите, ваше величество, что вчера ввечеру при двадцати свидетелях, которых я сейчас могу представить, отзывался он о вас, как о слабом юноше, которого может он заставить делать все, что ему угодно; но мне известно, государь, ваше собственное проницание. Вы знаете свойство человека. Каллисфен, может быть, нескромен, но вам советами полезен; пусть свет ему и верит, что без него не умели б вы сами быть великодушны, но...

— Дивлюсь, — прервал Александр в смятении речь его, — как при толикой мудрости Каллисфен может столь ослеплен быть самолюбием, чтоб меня считать ребенком.

— Ваше величество! — говорил любимец, улыбаясь льстивым образом, — вселенная чувствует, что вы из ребят уже вышли.

— С чего же Каллисфен думает?..

— Не смею сказать, с чего... — прервал он.

— Скажи, скажи, мой друг! — просил усильно Александр.

— С того, — отвечал Леонад, спустя голос и запинаясь язвительно, — с того... что... я думаю... он... *ученый дурак.*

Леонад знал Александра совершенно; он точно ведал, в которую минуту удобнее чернить у него клеветою и в которую удачнее вредить ругательною насмешкою. Умел он различать тех людей, для очернения которых вдруг и клевета и насмешка потребны ему были. Каллисфен казался ему толь мудрым и толь для него опасным, что почел он за нужное употребить против не-

го оба сии орудия, недостойные честного человека. Александр так уязвлен был вымышленным отзывом Каллисфена о его слабодушии, что самую брань — *ученый дурак* — почел он внезапно исторгнутою из души Леонада силою самой истины.

— Непонятно, — говорил Александр своему любимцу, — как мало учение прибавляет ума человеку. Со всеми знаниями Каллисфена я ласкаюсь, что он больше ошибся во мне, нежели ты в нем.

— Государь, — отвечал ему Леонад, — мой суд о нем не может быть пристрастен: он не был никогда моим учителем, а я всего менее желаю быть его учеником. Но Каллисфен считает себя вашим наставником и думает, что чем менее отдаст он справедливости вашим дарованиям, тем более всякое ваше похвальное деяние приписано будет его достоинству.

Между тем Александр велел всех впускать к себе в шатер. Вошел и Каллисфен. Государь взглянул на него с некоторым робким смущением. Сколь ни глубоко выражение *ученый дурак* проникло в душу Александра, но он не мог вдруг забыть, что *ученый дурак* вчера и третьего дня был умнее целого совета и что он сам *ученого дурака* обнимал с нежными слезами, как мужа, пленившего его сердце мудростию и человеколюбием.

— Государь, — спросил его Каллисфен, — какое смятение объяло твою душу? Твой взор являет неудовольствие, досаду и недоумение.

— Ты правду сказал, — отвечал ему Александр, — я действительно в досаде: мне случилось ошибиться в одном из окружающих меня. Я считал в нем много мудрости, а теперь вижу, что я в его уме сам глупо обманулся.

— Сия ошибка не весьма важна для монарха, — отвечал философ, — от глупого человека можно взять дело и поручить его разумному; но гибельна ошибка бывает для государя тогда, когда клеветника считает он праводушным, когда любит он того, кого все ненавидят, когда вверяется тому, кто наглым и бесстыдным образом государскую доверенность во зло употребляет, когда считает другом того, кто вероломно завладел его душою.

Каллисфен не знал отнюдь ни Леонада, ни клеветы, которою сей очернил его у Александра. Он почел за долг высказать все сие нравоучение тому, кто просил его усильно говорить правду без опасения. Александр приведен был речью Каллисфена в пущее смятение. Он имел разум и тотчас почувствовал, что ни ученый, ни неученый дурак никогда так не говорит, как изъяснялся Каллисфен. Леонад, приметив сие, вмешался в речь.

— Из какой бишь Аристотелевой книги читаете вы проповедь? — спросил он с насмешкою у Каллисфена.

— Из той, — отвечал ему философ с твердостию и с некоторым родом презирающей жалости, — из той, которая, как видно, вам не очень нравится.

Сей разговор пресек вошедший в шатер к Александру вестник, который послан был с реки Арбеля от повелевающего там частию войска начальника, с уведомлением, что персияне, все свои остальные силы собрав, идут против греков. Тотчас Александр пошел сам навстречу неприятелю. Совершенная над ним новая победа низложила персидскую монархию, но Дарий лишился жизни не в сражении; он умерщвлен был вероломно собственными своими подданными.

Славу победы отравлял разнесшийся скоро слух, что Дарий убит изменнически повелением самого Александра, который так возгнушался сим недостойным подозрением, что велел сыскать убийцу и казнить его

смертию. Сим оправдался он пред светом совершенно. Каллисфен похвалил его поведение.

— Что слышу я? — сказал ему Александр с холодною улыбкою. — Уже и Каллисфен льстить мне начинает; помнится, для наставлений, а не для похвал прислал тебя Аристотель.

— Государь, — отвечал Каллисфен, — между хвалою и лестию есть великая разность. Я тебя хвалю, но не льщу тебе; долг философии обязывает меня хвалить добрые дела и осуждать злые. О боги! если когда-нибудь унизишь ты себя к последним, верь мне, найдутся люди и тогда тебя превозносить, но сии люди будут не философы.

Леонад все сие слушал, распаляясь внутренне злобою на Каллисфена; он несколько раз покушался было обратить в смех его нравоучения, но умел воздержаться. Невзирая на то, что острота ума его была безмерная, чувствовал он, что истина, умным человеком твердо произнесенная, может в один миг сделать смешным самого насмешника. Итак, решился он губить Каллисфена скрытою клеветою и скоро довел государя до того, что один вид философа стал уже ему в тягость.

В сие время Александр предпринял путешествие в Ливию ко храму Юпитера Аммона. За день перед отъездом вышло расписание, кому ехать при лице государя. Он взял с собою весь свой совет, но над именем Каллисфена написано было рукою Александра: «позади в обозе».

Философ нималейше не тронут был сим знаком холодности государя, для того что он ничем его не заслужил; всего же менее оскорблен он был явным к себе презрением придворной черни, которая, прочитав выражение: «позади в обозе», старалась оскорблять всячески Каллисфена, ласкаясь, что такое поведение против впадшего в немилость всевысочайше причтено быть может за всенижайшее и вернорабское усердие к произволению государя.

Между тем Александр, в самый день своего отъезда увидев Каллисфена, совестился долго подойти к нему; наконец доброе сердце его превозмогло, и он, воображая, что философ огорчился его холодностию, хотел его успокоить.

— Я боюсь, — говорил ему государь, — отягчить тебя скорым путешествием с собою. Мы в войне обыкли к трудам, кои могли б тебя обременить. Следуй за мною так тихо, как тебе угодно.

— Государь! — отвечал ему Каллисфен, — повинуюсь твоей воле, но будь уверен, что для меня совершенно равно, ехать с тобою или позади, если мое присутствие не более тебе полезно, как мое отсутствие.

Сии слова произнес Каллисфен с такою кротостию, с таким простосердечием, что сам Александр и все предстоящие никак не могли их приписать негодованию философа, но видели в них одно искреннее его усердие быть полезным государю. Леонад приметил, что Александр вдруг сильно возмутился, и для того нужно ему было рассеять тотчас сие смущение и не допустить сердце государя обратиться на добродетельное чувство. Он подал знак остающимся военачальникам испрашивать от Александра повеления; и между тем подвезли колесницу, в которую Леонад нечувствительно посадил государя и увез его гораздо скорее, нежели он уехать думал.

Каллисфен, как ненужный государю человек, отправился, по его повелению, в обозе с ненужными вещами. Скотаз, начальник обоза, был из тех придворных тварей, коих поведение пред знатными весьма подло, но пред теми, коих он не боялся и в ком не искал, весьма грубо; словом, человек

был низкий и глуп до невероятности. Верблюды, лошади, ослы составляли существо душевных его чувств. Говоря об них, вдруг приходил он в пресмешной восторг, но ни о чем уже другом слова молвить не умел. С Каллисфеном обошелся он так невежливо, как от Скотаза ожидать токмо можно.

— Зачем, старик, тащишься с нами? — говорил он с презрением философу. — Здесь и без тебя грузно. Я слышал, что ты философ; дай-ка посмотреть на себя. Мы их при конюшне не видывали; я чаю, полно, есть ли они и при дворце.

— Я никого не видал! — отвечал Каллисфен. — Видно, что двор не их жилище.

— У двора, — говорил Скотаз важным голосом, — надобно ум, да и ум не твоему чета. Мы тут сами около тридцати лет шатаемся, да того и смотришь, что в беду попадешь.

— Я не в беде, — говорил Каллисфен.

— Да что ж ты не при лице? —спросил его Скотаз. — Ты хочешь меня уверить, что царских любимцев в обоз отсылают; нет, старик, коль ты отдан на мои руки, так, видно, мода с тебя спала. Ты, я чаю, болтаньем своим досадил многим господам. Я и сам, — примолвил Скотаз, вздыхая, — я и сам за царских ослов страдал не однажды.

В дороге начинал он с философом говорить о лошадях и верблюдах, но, увидя, что философ в сем деле ничего не разумел, возымел он к нему глубочайшее презрение, а потому и учредил с ним свое поведение: из колесницы, в которую сперва посажен был Каллисфен, высадил он его в телегу. Не было пригорка, на который бы не заставил он всходить пешком Каллисфена.

— Если бы случилось тебе везти на гору Леонада, — говорил ему философ, — ты поступил бы с ним иначе, нежели со мною.

— Вот-на! — отвечал Скотаз. — Да для его высокопревосходительства я сам бы рад припрячься.

Наконец, спустя несколько дней по прибытии Александровом ко храму Юпитера, доехал туда и философ. Жрецы предуспели уже подлою лестию помрачить рассудок государя. Каллисфен, услышав, что сей Аристотелев ученик почитает себя богом, называет себя Юпитеровым сыном и проповедует странные басни о своем происхождении, вошед в чертог царский, увидел Александра, окруженным воинами, не имеющими о божестве понятия, и придворными, верующими во все то, во что государь приказывает верить. Все они дерзнули утверждать в глаза Каллисфену, что Александр есть бог действительно.

— Государь, — вопросил его философ, — правда ли, что ты бог?

— Правда, — отвечал Александр, покраснев и запинаясь.

— Государь, — говорил ему Каллисфен, улыбаясь, — велико твое требование, но не бойся, чтоб философия обременила тебя тяжким порицанием; она таковым мнениям только лишь смеется; но, став богом, государь, если им стать тебе угодно, помышляй, к чему обяжет тебя сие великое титло. Боги от единых благотворений познаются; за усердие к себе платят они милостями, за обожание покровительством. Иногда мещут они громы, но мещут против воли; паче всего в свете любят они творить блаженство смертных.

Каллисфен уклонился от приношения жертвы ученику друга своего Аристотеля, отозвавшись, что в Ликее не привыкли они находить богов так с

собою близко. От нового бога ожидал он нового какого-нибудь преступления, дабы употребить против него всю строгость, каковою философия на исправление смертных ополчается; к несчастию, ожидание его не много продолжалось. Чрез несколько месяцев мнимый сын Юпитера впал во все гнусные пороки: земной бог спился с кругу, пронзил в безумии копьем сердце друга своего Клита, и однажды после ужина, в угодность пьяной своей наложнице, превратил он в пепел великолепный город.

Слух о сих мерзостных злодеяниях воспалил рвение Каллисфена. Он вбежал в чертоги монарха, не ужасаясь ни величества его, ни множества окружающих его полководцев и сатрапов.

— Александр! — возопил он, — сим ли образом чаешь ты достоин быть алтарей? Ты друга умерщвляешь, тысячи невинных своих подданных предаешь пламени... Чудовище! ты имени человека недостоин!

От сих слов изумление объяло всех предстоявших, но скоро превратилось оно в лютость. Придворные возбуждали паче злобу Александра, который, будучи вне себя от гнева, поручил Леонаду изобрести достойную казнь неслыханному у двора дерзновению Каллисфена.

Леонад имел бесчеловечие немилосердно мучить сего почтенного мужа и вкинуть потом в ужасную тюрьму. Между тем как изыскивали для него род лютейшей казни, болезненное страдание, соединясь с тяжестию оков, извлекло из бренного тела его великую душу.

По кончине самого Аристотеля найдено в бумагах его следующее письмо Каллисфена, писанное за несколько часов пред его смертию. Здесь предлагается оно с отметкою его друга.

Письмо Каллисфена:

«Умираю в темнице; благодарю богов, что сподобили меня пострадать за истину. Александр слушал моих советов два дни, в которые спас я жизнь Дариева рода и избавил жителей целой области от конечного истребления. Прости!»

Отметка рукою Аристотеля:

«При государе, которого склонности не вовсе развращены, вот что честный человек в два дни сделать может!»

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

Фонвизин Д. И. Первое полное собрание сочинений как оригинальных, так и переводных, 1761—1792. Спб.; М., 1888.

Фонвизин Д. И. Сочинения в двух томах. М.; Л., 1959.

Вяземский П. А. Фон-Визин. Спб., 1848.

Ключевский В. О. Недоросль Фонвизина: Опыт исторического объяснения учебной пьесы. — Сочинения в 8-ми т. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958, т. 8.

Кулакова Л. И. Денис Иванович Фонвизин. М.; Л.: Просвещение, 1966.

Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин. М.; Л.: Гослитиздат, 1961.

Материалы для полного собрания сочинений Д. И. Фонвизина. Посмертный труд академика Н. С. Тихонравова. Спб., 1894.

Пигарев К. В. Творчество Фонвизина. М.: Изд-во АН СССР, 1954.

Чернышевский Н. Г. О «Бригадире» Фонвизина. — В кн.: Шестидесятые годы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940.

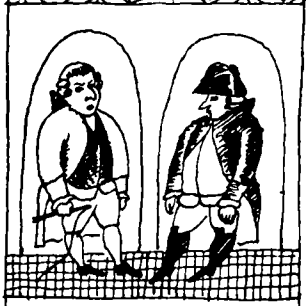
СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИЙ ДАВЫДОВ.

Состояние души . . . 5

МИТРОФАН ПРОСТАКОВ, ПЕТР ГРИНЕВ, ДЕНИС ФОНВИЗИН...

Человек с перламутровыми пуговицами . . 23
По-французски и всем наукам... 28
Спасенный Митрофан 38

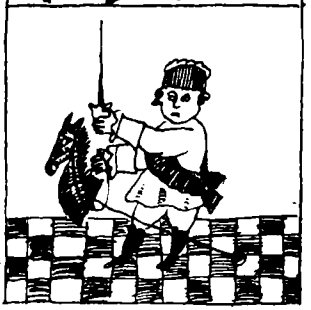


ФРАНЦУЗСКИЙ КАФТАН

Чудаки 51
Езда в Елагин остров 57
Полшага 67
Отец Онегина . . . 83

ТВОЕ СОЗДАНЬЕ Я, СОЗДАТЕЛЬ (I)

Вельможа 93
Последняя драка . . 105
Урок царям 112
Душа и тело . . . 121



ТВОЕ СОЗДАНЬЕ Я, СОЗДАТЕЛЬ (II)

Дом на Галерной . . . 135
Славны бубны за горами 141
Русский на чужбине 148
Физиономия времени 158
Отставной статский советник 171

Я ПРАВДУ О ТЕБЕ ПОРАССКАЖУ ТАКУЮ...

Умри, Денис! . . . 177
Бабье царство . . 179
Мастерица толковать указы . . . 192
Прямое зеркало . . 204

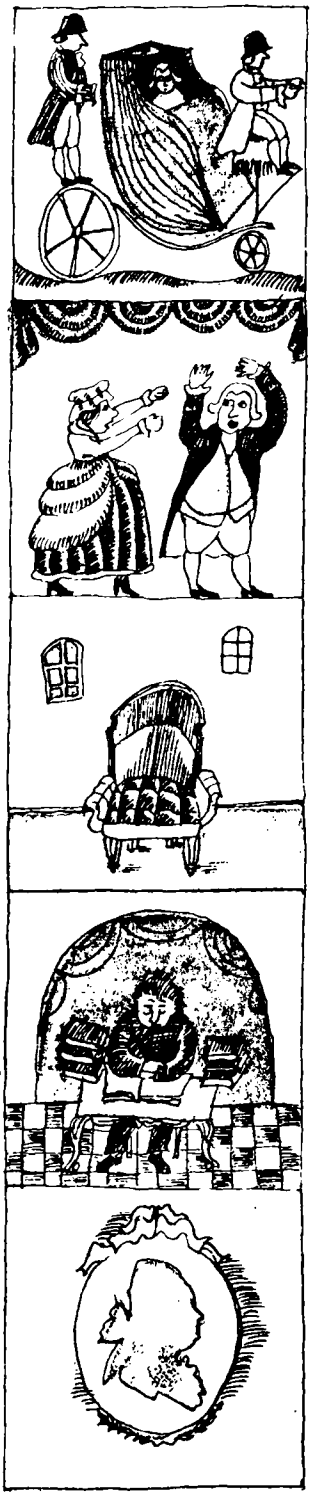
СЛОВО И ДЕЛО

Сочинители 215
Неугодный собеседник 223
Осада 235
Через два года . . . 246

Приложение

Д. И. ФОНВИЗИН.

Каллисфен. Греческая повесть 259
Основные произведения писателя и литература о нем 266



Станислав Борисович
Рассадин

САТИРЫ
СМЕЛЫЙ ВЛАСТЕЛИН

Заведующая редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *М. Я. Фильштейн*
Художественный редактор *И. К. Борисова*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *Н. М. Весельницкая*

ИБ № 1299

Сдано в набор 16.04.84. Подписано в печать 07.01.85. Формат 60×90/16. Бум. офс. кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,0. Усл. кр.-отт. 34,0. Уч.-изд. л. 22,18. Изд. № 3937. Тираж 200 000 экз. (2ой завод 100 001—200 000 экз.) Заказ № 351. Цена в бумвиниле 1 р. 70 к., в коленкоре 1 р. 80 к.

Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Р24 **Рассадин С. Б.** Сатиры смелый властелин. — М.: Книга, 1985. — (Писатели о писателях). — 200 000 экз. — 269 с.

Эта книга о Д. И. Фонвизине — незаурядном писателе, мыслителе, человеке, отразившем в себе странность и сложность российского XVIII века. Она и о характере того удивительного столетия, о людях, в нем живших, — о Г. Державине, Н. Панине и др. Книга — портрет писателя, но портрет групповой — на фоне эпохи и в окружении ее достопримечательных личностей.

Для широкого круга читателей.

Р $\frac{470200200\text{-}016}{002(01)\text{-}85}$ 71-85 ББК 84Р7

В издательстве «Книга»
вышли художественные биографии писателей:

1982 год

Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. 416 с.
Новиков И. А. Пушкин в изгнании. 464 с.
Франк Б. Сервантес; Осповат Л. Гарсиа Лорка. 376 с.

1983 год

Манн Т. Лотта в Веймаре. 303 с.
Пирсон Х. Вальтер Скотт. 239 с.
России первая любовь: Сборник произведений советских писателей об А. С. Пушкине. 239 с.
Тынянов Ю. Н. Пушкин. Т. 1. 240 с.; т. 2. 208 с.

1984 год

Серия «Писатели о писателях»

Марченко А. М. С подорожной по казенной надобности. 333 с.
Стоун И. Моряк в седле. 270 с.
Тынянов Ю. Н. Пушкин. 430 с.